



И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ

СУДНЫЙ ДЕНЬ



СУДНЫЙ ДЕНЬ

163

עבריה וצבי עופר
קבוץ יפעת

**И. Константиновский
СУДНЫЙ ДЕНЬ**

И. Константиновский

СУДНЫЙ ДЕНЬ

(Исповедь советского еврея)



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1990

אי. קונסטאנטינובסקי

יום הכיפורים

ודונו של יהודי סובייטי

I. Konstantinovsky

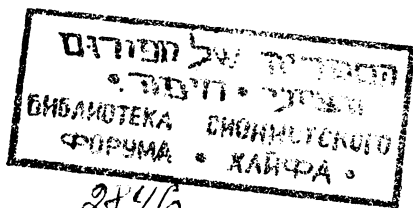
DAY OF ATONEMENT

(An Autobiographical Novel of a Soviet Jew)

Редактор *М. Хейфец*

Обложка *Т. Корнфельд*

ISBN 965-320-166-2



©

All rights reserved

כל הזכויות שמורות

לספרית-עליה

ת.ד. 4140 ירושלים

יצא לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

ואירגון הג'וינט העולמי, ניו-יורק

Typesetting, plates and printing by PRISMA-PRESS,

Jerusalem

OCR: Давид Типневский, октябрь 2021 г., Хайфа

Printed in Israel

ОТ РЕДАКТОРА

Илья Константиновский, известный московский писатель, дождался выхода в свет своего первого романа в Израиле.

Разумеется, "Судный день" — художественное произведение, и должно оцениваться по законам прозы, а не в качестве исторического документа. Тем не менее, трудно читателю, хотя бы поверхностно, издали знакомому с описанной романистом действительностью, не приметить в "Судном дне" известные вехи и подлинные обстоятельства эпохи первой половины 70-х годов.

Я легко узнаю в его "персонажах" собственных знакомых, с которыми подружился в Израиле, — и могу как бы продолжить сюжет, рассказав, что с ними случилось после финала, или наоборот — читая книгу, узнать, как они, мои нынешние друзья, жили в тот период, о котором я знал до сих пор очень мало. И предполагаю, что немалое число читателей — московских, прибалтийских, израильских — в свою очередь узнает в героях романа других прототипов — своих знакомых, друзей, родственников...

Так роман сохраняет и доносит до нас, до современников, но и до потомков, частицу недавней еврейской истории — истории национального пробуждения советского еврейства в 70-х годах.

Как художественное исследование эпохи, он об-

ладает специфической ценностью — сосредоточивается не столько на канве исторических событий, сколько на скрытой от посторонних (тем более от последующих поколений) социальной психологии, на том настрое человеческих душ, который один только и послужил причиной описываемых в книге событий.

Главное достоинство романа я вижу не в описании исторического фона, но в раскрытии духовной эволюции главного героя, от имени которого ведется повествование, Давида Вилковского.

В ту самую, описываемую автором эпоху был у меня разговор со старым товарищем, русским националистом, в качестве такового интересовавшимся национальными вопросами на территории империи.

— Евреи стали уезжать... Как думаешь, сколько вас уедет?

— Все уедут...

— Как все?

— Все.

Этот разговор запомнился мне благодаря выражению искреннего изумления на лице моего собеседника. Сказанное мной воспринималось им как фантастика. Между тем, я был убежден в собственной правоте — при том, что в тот момент сам не собирался уезжать, вообще еще не думал о собственном отъезде.

Почему уедут люди, мечтающие о более высоком материальном уровне, мой товарищ понимал. Но он достаточно хорошо знал евреев, чтобы чувствовать: среди них много людей, искренне преданных России, русской культуре, науке, стремящихся принести благо тому отечеству, где они выросли и сформировались как личности. Неужели они, эти, согласятся бросить все — язык, литературу и искусство, привычные им с детства, "могилы близких, наконец", как сказал он потом,

в завершение нашего разговора?

Они согласились бросить все: достигнутое положение, уважение друзей, могилы близких... История Давида Вилковского как раз и повествует о том, как и почему это случилось.

Давид — тип благополучного советского писателя, одного из тех "устроенных", кому многие окружающие непрерывно завидуют в тамошней жизни. Несколькими штрихами автор воссоздает обстановку внешнего успеха, в которой пребывает его герой: Дом творчества, поездки за границу, любые командировки в пределах СССР — словом, все приметы купленного литератора, что восхищают обывателей по обе стороны бывшего железного занавеса.

И одновременно он рассказывает, чем за все это надо платить. Чувством постоянной униженности и постоянного оскорбления собственного достоинства.

Он вынужден сосуществовать в литературе с людьми вроде Золотаря, или автора романа о "Земле обетованной", или гражданина Гавруто. Он вынужден молчать, когда уничтожают Переца Маркиша, — как тот и сам молчал, когда уничтожали Михозлса. Он, писатель, принужден говорить то, чего ему не хочется говорить, и он же обязан молчать, когда душа кричит, требуя высказаться...

Честная служба русской культуре, да и России вообще, требует полной самоотдачи: это великая культура, в которой нельзя успешно работать не на пределе своих возможностей. Но еврею, работавшему в этой культуре, приходилось сталкиваться с особым барьером в ней, так выразительно набросанным на страницах "Судного дня". Барьером постоянного недоверия к чистоте его намерений. Нет, его охотно брали служить, ценя его специфические качества (знание румынского язы-

ка и западного образа жизни, как в случае Давида Вилковского, например), но только служить! И платили неплохо. А он мечтал не служить, а творить — на благо отечественной культуры. И тогда ему на каждом шагу напоминали про его место — нелюбимой прислуги режима.

Неправ был мой товарищ, думая, что покинет Россию прежде всего "еврей корыстный". Такой как раз мог бы и остаться, если бы, скажем, нефтедоллары расходовались там более разумно и уровень жизни в СССР за счет паразитизма на цивилизованных странах повышался, как в эмиратах или в Кувейте, например. Именно честные люди прежде всего задыхались в обстановке непрерывного унижения их человеческого и национального достоинства.

Эту эволюцию как бы благополучно вписавшихся в советское общество евреев, которые пережили вдруг свой "Судный день" и обрели новую родину, зафиксировал в своем, пока еще, увы, не историческом романе писатель Илья Константиновский.

I

Почему трамвай наш стал?
Под трамвай еврей попал.
Еврей, еврей...
Кругом одни еврей!

Самиздатская песенка

Еврей хлеба не сеют,
Еврей в лавках торгуют.
Еврей раньше лысеют,
Еврей чаще воруют.
Я все это слышу с детства,
И скоро совсем постарею,
И мне никуда не деться
От криков: еврей, еврей!

Б. Слуцкий

Если сегодня Иом-Киппур, я еще успею в синагогу к Кол-Нидре^{1*}, — подумал Давид Вилковский и выключил транзистор.

Теперь, когда глушилки умолкли, ему вдруг показалось, что откуда-то издалека доносятся звуки Кол-Нидре. Транзистор был выключен, Вилковский слышал самого себя, глухой шепот своих давних, омертвевших воспоминаний. В последние годы они все чаще оживали, из таинственной глубины неожиданно выплывало то, что казалось давно затерявшимся в темных хранилищах памяти — не только образы, но и звуки, как вот эта скорбная мелодия, услышанная в младенчестве,

* Цифрами обозначены примечания, помещенные в конце книги.

с которой начинаются молитвы и пост в канун Иом-Киппура, в ней звучат древняя боль, покаяние, переходящие в душевный восторг.

В детстве ему все это было безразлично. Безразлична синагога в маленьком бессарабском селе, куда отец водил его по субботам и праздникам. Это была самая старая и самая бедная синагога в местечке, бет-мидраш² — молитвенный дом, очень скромный и снаружи и внутри, с прямым потолком и белыми гладкими стенами.

Библиотека отца его тоже не интересовала. Только сорок лет спустя он задал себе вопрос: что содержали отцовские тома? Разве в них был лишь сухой свод религиозных канонов? Что такое Мишна и Талмуд?³ Что входит в Танах?⁴ Из чего состоит Шулхан Арух?⁵ Он бы не мог ответить. Названия он помнил, они отпечатались, окаменели в его памяти — только названия и ничего больше. И это несмотря на то, что у него был меламед⁶ уже в раннем детстве, когда он жил на берегу Дуная в небольшом рыбацком поселке. И позднее, когда Давиду исполнилось десять лет и его родители переехали из рыбацкого села в город, синагога и хедер⁷ не стали ближе. В городе у Давида был новый меламед, шамес⁸ из синагоги — смиренно-печальный толстый человек, еле та-скающий разбитые ноги; его круглая белая борода росла от самых глаз, под всклокоченными седыми бровями — ласково-печальные блески. "Послушай, Дувэдл, — говорил он, туша свечи после вечерней молитвы, когда обычно начинались уроки, — твой отец, дай Бог ему здоровья, такой умный еврей, такой ламдн⁹, а ты не помнишь, сколько лет жила наша праматерь Сарра?¹⁰ Сказано в Торе: "Ваею хаей Сарра...". Что это значит, ингале?¹¹

— И была жизнь Сарры.

— Вот-вот. И была жизнь Сарры: сто лет, двадцать лет и семь лет...

— Сто двадцать семь лет.

— Кэн¹². Но почему не сказано просто сто двадцать семь лет? Что говорит Раши?¹³

Глубокая тишина синагоги, ее таинственный сумрак мучили Давида непонятной печалью, ему чудились призраки, вспоминались рассказы о "диббуках"¹⁴ и хотелось поскорее уйти отсюда, а не разбирать хитроумные толкования Раши о том, что годы жизни Сарры названы отдельно, потому что в сто лет она была, как и в двадцать лет, а в двадцать сохраняла свежесть и невинность семилетней девушки. "Шней хайей Сарра, — продолжал своим хриплым, усталым голосом меламед. — И это были годы жизни Сарры", но маленький Давид его не слушал... В бедной местечковой синагоге молящиеся тяжело вздыхали и горестно выкрикивали непонятные древнееврейские слова; в субботние кануны даже мать, благословляя дома свечи, плакала и о чем-то горько горевала. Мальчика, проводившего все дни на реке и в плавнях, все синагогальное пугало. Еще не знал этот мальчик, что в мире далеко не все так хорошо и радостно, как на речных каналах с извилистыми, сплошь заросшими вербами, айвой и акацией берегами, как жизнь на воде, в которой все отражалось и текло вместе с ней, так что порой казалось, будто улица уплывает вместе с домиками, облаками, лодками, плавно рассекающими гладкую, светящуюся зеленую и лазурную поверхность канала. И не мог он знать, что вздохи старых евреев и слезы матери над субботними свечами выражают не только память о печалях прошлого, но и смутное предчувствие страшной будущей беды.

Войдя в дом, Вилковский спрятал транзистор и стал переодеваться, чтобы ехать в город. Заглянув в расписание поездов, подумал, что нужно выехать в восемнадцать двадцать семь, чтобы попасть

в московскую синагогу к половине восьмого вечера: если сегодня канун Йом-Киппура, в этот час начнется служба. Скоро надо выходить, а он вот колеблется, он, кажется, не уверен, что ему и в самом деле следует ехать. Он теперь ни в чем не был уверен, а вчера весь вечер опять пытался приняться за обдумывание того, как ему следует изменить жизнь. Что ему делать? Да, что делать? Но, Боже, ему ведь уже за пятьдесят, и не так уж много лет осталось до шестидесяти. Однако он чувствует совсем не то! Это неловко сказать даже самому себе: он чувствует себя так, как будто он только начинает жить и у него есть выбор.

Он вошел в свою комнату, и взгляд его упал на книгу, лежащую на тахте: роман американского писателя Сола Беллоу "Герцог" в переводе на французский язык; он только вчера дочитал его до конца и еще не успел поставить книгу на полку. На обложке была фотография автора: умное и доброе лицо пожилого еврея, с большими мешками под темными печальными глазами. Герой романа — Мозес Герцог — тоже еврей. Он переживает душевный кризис после того, как его бросила вторая жена, и на протяжении всей книги старается разобраться в причинах неудачи своей личной жизни. Нервное состояние Герцога проявляется в странной мании: он все время сочиняет письма своим бывшим женам и любовницам, родственникам и знакомым, так или иначе причастным к его жизни, а также давно умершим писателям и мыслителям, чьи идеи он обсуждал в своих лекциях и научных работах. Убирая книгу с дивана и вспоминая ее содержание, заинтересовавшее его еще и потому, что в мании героя он увидел нечто родственное — Вилковский тоже не раз составлял в уме письма, а еще чаще речи, которые никогда не были произнесены вслух, — он вдруг

стал сочинять в уме послание автору в стиле его героя Герцога.

”Дорогой Сол Беллоу, — писал он мысленно, — меня зовут Давид Вилковский, я еврей, который, наверно, смог бы, как и Мозес Герцог, стать героем вашего романа, если бы ваш отец не эмигрировал в свое время из России в Соединенные Штаты. С большим опозданием я прочитал вашу книгу — в Москве не так-то легко доставать новинки зарубежной литературы; я прочитал ваш роман по-французски, а мои друзья, вынужденные ждать перевода на русский, никогда его не прочтут; вашу книгу в Москве не переведут потому, что ее герой — еврей. Объяснить вам причины столь странной идиосинкразии московских издательств довольно трудно, официально ее ведь не признают, о дурных болезнях не принято говорить вслух. Причины этого явления сложны, запутаны и противоречивы, как, впрочем, все, что имеет отношение к евреям. Поскольку ваш герой, Мозес Герцог, вы и я — евреи, можно было бы предположить, что между нами существует некое, если не душевное, то генотипическое, как принято теперь говорить, родство. Почему же мы так далеки друг от друга? Герой ваш задумывается над своей жизнью и над проблемами века, высказывая при этом множество интересных суждений. Но именно потому, что в вашем романе так много раскрыто не только в личности героя, но и в облике нашего времени, я совершенно отчетливо ощутил, как трудно нам понять друг друга, хотя мы все трое — вы, ваш герой и я — не только живем в одно время, в одной и той же ”космической деревне”, как принято теперь называть Землю, но, в сущности, любим и ненавидим почти одно и то же. Однако, испытывая чувство близости к вам и Герцогу, я думаю: до чего же мы все-таки разошлись! Современная Москва и

сегодняшний Нью-Йорк — это две различные точки пространства или разные точки времени? Как сложилась бы судьба Герцога, если бы он жил в Москве? Что значит быть евреем в Нью-Йорке, и что значит быть им в Москве? Почему в жизни вашего героя нет ничего еврейского? Не подумайте, что я одержим навязчивой идеей, но в моей жизни, пожалуй, не было ни одного дня, чтобы я не услышал: евреи! И в молодости и теперь, на пороге старости, каждый день и каждый год одно и то же: евреи, евреи! Ни одно событие не обходится без евреев, ни один анекдот без евреев, ни один номер газеты не обходит евреев, даже если их и не называют по имени. Но есть еще слово ж и д! Пьяный в автобусе шипит: жид! Спекулянт на базаре бросает мне вдогонку: жид! Иногда лектор на трибуне, журналист в своем фельетоне подразумевают: жид! И все, кому не лень, посылают в мою душу, в мой мозг напоминание о том, что я еврей, жид. И даже во сне я слышу беззвучные, тревожные сигналы: евреи, евреи... Ваш герой, по-видимому, никогда не испытывал ничего подобного. Значит, можно быть евреем и все же не быть им, не чувствовать этого ни в своей душе, ни в общении с другими людьми? Я заметил, что в последние годы еврейские обряды, еврейская синагогальная музыка волнуют меня до слез. А недавно я познакомился с одним молодым человеком, кандидатом физико-математических наук, который стал учеником московского раввина. Мозес Герцог может сказать: старо, пройденный этап... Но кто знает, какой этап уже пройден и какой еще только предстоит пройти? Объяснить все это тем, что московским евреям помимо их воли напоминают, что они евреи, нельзя, ведь в недалеком прошлом такие напоминания приводили как раз к обратным результатам: люди старались отмежеваться, забыть о том, что они

родились евреями. Лично я долго думал, что человек всецело подвластен времени, никто не может уйти, освободиться от плена времени, но вот теперь я начинаю думать, что внешнее время бесцельно что-либо изменить в человеке, подавить время внутреннее, то, которое течет в его крови, в душе, в генах, унаследованных от предков, от рода — все эти понятия, конечно, неточны, каждое из них обозначает новую загадку. Не оттого ли, что я еврей, я бывал одержим в жизни и другими навязчивыми идеями и вопросами, которые никогда не приходили на ум Мозесу Герцогу? Например — "почему лифт может не работать?". Это не такой уж простой и мелкий вопрос, каким он кажется; в нем переплетены в один узел экономика, политика и психология целой общественной системы, но разъяснить это вам и Герцогу не так-то просто. Хоть многим и кажется, что в современном мире, в этой "космической деревне", все всем известно, но, увы, это совсем не так. Может быть, вы помните, как в знаменитом романе Достоевского черт говорит Ивану Карамазову: "Все, что у вас есть, — есть и у нас, это я уж тебе по дружбе одну тайну открываю, хоть и запрещено"? Ужасно хотелось бы и мне открыть вам, Герцогу нашу тайну, хотя это, конечно, тоже запрещено. Но не в запрете трудность, а в том, что вы, пожалуй, и не поймете. И хотя "все, что у вас есть, — есть и у нас", вашу книгу о Мозесе Герцоге я читал как повесть о другом человеке, не о том, которого я наблюдаю у нас. Герцог саркастически отзывается о западных интеллектуалах, любящих рассуждать о страдании, отчуждении и Апокалипсисе, сидя в кафе или у стойки бара, за коктейлем. Так ведь и он, Герцог, многое знает лишь понаслышке. Понимая, что в современных бедах и страданиях нет ничего возвышенного, не знает он, не видел, как низменная сторона человеческой су-

ти к ним приспособливается и как из самых высоких идей могут прорасти самые низкие поступки. Не видел он также, как, несмотря ни на что, человек возвращается к идее. В последние годы я все чаще встречаю в Москве таких людей, причем их идеи противоречат всему строю нашей жизни; в большинстве случаев такие люди евреи, и многие из них одержимы теперь еврейской идеей. Но отчего это произошло?"

После паузы Давид Вилковский продолжал:

"Дорогой Сол Беллоу, я читал и вашу "Планету мистера Сэмлера"¹⁵, герой которой тоже еврей, хотя уже и не американский, а польский, один из тех, кто испытал еврейскую судьбу до конца: немцы расстреляли его вместе с группой других евреев, но он выкарабкался из общей могилы. Позднее его пытались убить поляки. Что же он вынес из своего ужасного еврейского опыта? Мистер Сэмлер весьма умно, искусно, изящно крутит "колесо мысли", рассуждает о психопатических аспектах современной цивилизации и о многом другом. А что он может сказать о том ужасе, который видел и пережил сам? Он теперь знает, что "человечество предназначило некоторых людей к смерти. О чем тут говорить? Что случилось, то случилось. Вот и с ним, Сэмлером, случилось так, что он вместе со своей женой стояли раздетые догола в толпе других, ожидая, когда его застрелят..." Я не стану оспаривать вашего права утверждать, что герой вашей книги так думает. Создается, однако, впечатление, что и автору нечего сказать, кроме "что случилось, то случилось". И он обходит глубину вопроса, параноидальные формы, которые принял антисемитизм в самом центре современной цивилизации, в Западной Европе. Сэмлер рассуждает о живучести маниакальных идей: "О чем тут говорить?". В вашей книге есть упоминание и о Румковском, сумас-

шедшем из Лодзи, которого немцы сделали старшим в гетто, и он возомнил себя "иудейским королем" и паясничал, как клоун, пока шло истребление людей; у немцев была слабость к смертоубийственным фарсам, это приносило облегчение, смягчало ужас... Что ж, вполне возможно, что это правильное объяснение. Но оно ничего не говорит о самом ужасе, его непредставимой жестокости и размахе. Впрочем, я должен быть справедливым: не вы один, уважаемый Сол Беллоу, отказываетесь исследовать суть трагедии еврея Сэммлера. Хваленый еврейский ум, сумевший проникнуть в пространственно-временную бездну Вселенной и в недра человеческого подсознания, явно останавливается на пороге, не смеет осмыслить Освенцим. Как-то даже неловко читать рассуждения мистера Сэммлера на модную тему — о возможности переселения на другую планету, не дожидаясь взрыва, который уничтожит жизнь на Земле. Для миллионов евреев взрыв однажды уже произошел, он и самому Сэммлериу опалил тело и душу. Может ли его интересовать рост технических возможностей человека, если не растет его доброта, милосердие, чувство справедливости? На Луне человек будет застрахован от Нюрнбергских законов¹⁶ и концлагерей с газовнями? Ведь это не зоологическая жестокость и даже не расовый эгоизм, а нечто неотделимое от современной техники и цивилизации. Никто не смеет открыто обсуждать и другой вопрос, который скрыто терзает каждое еврейское сердце: не может ли повториться то, что однажды уже случилось? Философы и социологи не поднимаются выше размышлений о непознаваемости или, наоборот, банальности зла. Верующие толкуют о неисповедимости путей Господних, неверующие ищут подтверждения своего безбожия — если Бог допустил такое, значит, Бога нет. Примерно так же рассуждает и Сэммлери:

Бог не думает о справедливости? не знает жалости? Может быть, Бог — просто болтовня живых? Память о случившемся, конечно же, не умерла в душе Сэмлера. Кошмар пережитого продолжает разворачиваться в еврейских снах. Когда на Ближнем Востоке возник кризис 1967 года, Сэмлер, который никогда не был сионистом, вдруг ощутил сильное беспокойство, не смог усидеть в Нью-Йорке и следить за событиями по телевизору и сам отправился в Израиль. Позднее он пришел к выводу, что из-за "трепета своих бывших польских нервов" он тогда изрядно преувеличивал, просто потерял голову. Но я как-то читал, что и вы сами, дорогой Сол Беллоу, поступили в том году в точности, как ваш герой Сэммер, и тоже отправились в Израиль. Значит, вас тоже иногда терзают еврейские страхи? Но тогда вас должен интересовать и вопрос — что значит быть евреем, то есть именно то, чего нет в ваших книгах и что так волнует их редких читателей на Востоке. Но и страх терзает здесь глубже, чем это изображено в вашей книге, написанной и опубликованной без цензуры. В нем соединено в страшном единстве все пережитое в жизни. Все ничтожно в сравнении с дымом Треблинки и рвом Бабьего Яра — колесо самой изощренной мысли вместе со смелейшими прожекторами вроде намерения переселить людей на другие планеты... Но мне пора ехать, поэтому я вынужден заканчивать. Я собираюсь в синагогу. Мозес Герцог может снисходительно улыбнуться, но не знает он, что такое московская синагога. Только на первый взгляд похожа она на традиционную еврейскую молельню, где евреи в талесах¹⁷, стена и раскачиваясь, читают, выкрикивают древние еврейские молитвы. На самом деле это новая земля, это суша, твердь, которую ощущают евреи, пришедшие сюда впервые после потопа, после конца мира, по-

сле того, как все, чем они жили, перестало существовать, превратилось в пепел, в ничто. Если бы вы знали, сколько евреев, ничего прежде не знавших о еврействе, придя в московскую синагогу, снова ощутили себя людьми. И сколько печальных и радостных встреч происходят у московской синагоги. А также сколько государственных средств тратится на эту синагогу. Сколько милиционеров в форме и в штатском, сколько дружинников, милицейских машин и автобусов дежурят по еврейским праздникам у московской синагоги, сколько пар настороженных глаз впиваются в каждого, кто входит или выходит из синагоги. Чувством кровного родства, чувством истинно божественного смысла и значения принадлежности к еврейству заражаются люди, пришедшие впервые, иногда уже под конец своей жизни в московскую синагогу.

Однако мне пора. Но прежде чем поставить точку, я намерен удивить вас одним пока бездоказательным утверждением: я истинно верю, что мои сегодняшние проблемы, которые могут показаться Мозесу Герцогу пройденным этапом, прошлым в том мире, в котором он живет, в сущности являются для него будущим, он к ним еще придет. К такому убеждению приводит меня опыт моей собственной жизни, я ведь тоже был когда-то совершенно убежден, что все то, что мучает меня сегодня, — пройденный этап. Однако прошли годы, и прошлое оказалось будущим...”

Вот, сказал Вилковский теперь уже самому себе, ставя на полку книгу Сола Беллоу, ты тоже стал вести себя, как персонаж из романа, одержимый психозом самоистолкования и самооправдания. Причину своего желания поехать в синагогу я все же по-настоящему не уяснил. Меня потянули туда воспоминания детства? Или подсознательное чувство, что в них, в этих воспоминаниях, следует

искать начало моего нынешнего беспокойства и метаний? Уже в те далекие и безмятежные дни случилось то, что привело меня теперь к странному убеждению, что мне и впрямь следует еще раз изменить свою жизнь? Теперь уже поздно рассуждать, пора ехать...

Но не рассуждать, не спорить с самим собой Давид Вилковский не мог. И его, человека, верившего, что он всегда поступает разумно или, по крайней мере, понимает причину своих поступков, охватило такое нетерпение поскорее попасть в синагогу, что он почти бегом кинулся к железнодорожной платформе, хотя она находилась в пяти минутах неторопливой ходьбы от дачи, на которой он жил, а до поезда оставалось еще почти целых четверть часа.

II

На дачной платформе собрались все те, кого можно было видеть здесь в этот час дня, — старики и старухи, приехавшие подышать чистым воздухом и погулять в лесу, а теперь, к вечеру, возвращающиеся домой.

Каждый раз, когда Давид Вилковский смотрел на этих пожилых любителей природы, ему хотелось догадаться, кто они, какую жизнь вели в прошлом, кто из них жил обыкновенно, честно ишачил, а кто ловчил и урывал сладкие куски, кого прорабатывали, унижали, топтали, а кто сам исключал, прорабатывал и топтал других, ведь всего этого не могло не быть в жизни людей, прошедших через революцию, войны, эпоху "культы" и "борьбы с культом". По лицам, однако, ни о чем не догадаешься, задублены, отмечены страданием

все — честные и нечестные, добрые и жестокие, невинные жертвы и губители; эти старики очень разные, но все они старики. Мучаются ли они итогами своей жизни? Поняли ли, наконец, что было в ней страхом, трусостью и несправедливостью, а что правдой? Пытаются ли они, как и я, сделать выводы или не ощущают такой потребности и избавлены от мук воспоминаний?

Сегодня Вилковский был, однако, далек от подобных мыслей. Погруженный в собственные воспоминания, ни на кого не глядя, он привычно вошел в автоматически раскрывшуюся дверь вагона и отчужденно сел на ближайшую скамью. В его жизни уже бывали такие дни, когда от малейшего толчка включался таинственный механизм памяти и он легко и без усилий вспоминал давно забытое и блуждал по временам, которые ему больше не принадлежали. Сегодня, видимо, был именно такой день.

Он сидел у окна и смотрел на уходящие назад электростолбы, дачи, сосны и рощи, уже сильно тронутые осенью, на деревенское кладбище и церковь с обшарпанной колокольней. Кто-то рядом начал шумно разворачивать газету. Вилковский скользнул взглядом по газетному листу и прочитал один из заголовков, набранный жирным шрифтом: **НОВАЯ ПРОВОКАЦИЯ ИЗРАИЛЯ**. Он не стал читать дальше, так как знал заранее, что там написано, и отвернулся. Но уйти от того, что он только что увидел, и того, что при этом почувствовал, он уже не мог.

Он сидел среди пассажиров, едущих в Москву, глядя, как и они, в окно, и внешне ничем от них не отличался, но в его глазах застыло видение газетного листа, где среди серых, однообразных заголовков, похожих на вчерашние, позавчерашние и даже прошлогодние и позапрошлогодние, выделялся тот, который был посвящен Израилю.

Он тоже был далеко не новым и повторялся чуть ли не изо дня в день по меньшей мере шесть лет подряд; пора бы привыкнуть, ведь привык же он не замечать другие газетные штампы, когда-то сильно раздражавшие его своим однообразием и пренебрежением к истине. Но к этому Давид Вилковский привыкнуть не смог. Еще года три тому назад он отказался от выписывания газет на дом, чтобы это не нагоняло на него тоску с раннего утра. Но, выходя из дому, останавливался у первой встречной газетной витрины и, глядя на непрекращающиеся, беззвучно кричащие сообщения о Провокациях, Преступлениях, Наглости, Разбое Израиля, испытывал ту же тоску. Он прекрасно знал, почему и как это пишется, знал, что люди, которые этим занимаются, не питают особой злобы к евреям, а тем более симпатии к арабам, иногда они сами евреи, но им все равно, они давно разучились соотносить свои поступки на службе с собою и очень удивились бы, услышав, что они совершают подлость. Если указания изменятся, они без тени смущения будут писать нечто прямо противоположное тому, что пишут сейчас, и начнут подбирать или выдумывать подходящие факты и цитаты. Можно ли сердиться на машину? Но и примириться с тем, что она производила механически, по инерции, Вилковский не мог. Каждый выстрел на Ближнем Востоке она приписывала Израилю. За каждой взорвавшейся бомбой стоял Израиль. Каждого убитого в Египте, Сирии, Иордании, Ливане и в самом Израиле убил Израиль. В захвате самолетов и расстреле израильтян-заложников тоже виноват Израиль, только Израиль. Все злодейства, все жестокости, все зло на Ближнем Востоке и в очень отдаленных от него районах мира называется Израиль! Одна лишь первая буква этого рокового слова, крошечное "и", уже вызывало ненависть и подозрение,

как это случилось, когда один московский поэт опубликовал коротенькое стихотворение "Союз" о маленьком племени И: "Я узнал: в азиатском заморье есть народ по названию И. И простор, и восторг, и унылость человеческой нашей семьи, — все сплотилось и мощно сроднилось в этом маленьком племени И. Без союзов словарь онемеет. И я знаю: сойдет с колен, человечество быть не сумеет без народа по имени И..."¹⁸ Какой переполох, какой вой вызвали эти невинные строчки: а вдруг автор имел в виду народ Израиля?

Давид Вилковский хорошо помнил, как это началось.

В ту весну он не интересовался международным положением. Он видел, что огромное большинство людей вовсе не интересовалось газетной шумихой, суетой, переменой лозунгов и кампаний. Но вот в среде, в которой Вилковский вращался, считалось очень важным, был ли упомянут Сталин на последнем ответственном пленуме, есть ли ссылка на XX съезд в очередной газетной передовице, потому что от этого часто зависело благополучие или нищета, слава или забвение. В этой особой атмосфере особенного мирка совсем не было удивительно, что Давид Вилковский не заметил, во всяком случае, не обратил внимания на все чаще повторяющийся в газетах заголовок: **ИЗРАИЛЬ НАГНЕТАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ!**

Израиль "нагнетал напряжение" в день, когда Египет блокировал Тиранский и Аккабский заливы. И когда Насер внезапно потребовал удаления контингентов войск ООН с Ближнего Востока и двинул свою армию к границам Израиля. И в дни, когда в Каире начались массовые митинги и демонстрации под лозунгом: сбросим израильтян в море! Лишь косвенно, глухо и невнятно сообщив о действиях Египта и Сирии, а иногда и ничего о

них не сообщая, ТАСС настойчиво разоблачало тайные происки Израиля, а заодно американских империалистов и немецких реваншистов, вмешавшихся в ближневосточный конфликт, разумеется, тоже каким-то секретным способом. "Литературная газета", хоть и занятая предстоящим писательским съездом, тоже выкроила место для статьи о провокациях Израиля, ее написала еврейка, это не могло Вилковского удивить, он давно к такому привык, не мог удивить его и другой разоблачитель Израиля, английский писатель Джеймс Олдридж. Во все времена находились иностранные прогрессивные писатели, одобряющие прогрессивные преступления. Правда, в последние годы это были уже не Ромен Роллан или Барбюс, не Бернард Шоу, Фейхтвангер или Мальро, и даже не Говард Фаст, не Жан-Поль Сартр, а лишь Джеймс Олдридж и финский юморист Матти Ларни, но в принципе ничего не изменилось, все повторялось, и Давиду Вилковскому казалось, что новая кампания о кознях Израиля лишь повторяет старые, к которым он давно привык, пока однажды, взглянув на только что вывешенные в уличной витрине на Садовом кольце свежие листы "Вечерней Москвы", он не увидел коротенькое сообщение: "Израиль начал агрессию!", втиснутое между обычными сусальными заголовками в стиле этой газеты: "Цвети, моя Армения!", "Голос планеты!" — и новостями с шахматного турнира.

"КАИР /ТАСС/. Каирское радио сообщает, что сегодня Израиль начал агрессию против Объединенной Арабской Республики".

Был обыкновенный московский вечер, улица грохотала от потока автомобилей, на углу стояла какая-то длинная очередь, другая, поменьше, — у автоматов с газированной водой, все выглядело мирно, буднично, но Вилковский вдруг почувствовал такую тревогу и страх, которые, пожалуй, он

мог бы сравнить лишь с ощущениями того мучительного, давно отошедшего в прошлое, но все еще не забытого дня, когда он прочитал на последней странице "Правды" коротенькую заметку под двумя заголовками: "ХРОНИКА. Арест группы врачей-вредителей". Тогда зловещая "Хроника" вторгалась в его собственную жизнь, она была сигналом для массовых репрессий, жертвой которых он легко мог оказаться сам. А события на Ближнем Востоке лично его как будто и не касались. Чего же он испугался? Почему в нем пробудился страх?

В тот первый день израильско-арабской войны, о которой никто не мог предположить, что она продлится всего лишь шесть дней, Вилковский еще не осознавал по-настоящему причину своей тревоги. До этого он не очень-то интересовался государством Израиль. Там, правда, жили близкие ему люди, но он не виделся с ними бесконечно давно. Когда его двоюродные братья уехали в Палестину, они еще были детьми, младшего он носил на руках. Это произошло в начале тридцатых годов, когда их родной край еще не стал советским. В те годы уехал родной брат Вилковского, но и он существовал лишь в воспоминаниях о далеком детстве. Когда они виделись в последний раз, Давид еще был коммунистом и противником сионизма. Не желая, по-видимому, вступать в ненужный спор, брат ничего ему и не сказал.

Потом Давид Вилковский неожиданно стал советским гражданином, приехал в Москву, где стало его начало войны. А когда война кончилась, он остался жить в Москве и уже понимал, что для него нет ничего опаснее, чем переписка с заграничным родственником; как, впрочем, и для других москвичей...

Две газетные строчки все изменили.

Забросив привычные дела, он помчался домой

и весь вечер просидел у радиоприемника. Ничего определенного не услышал. В течение вечера тревога усилилась, у него дрожали руки, болел затылок. Только во втором часу ночи он выключил приемник и лег в постель.

...Ему долго снился городок на Дунае: родительский дом, пустой, покинутый, с заколоченной дверью и выбитыми окнами. Это был не только сон — все это он видел на самом деле вскоре после окончания войны, когда в последний раз ездил в родной город. Он уже знал тогда, что его отец и мать погибли на юге Украины во время депортации, но надеялся найти людей, уцелевших от гибели, и узнать, как все произошло. И последнее возвращение в родной край запечатлелось в нем с такой мучительной болью и так долго терзало его воображение, что перешло и в его сны: то, что случилось с ним на самом деле, казалось иногда воспоминанием о кошмарном, часто повторяющемся сне, обычно начинавшемся с ощущения, что он проваливается, летит в разрыве белых облаков под мощный рев мотора, а навстречу ему стремительно несется земля; все, что он видит — хлебные поля, сады, темные купы деревьев, — стремительно кружится, и от всего этого у него подступает к горлу. Еще миг, и он врежется в землю. Но вдруг поле под ним начинает выпрямляться, деревья, дороги, белые домики, отбрасывающие короткие черные тени, отодвигаются, и вот он уже летит над ровной синеватой степью и видит в туманной дымке синюю ленту реки, а на ее берегу — белый городок, со всеми его улицами, колокольнями и пожарной каланчой посередине пустой площади... Все это было на самом деле, потому что свою последнюю поездку в родной город Вилковский совершил на самолете, открытом двухместном У-2, который удалось нанять на один день. Он не хотел ехать

обычным транспортом, чтобы не пришлось заночевать в городе, где уже никого из близких не осталось.

Ни с чем не сравнимая тоска, начавшаяся когда он стоял в мертвом сумраке выпотрошенного родительского дома и еще больше усилившаяся в комнате с фикусом, где он выслушал рассказ о гибели его родителей и соседей от одной женщины, в душе которой жил такой ужас, что Вилковский даже не мог себе его представить, не покидала его и после окончания полета и даже позднее, по возвращении в Москву. В сущности, эта тоска никогда не проходила и, переместившись в таинственную глубину подсознания, безысходно длилась потом всю жизнь, прорываясь иногда в его сны, в которых перемешались печальные видения того жуткого дня и воспоминания о мирном и счастливом детстве: родной дом с заколоченной дверью и закладка фундамента дома дяди Авраама, мать в зеленом пальто, ведущая его за руку в солнечный зимний день, и она же, в том же пальто, с остановившимися от ужаса глазами, на краю могильного рва; отец, в пальто и праздничном черном котелке, улыбающийся перед наставленным на него фотообъективом, и сын фотографа на костылях... Так что, проснувшись в ночь с пятого на шестое июня 1967 года в своей квартире в Москве, Вилковский не сразу вспомнил, что случилось накануне. Он лежал распластанный, с тяжелой головой, все еще не в состоянии вырваться из пелены давно знакомых жутких сновидений, но при этом в нем росло болезненное ощущение какого-то нового несчастья. Вдруг он вспомнил, что случилось вчера, и понял: старые сны пробудились с особой силой, потому что его мучает страх перед возможностью повторения старой беды. Это был страх еврея за евреев. Прошли времена, когда он этого стыдился и само собой полу-

чалось, что пренебрежение к близким выглядело чуть ли не доказательством любви ко всему человечеству. Разумеется, он понимал, что в современном мире не одни евреи подвергаются преследованиям и не их одних следует жалеть. Но на Ближнем Востоке дело шло как раз о евреях, снова о евреях, причем о тех самых, которые избежали фашистской казни.

На рассвете ему удалось услышать из прижатого к уху транзистора голос израильского диктора:

“...Они хотели сбросить нас в море, но вот, уже в первый день войны, Армия обороны Израиля отбросила египетскую армию в Синайскую пустыню”.

Поспешно одевшись, он вышел на улицу и устремился к газетному киоску. Газет еще не было, но у киоска уже стояла небольшая очередь. Среди неряшливых фигур пенсионеров с отечными лицами Вилковский увидел одного литератора, о котором он раньше не знал, что тот еврей. Их взгляды встретились. Отныне, подумал Вилковский, ничего больше и не нужно будет, мы научимся понимать друг друга с полуслова, даже с полувзгляда.

III

Так начались те тревожные и напряженные дни, заполненные утомительными бдениями у воющего транзистора, нервными разговорами, зловещими, передаваемыми шепотом слухами.

На пятый день войны он услышал по радио репортаж из Иерусалима. Микрофон был установлен у древней Стены плача¹⁹, куда евреи снова получили доступ после многих лет. Слышались

молитвенные песнопения, вздохи и горестные возгласы, очень похожие на те, что маленький Давид слышал в синагоге своего родного городка. И голоса израильских солдат, отвечавших на вопросы радиокорреспондента на иврите и на языке идиш, на котором велась передача, казались мучительно знакомыми: солдаты употребляли знакомые обороты речи и произносили слова с той же интонацией, что и местечковые евреи. Неужели же это их дети сражались в Синайской пустыне и на Голанах? Один сказал: "Я минометчик, наша часть вела бои на соседней улице". Другой: "Мы, парашютисты, первыми вышли к Суэцу". Совершенно невозможно было связать то, о чем они говорили, с образами, жившими в воспоминаниях Вилковского. Он слушал радиоголоса, чувствуя, что не может вполне понять этих столь далеких и столь близких ему людей. Минометчики и парашютисты в самом деле евреи? Смутные образы солдат, стоящих у Стены плача, которых он не мог себе представить, смешались с неожиданно всплывшими из глубин памяти воспоминаниями о толпе грязных, оборванных и голодных людей, уцелевших узников гетто, которых он видел в слякотный мартовский день сорок четвертого года на площади украинского местечка Бершадь вскоре после изгнания оттуда гитлеровцев. На страшных, костлявых лицах оставшихся в живых евреев лежала печать таких страданий, что он тогда не посмел с ними заговорить. Он уже знал, что тысячи таких, как они, немцы заставили рыть себе могилы. Голыми стояли они у могил. Голыми загоняли их в газовые камеры. Неужели это они стоят теперь, увешанные оружием, у стены Иерусалимского храма, возбужденные, усталые, счастливые после победы?

Сквозь треск и хрип транзистора все еще доносились их голоса. Радиореporter спросил одного:

”Вы верующий?”. Тот ответил: ”Раз я здесь, надо помолиться. Мой танк ждет меня рядом”.

Скорбные голоса молящихся заглушили бодрый голос танкиста. Молились не только солдаты, но и сбежавшиеся со всего Иерусалима к вновь обретенной святыне старики, и, слушая их голоса, Вилковский почувствовал, что ему уже никогда не забыть эту удивительную и необычайную молитву. Он стоял и слушал голоса библейских старцев, которых он еще мог себе представить, с их седыми пейсами и бородами, в ермолках или меховых шапках, в бархатных халатах и белых чулках, и голоса юношей в солдатской форме, которые тоже были евреями. Необычайность молитвы была в том, что вековая еврейская скорбь, память о незабвенных временах до разрушения Храма, боль и мольба соединялись в ней с радостью и беззаботностью молодых, здоровых, упоенных боем солдат, рассказывающих если не словами, то пением, ликующим тоном о своей отваге и победе. Необычайность была в том, что молитвенные литании, выражающие смирение и покаяние, смешивались с неосознанной укоризной и тайным бунтом. Евреи, стоявшие у Стены плача, конечно же, как всегда, плакали, причитали. ”Ради чертогов разрушенных. Одинокие, сидим мы и плачем!” — скорбно восклицал старческий голос. Но тут же с ним соединялись молодые, звучные голоса, в которых чувствовались и восторг, и дерзость перед судьбой, и они как бы говорили Богу Авраама, Исаака и Израиля слова, не значащиеся ни в одной молитве: ”Две тысячи лет мы приходили к этой Стене плакать, пока ее у нас не отобрали. Ты прости, прости за то, что сегодня мы отвоевали ее мечом!”

Он прошел по знакомому двору, где у всех подъездов и на лавочках маячили знакомые фигуры лифтерш и дворников, изнывающих от безделья

и рассказывающих друг другу новости из жизни дружно ненавидимых ими жильцов дома, вышел на улицу и, пройдя мимо нескольких очередей, стоявших посреди площади и вдоль тротуаров, спустился в метро. Чувство какого-то мучительного восторга, начавшееся при слушании радиорепортажа из Иерусалима, сменилось острой жалостью и старым, уже много лет не дававшим ему покоя вопросом: почему жизнь евреев всегда и везде связана с катаклизмами и кровопролитиями? Неужели армия — единственное средство для осуществления мечты тысячелетиями гонимого народа, того самого, кому Бог повелел: "Не убий". Вилковский был рад победе Израиля и впервые за всю историю еврейского государства, которую он наблюдал издалека, ощутил связь, которая была между людьми, собравшимися сегодня в Иерусалиме у Стены, и им, живущим в совершенно другой среде, в другом мире, дышащим другим воздухом. А главное, он понимал: что бы он ни думал по поводу того, что случилось сегодня в Израиле и Иерусалиме, он тоже к этому причастен.

Приехав в центр города, он зашел в кафе "Националь". Там сидели все те, кого обычно можно было видеть здесь в этот час. Вилковского окликнули, и, когда он подошел к столику, один из завсегдатаев кафе, мелкий журналист, лохотонный, жеманный, с набриллиантенными волосами, игравший роль юного и непризнанного гения, хотя ему было уже под сорок, рассказал старый еврейский анекдот, слегка переделанный по случаю израильско-арабской войны: в израильской армии, на боевых позициях, вывешивают плакаты: "Генералам просим советы не давать!"

— Вы же сами еврей, — хмуро сказал Вилковский. — Да и посмеиваться теперь над израильской армией по меньшей мере глупо!

— Я не сионист, — жеманно возразил вундеркинд.

Вилковский вспыхнул.

— Доложите об этом Софронову и Бубеннову, да вряд ли они вам поверят!

Сидевшие за столиком удивленно посмотрели на Вилковского. Похоже, никто из них не понимал, чем он так взволнован. А он, Вилковский, как бы уже из другого мира наблюдал за ними, и то, что он пережил в последние дни, обострило его зрение. За столиком сидели одни евреи. Был среди них сценарист, который еще не довел до съемок ни один из своих сценариев, что не мешало ему прилично зарабатывать и заслужить кличку "мастера русского аванса". И один бывший деятель промкооперации, недавно выпущенный из-под ареста, но не расколовшийся, не выдавший тайн коммерческих махинаций. Потом кинооператор-документалист, тихий, несколько пришибленный человек, отсидевший восемь лет в лагере за то, что в день похорон Кирова, находясь на какой-то дальней стройке, он вместе с товарищами решил использовать свободный от работы день, чтобы помыться в бане и отдохнуть, что и было сочтено антиправительственной демонстрацией. Были там еще один актер и врач-гомеопат. Все пили коньяк, и кинооператор, наливая рюмки, сказал, что израильяне, конечно, молодцы, но дело все равно кончится в пользу арабов, все еврейские дела имеют печальный конец — что тут сделаешь? Вилковский сказал, что кое-что сделать можно, ну, хотя бы не насмеяться, помнить, что нас это тоже касается. Сорокалетний вундеркинд опять сказал, что он себя и евреем не считает. Вилковский хотел напомнить ему общих знакомых, тоже не считавших себя евреями, однако жестоко пострадавших в пору погони за космополитами и сионистами, но в это время к столику подошел

еще один завсегда́тай кафе, русский, по имени Николай Васильевич, преподаватель, а также собиратель книг. Он держал в руках пачку газет и, усаживаясь за столик, сказал:

— Послушайте, друзья. Может, кто-нибудь из вас разъяснит мне, когда и каким образом евреи очутились на Суэцком канале? Вот вчерашние газеты: **"РАЗБОЙНИЧЬИ ЗАМЫСЛЫ АГРЕССОРОВ ПРОВАЛИЛИСЬ!"**... **"ИЗРАИЛЬСКАЯ ВОЕНЩИНА ТЕРПИТ ПОРАЖЕНИЕ!"** А вот сегодняшняя "Вечерка": довольно понятно сказано, что агрессоры уже вышли на Суэцкий канал. Когда же это успело случиться?

Все расхохотались, а Николай Васильевич выпил рюмку коньяку и сказал, что ему израильские агрессоры очень нравятся. Потом он обратился к набриллиантиненному журналисту и попросил его разъяснить, как можно печатать сообщения, о которых заведомо известно, что их завтра придется опровергать в своей же газете? Неужели вы, газетчики, ни во что не ставите читателя? Но ведь читатели — это нация, народ. Что скажет народ? Киносценарист захихикал и спросил, не слышал ли Николай Васильевич, как в свое время ответил товарищ Сталин на почти такой же вопрос: что скажет народ? Товарищ Сталин сказал: "Народ? Народ пашет!". Вилковский немного успокоился, тоже налил себе рюмку коньяку и уже довольно равнодушно выслушал цинические рассуждения журналиста о том, что в газетной политике важны не факты, а их интерпретация в соответствии с правильной концепцией...

Уже на другой день Вилковскому пришлось вспомнить об этом разговоре. Если бы он не слушал иностранные радиостанции, он бы так и не понял, что, собственно, случилось в Каире, потому что московские газеты опустили из речи египет-

ского диктатора, подавшего в отставку, то, что, по их мнению, не соответствовало правильной установке, т.е. признание Насером военного разгрома Египта. А еще через день, когда в Каире начались демонстрации в поддержку Насера, из чтения телеграмм ТАСС можно было вывести лишь одно: в Египте длится всенародное торжество по случаю очередной победы. Все это было лишь прелюдией к дотоле неслыханной директивной ярости.

**ИЗРАИЛЬ БРОСАЕТ ВЫЗОВ ПЛАНЕТЕ!
КРОВАВЫЕ ЗЛОДЕЯНИЯ ИЗРАИЛЯ!
ИЗРАИЛЬ ИСТРЕБЛЯЕТ МИРНОЕ АРАБСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ! ИЗРАИЛЬ! ИЗРАИЛЬ!
ИЗРАИЛЬ!**

Израиль, агрессоры, сионизм, империализм, колониализм — неслоь с экранов телевизоров и страниц московских газет, как сигналы тревоги, как искры, пробуждая забытые воспоминания, старые психозы, глубоко запрятанные в подсознании чувства, о существовании которых многие не подозревали. И ни один советский еврей уже не мог себя обманывать, не мог не понимать, что гремящая вокруг него кампания разоблачения Израиля затронет в конце концов и его самого.

Разумеется, не было недостатка в евреях, готовых отмежеваться от зловредного Израиля и осуждать его без устали днем и ночью, пока не устанет указующий перст начальства. Однако и они ничего не могли поделать с той давней особенностью еврейской судьбы, кажущейся многим почти мистической: все, что случается с одними евреями, немедленно отражается и в жизни, и в сердцах всех остальных. В мире произошло что-то новое с евреями, и оказалось, что победа Израиля вторглась в жизнь советских евреев. Быть может, в их жизнь даже больше, чем в судьбу остальных, рассеянных по свету евреев, хотя они, советские евреи, этого не подозревали. Если бы им

это сказали летом шестьдесят седьмого года, они бы ни за что не поверили. Однако же это была истина. И медленно, но неотвратно Израиль стал лакмусовой бумажкой для каждого советского еврея, хотел он этого или нет. На отношении к Израилю вдруг стал проявляться человек, со всеми его воспоминаниями и всеми итогами уже прожитой до сих пор жизни.

Пора великих превращений началась с того, что в самом слове "еврей" зазвучал новый смысл... А может ли изменившийся смысл слова проложить путь к перемене судьбы предмета? — спрашивал себя в те дни Давид Вилковский, любивший размышлять о словах. Когда-то в юности он свято верил в слова, у него ничего не было, только чувства и слова — и никакой проверенной опытом реальности. Потому он и оказался так жестоко обманутым в жизненных ожиданиях и надеждах, что за ними никогда раньше не стояла настоящая жизнь, а лишь слова. И вот на его глазах старое, как будто хорошо знакомое слово "еврей" начало приобретать иной, новый смысл.

Иван в окопе воюет, Абрам в рабкопе ворует...

Строка из "самиздатского" стихотворения. Поэт перечислял все традиционные упреки, которые выслушивали русские евреи со времен царской охранки и черной сотни, почти не изменившиеся за годы правления Великого Интернационала и Отца Всех Народов:

"Евреи хлеба не сеют. Евреи в лавках торгуют. Евреи раньше лысеют. Евреи чаще воруют. Евреи — люди лихие. Они солдаты плохие..."

О, если бы этот поэт написал стихотворение после израильско-арабской войны, ему пришлось бы кое-что изменить.

...И тот старый еврей, который ехал в московском автобусе на другой день после окончания войны на Ближнем Востоке, когда он увидел, как

вошедший с передней площадки человек с внешностью озлобленного хама, столь типичной для юдофобов, пошарив мутным взглядом по лицам пассажиров, вдруг уставился именно на него, безошибочно признав в нем еврея, и, расталкивая людей, стоявших в проходе, направился в его сторону, сначала, по давней привычке, наверно, съезжился в ожидании неприятностей, но потом, быть может, и не очень-то удивился, когда дело приняло совсем другой оборот.

— Еврей? — спросил верзила, обдавая собеседника запахом винного перегара.

— Да... а что?

— Уважаю!

И, изобразив на лице почтение, дружески хлопал старика по плечу.

...Пока один советский дипломат, выведенный из себя тем, что израильский представитель не только не признает себя разбойником, но даже смеет задавать ему встречные вопросы, воскликнул: "Израиль хочет превратить ООН в местечковый базар!", — на базарах уже говорили совсем не то, что раньше. Вилковский однажды сам стал свидетелем сцены в духе "новых времен". Загоревший до черноты парень с татуировкой во всю грудь "Не забуду мать родную!" обозвал молодую женщину "жидовкой" и немедленно получил увесистую пощечину. Схватившись за щеку, он стал звать на помощь милицию, оглашая пляж криком: "Здесь не Тель-Авив! Это вам не Суэцкий канал!". Среди случайных зрителей, привлеченных скандалом, был пожилой человек с что называется еврейским лицом. "Боже мой, — сказал он, качая головой, — какой скачок! Всю жизнь я слышал: "Это вам не базар, не синагога!". А теперь говорят: "Это вам не Суэцкий канал!".

Скачок — куда?

IV

Электричка остановилась у перрона Белорусского вокзала, и все стали выходить из вагона.

— Конечная, — сказала пожилая женщина, глядя с удивлением на Давида Вилковского, продолжавшего сидеть на своем месте.

Он встал.

Двенадцатый номер троллейбуса шел по улице Горького, мимо площадей Маяковского и Пушкина, мимо Моссовета, Центрального телеграфа, мимо домов с аляповатыми гипсовыми статуями и башенками на крышах в помпезном стиле тридцатых годов, мимо витрин московских магазинов, известных до сих пор своими дореволюционными названиями: Елисейевский гастроном, булочная Филиппова. Длился все тот же день, который начался на даче с воспоминаний о детстве, о Иом-Киппуре. Сигналы из прошлого продолжали нестись навстречу троллейбусу, в котором ехал Вилковский: все, что он видел, было ему мучительно знакомо, он жил когда-то рядом с улицей Горького, испытал здесь столько страха, недоумений, потрясений, иногда и радости. Ушедшее время возникало — время, что оставило в Вилковском лишь ощущение потерянных лет, бесцельно прошедших месяцев, в течение которых он ничего не сделал, не достиг, кроме, может, умения сохранить рассудок в ситуации постоянного напряжения. Но вдруг именно тогда он достиг главного — стал иным человеком? И уже в то время начался его нынешний путь — вот эта поездка в московскую синагогу?

Вилковский смотрел в окно троллейбуса, и ему представилась улица Горького в зимний день, но уже капало с крыш, мужчины еще в пальто, но без меховых ушанок, женщины сняли валенки и

боты. И он стал вспоминать себя таким, каким он был тогда, после окончания войны, полным сил и надежд на будущее, на скорое лучшее будущее. Дни, недели, месяцы проходили тогда очень быстро. Они не были, конечно, одинаковы, в течение каждого года происходило множество самых разнообразных событий, но весь строй этих лет, их тон и смысл не менялись. Поэтому они и сохранились в памяти Давида Вилковского как непрерывное целое, как будто все, случившееся тогда, случилось в одно и то же время.

В ту весну на московских улицах было много продавцов мимозы — черноусых кавказцев в маленьких черных кепочках и много женщин в новых туфлях и сандалетах "чехословацкого импорта", а в московских газетах появились бодрые заголовки о новых победах в восстановлении, строительстве и переустройстве. После тяжелой войны люди надеялись жить лучше, полнее — никому и в голову не приходило, что вскоре обнаружатся новые враги, чем-то даже опаснее гитлеровцев, как-никак уже побежденных в войне, — опаснее потому, что новые враги окажутся скрытыми, притаившимися в промышленности, в сельском хозяйстве, в науке, в литературе, и особенно, как потом выяснилось, в секции театральных критиков Союза писателей.

Хотя у Вилковского еще не было в Москве ни своего угла, ни даже прописки, он все же пребывал в бодром настроении. Ему удалось снять комнату в отдельной квартире, в центре города, что было по тем временам большой удачей. От его дома можно было за несколько минут выйти на улицу Горького у Моссовета, в Леонтьевский переулок, где находилось агентство печати Совинформбюро, или же на площадь Пушкина, где помещался Радиокomiteт и еще несколько нужных ему редакций. Хорошо зная Румынию и язык

ее народа, он вскоре приобрел репутацию хорошего знатока "народных демократий", как называли тогда страны юго-восточной Европы. Судя по материалам, которыми пользовался Вилковский, строительство социализма там шло успешно, особенно в Югославии. А ведь уже был близок день, когда вдруг оказалось, что как раз в Югославии-то все обстоит крайне неблагоприятно, и именно маршал Тито есть самый яркий враг социализма. Но еще до разоблачения Тито были иные искры, предвещающие громы и молнии. Вилковский их не разглядел, потому что в ту весну он был захвачен чувством к Наташе, непохожим на случайные и короткие влюбленности, которые он испытывал раньше в Москве.

Наташа была высокая молодая женщина с тонким орлиным носом и румяными губами; тонкие усики над верхней губкой придавали ее лицу чувственное выражение, а каштановые волосы, уложенные на затылке пучком, делали ее похожей на русскую красавицу прошлого века. Она говорила, что совершила ошибку, выйдя замуж за человека старше ее, преподавателя вуза в Саратове, что она не любит мужа и чувствует, уже никогда его не полюбит. И зачастила в Москву, в гости к матери. В дни ее приездов Вилковский вел праздную, счастливую жизнь. Они часами бесцельно бродили по улицам, иногда заходили в магазины, потом шли обедать в ресторан Дома актера, где знаменитый мэтр Яков Данилович, так и прозванный за белую осанистую бороду "Бородой", подходил к их столику и советовал, что выбрать в сегодняшнем меню. После обеда шли в комнату к Вилковскому. Главное преимущество его холостой жизни состояло в том, что он имел комнату, где можно было встречаться. Она, правда, стоила пятьсот рублей в месяц, жил он там без постоянной прописки, и приходилось выносить

капризы квартирной хозяйки... То есть это был рыхлый, рыжий мужчина, занимавший когда-то номенклатурную должность и ездивший в Америку представлять от имени какой-то важной организации. От всей его прошлой жизни сейчас осталась лишь отдельная трехкомнатная квартира, а от поездки в Америку — музыкальный комбайн, который он пускал в ход, как только напивался пьян. Под звуки негритянского джаза он вымещал свою обиду на мир — из-за потери руководящей должности — на жившей с ним крохотной, замученной Нине, у которой где-то жило двое детей от первого брака, она не смела приводить их в дом своего нового мужа.

Наташа была стройная, длинноногая, ее тело легко и удобно было обнимать, ее губы не отрывались от его рта, пока им хватало дыхания. Лежа рядом на тахте, отдыхая, они говорили о будущей совместной жизни. Узкая, выкрашенная масляной краской комната, где книги валялись на столе и подоконнике, наполнилась присутствием Наташи, их только и было на свете двое, этому ощущению не могли помешать даже доносившийся из-за стены пьяный голос хозяина и причитания несчастной Нины. Вот осенью скажет Наташа мужу, что уезжает от него навсегда, и переедет в Москву! Они поженятся, поселятся вместе пока что в ее комнатенке на Красной Пресне, а позднее ее можно будет обменять. Но когда наступила осень, Вилковскому пришлось эти совместные планы перечеркнуть.

В тот день Наташа уезжала в Саратов, они договорились, что он заедет за ней на такси и отвезет на вокзал. В положенный час он вышел из дому, на улице Горького сел в троллейбус, идущий к Манежу, где надеялся скорее поймать такси. Он был единственным пассажиром, дожидавшимся троллейбуса у Моссовета, но когда он сел, откуда-

то выскочили два молодых человека и, придерживая закрывающиеся двери, тоже втиснулись в троллейбус. Вилковский взглянул на их напряженные лица и вздрогнул от неожиданной мысли: уж не за мной ли? Выйдя из троллейбуса у гостиницы "Националь", он спустился в метро и удостоверился, что предчувствие не обмануло: следят! Его сразу охватила паника. Будь это в другое время, он не поступил бы так опрометчиво, не попытался бы сразу уйти от преследователей, но теперь он ехал к Наташе, времени осталось мало, она могла опоздать на вокзал, а он не хотел, чтобы они ее увидели. Он вошел в поезд метро, те двое проникли в соседний вагон, но как только двери стали затворяться, он выскочил обратно на перрон, двери захлопнулись, и поезд укатил, увозя его преследователей.

Он увидел их опять уже через полчаса, когда подъехал на такси с Наташей к Павелецкому вокзалу: они стояли у входа и явно ждали его прибытия. Значит, уже видели Наташу, и им было известно, что она сегодня уезжает, вероятно, ходили за ним, когда он покупал ей билет... Он слышал свой голос, говорящий с Наташей, но ему казалось, что это разговаривает не он, а кто-то другой, чужой. Стало чуть легче, когда поезд ушел и можно было возвращаться домой. Он уже не проверял — идут ли еще двое за ним по пятам, он не сомневался, что так легко они теперь не отстанут. Дома его встретил рев американской радиолы и жалкий голос Нины, просившей, чтобы он помог ей дотащить пьяного мужа до постели. Пьяница рыгал, матерился и угрожал жене вышестоящими инстанциями.

Ночью Вилковский почти не спал: у него перехватывало дыхание, сразу, как только он представлял, как они задерживают Наташу. Почему-то был уверен, что они обязательно снимут ее

с поезда, подвергнут допросу и, в конце концов, муж узнает о "связи" в Москве. Что делать? Сделать ничего нельзя. Он был убежден, что его самого арестуют в ближайшие дни, но почти не думал об этом, даже не терзался догадками, почему его хотят арестовать, — мучили мысли только о Наташе. Так страшно ее подвел!

На следующее утро, едва вышел из дома, как сразу убедился, что слежка за ним продолжается. Все в нем застыло. Три дня жил как в сомнамбулическом трансе. На четвертый, получив письмо от Наташи и поняв, что с ней все в порядке и она ничего не подозревает, закатился на радость в коктейль-холл и проторчал там до часу ночи. Казалось, множество скверно приготовленных коктейлей на него не действуют. Выйдя на улицу и увидев автомашину, в которой сидели приставленные к нему субъекты, захотел подойти, открыть дверцы, сказать: "Хватит дурака валять, ребята! Везите меня к вашему начальнику. Чего он от меня хочет?". Но буквально в последнее мгновение что-то удержало его — вероятно, успевшее накопиться знание, что с ними не шутят. Успел уже наслушаться рассказов о неожиданных и непонятных арестах, был уже свидетелем того, как после исчезновения очередной загремевшей жертвы никто больше не решался о ней вспоминать.

Слежка за ним то прекращалась, то возобновлялась по непонятному графику. Он научился, обозревая по утрам из кухонного окна улицу, узнавать, ждут ли его в этот день: машина с молчаливыми молодыми людьми стояла обычно перед подъездом, иногда несколько в стороне. Когда за ним следили, он старался проводить день по твердому расписанию, которое со стороны создавало бы впечатление, что он ведет целеустремленную жизнь, занятую будничными заботами и журналистской работой. Что хочет от него та зло-

веща организация, которая направила на него свое внимание, он не знал, рассказать кому-нибудь о том, что происходит, не смел. Никто не поможет, зато кто-то отшатнется. Он давно чувствовал, что страх подмял под себя многих знакомых, заполонил их души, не оставил места для чего-либо другого.

В то лето был раскрыт заговор "фашистской клики Тито — Ранковича", а потом стали обнаруживаться и другие заговоры, другие неожиданные предатели — в Польше, в Болгарии, в Венгрии. В Румынии злейшим врагом социализма оказался один из старейших румынских коммунистов — Патрашкану. Узнав об этих арестах, Вилковский подумал, что это и могло бы стать объяснением того, что происходило с ним — ведь он был когда-то румынским коммунистом, знал людей, которых теперь в Румынии объявили предателями и шпионами. В подобных мыслях не было ничего утешительного, но они все же давали какое-то логическое объяснение всей этой чудовищной нелепости.

Время от времени слезка возобновлялась. Особенно почему-то в канун революционных праздников — под Первое мая, седьмое ноября, а также пятого декабря, в День сталинской конституции. За Давидом Вилковским упорно шли два, иногда три молодых человека того сорта, который он научился безошибочно узнавать не только по одинаковым пальто, шапкам и ботам зимой, апашкам и сандалетам летом, но главным образом по особому выражению их серых, ничем не примечательных лиц, по тому, как они изо всех сил изображали гуляющих. Когда Вилковский садился в автобус или троллейбус, один из "бригады" втискивался за ним, а остальные ехали сзади на машине.

Улица жила своей жизнью, мелькали лица муж-

чин и женщин, торопящихся на работу, шли люди с авоськами, несли молоко для детей, хлеб, поллитра. И среди всей этой будничной, человеческой суеты те двое или трое в бобриковых пальто и шапках из фальшивого котика с упорством маньяков, движимых неумолимо сумасшедшей силой, шли по пятам Давида Вилковского с утра и до позднего вечера и отмечали в уме или в рапортичке, в котором часу он вышел из дома, когда заходил в магазин за колбасой и булкой, когда обедал и сколько времени провел в Ленинской библиотеке. А когда, встретив на улице знакомого, Вилковский останавливался, чтобы перекинуться с ним двумя словами, котиковые шапки охватывала лихорадка, и когда собеседник Вилковского уходил, вслед за ним ныряла в толпу одна из котиковых шапок, вероятно, с заданием установить его личность. Боже мой, зачем? Что они подозревают? — спрашивал себя Вилковский. И вместе с тем начинал к этому привыкать, уже не замирал, не ожидал, как в первое время, что его непременно арестуют в ту же ночь. Он уже знал, что не только на него одного направлен сумасшедший луч и не за ним одним топают по городу суконные боты. Он стал узнавать их близнецов в идентичных ботах, пальто и шапках, томящихся поодиночке на всех углах Арбата и других режимных улиц, где были взяты под наблюдение каждый подъезд, каждое окно.

Когда слезка прекращалась, Вилковский слонялся по городу, веселый и счастливый уже от сознания, что никто не смотрит ему в спину. А когда приезжала Наташа, забывал о своей тревоге, и они опять подолгу сидели в ресторане Дома актера, с удовольствием слушали, как "Борода" рассказывает завсегдаям о гастрономических чудесах доброго старого времени, о том, какую розовую семгу подавали прежде в московских ресторанах,

какие устрицы, какой честер, какие разноцветные водки украшали обеденный стол...

Давиду Вилковскому хотелось иногда вспомнить вслух о чудесах собственного прошлого, рассказать Наташе, как в юности он увлекался революцией, расклеивал листовки, выступал на летучках, митингах, но эти рассказы не только не интересовали ее, а скорее пугали: "Не люблю, милый, политику. Моего дядю, старого большевика, посадили в тридцать седьмом, и он до сих пор не вернулся, неизвестно, жив ли... Не надо, милый, о политике". Вилковский понимал, что по-своему она права, но его не переставала удивлять эта черта московской жизни. Он не мог понять, как, если ты видишь, что совершается какая-то несправедливость, нелепость, жестокость, ты боишься проронить словечко осуждения и притворешься, что ничего не видел, ничего не знаешь или, что еще хуже, спешишь заявить вслух, что все идет хорошо и прекрасно. Окружающие его люди вели себя так из страха, но этот страх, как и их абсолютная покорность, возник из их же опыта, опыта беззащитности — для бывшего румына он был нов и страшен. Для чего это существует? — спрашивал себя Вилковский. Почему явная ложь стала признаваться несомненной правдой? Не было человека, с кем можно было бы поговорить откровенно, а в книгах, которые он читал, в газетах и публичных речах говорилось прямо противоположное. Однажды он все же случайно натолкнулся на книгу, в которой описывалось нечто похожее, на фантастический роман Уэллса "Машина времени". Изображенный в нем мир далекого будущего выглядел так: на поверхности земли живут элои, милые, но совершенно беспомощные существа, а под землей — страшные, уродливые морлоки. В течение дня элои резвятся, как дети, но с наступлением темноты жмутся друг к другу в

страхе и ужасе: они знают, что в этот час выходят на охоту за ними из Подземного мира страшные морлоки. В Москве морлоки среди бела дня преследовали намеченных к исчезновению злоев. Великий страх пронизывал всю жизнь, и оба мира были странным образом переплетены. И не было никакого выхода из страха, потому что он был тайным, никто не смел говорить о нем вслух.

Прочитав "Машину времени", Вилковский увидел себя во сне злоем, за которым гонятся морлоки. Но днем-то он продолжал искать иное, рациональное объяснение тому, что происходило. Он все еще тешил себя мыслью, что взят на подозрение лишь потому, что жил прежде в другой стране. Когда началась охота на еврейских националистов и на агентов "Джойнта"²⁰, еврейской благотворительной организации, о которой никто в Москве понятия не имел, и потому многие поверили, что речь идет о каком-то шпионском центре, Вилковскому впервые пришло в голову, что в его судьбе может сыграть роковую роль его еврейское происхождение. Уже и раньше смятение охватывало его душу, когда он читал газетные фельетоны, в которых обыгрывались еврейские имена, скажем, "Хаим, Сара и кот Бенья". Фельетонист даже знал, что кот жулика Хаима — обрезанный! Еще были научнообразные статьи, в которых встречались такие фразы: "Как может А.Гурвич судить о национальном характере русского советского человека?", "Альтман ненавидит все русское, все советское, русофобия толкает его на преклонение перед Западом". Память услужливо подсказывала Вилковскому цитату из Геббельса: "Когда еврей пишет по-немецки, он лжет". Ему не хотелось поддаваться этим неизбежным ассоциациям, он пытался не верить в то, что видел, в то, что читал своими глазами, пока неумолимая реальность не коснулась его самого.

Это случилось вскоре после того, как "загремел" старый большевик, член ЦК и начальник Совинформбюро Соломон Лозовский. Вилковский знал этого красивого старика с холеной круглой бородкой и бараньими глазами, бывал у него на приеме в связи с переводами, которые делал для Совинформбюро. После ареста Лозовского редакторы стали возвращать Вилковскому все его статьи. Думая, что новые начальники просто не знают его как переводчика, Вилковский купил альбом, вклеил в него с десятков своих работ и отправился на прием к одному из новых шефов.

Тот сидел в хорошо знакомом Вилковскому кабинете Лозовского с двумя сейфами, громадным письменным столом красного дерева и красной ковровой дорожкой — толстый, с тухлыми глазами и ничего не выражающим простонародным лицом. Он как будто даже не видел человека, стоявшего перед его столом. Давид Вилковский спросил, почему изменилось отношение агентства к его работе? Чиновник слушал молча, с неподвижным лицом. На этом лице проступало безразличие, не презрение или надменность, а просто отсутствие всякого интереса к посетителю и к предмету разговора. Вилковский открыл альбом и стал показывать рецензии на свои работы, о которых писали даже в "Известиях". И тут на лице чиновника появилось какое-то новое выражение, и Вилковский сразу понял, ощутил, что совершил ошибку: не надо было показывать альбом.

— Если вас хвалят "Известия", зачем же вы пришли ко мне? — спросил чиновник.

Он сказал это таким тоном, что Вилковский понял: этот человек знает, что меня больше нигде не будут печатать. Но, Боже, почему?

А человек открыл ящик своего письменного стола и, порывшись в каких-то бумагах, спросил:

— Фамилия?

— Вилковский.

— Ваша настоящая фамилия?

— Это она и есть, — растерянно сказал Вилковский.

— Да? А я думал, что вы забыли указать ее в анкете.

Так вот что это было! Тот человек сразу понял, что Вилковский еврей, и ему хотелось добавить к его фамилии скобки, а в них "Рабинович" или "Кац", согласно неписаному закону того времени: отмечать в скобках еврейские имена и фамилии, чтобы ни у кого не возникало сомнений, о ком идет речь. В этой внезапно вспыхнувшей к нему неприязни начальника государственного учреждения было что-то дикое, непонятное и непоправимое. Вилковский тогда еще не мог знать, что к его фамилии, не имевшей еврейского звучания, все же приписали скобки, а в них занесли фамилию Хаймович, и она, эта не имеющая к нему никакого отношения недвусмысленная фамилия, упрятанная в тайную папку, о существовании которой он тоже ничего не знал, будет следовать за ним, как тень, на протяжении многих лет его московской жизни. Папка хранилась в главном доме м о р л о в, который не был скрыт в Подземном мире, а возвышался над одной из центральных московских площадей и, освещенный по ночам сверху донизу ярким электричеством, как гигантский фабричный цех, вызывал страх даже у тех прохожих, которые лишь смутно догадывались, что в этом цеху перемалываются человеческие жизни.

Что же случилось тогда? Почему Давида Вилковского не арестовали? Не подходил он для текущих кампаний? Или его спасло как раз то, что он очень хорошо вписывался в одну из самых важных кампаний, как человек, живший в прошлом в буржуазной стране, да еще бывший там

коммунистом, следовательно, связанный с фигурами, за разоблачение которых полагались награды и поощрения? Поэтому его и не включили в текущие потоки, где бы он мог только увеличивать процент арестованных, а берегли для того времени, когда очередь дойдет до ценных фигур? Или все было значительно проще и вместе с тем неправдоподобнее? Может быть, Давид Вилковский сам подсказал тогда морлокам иной сюжет, случайно прикоснувшись к другой их жертве, назначенной к исчезновению по совершенно другим причинам?

Однажды осенью, в серый, дождливый день, в чудесный день, поскольку никто за ним не ходил с утра, Вилковский встретил на площади Пушкина одного полковника, с которым познакомился в годы войны. Очень высокий, крупнотелый, с лицом цвета сырого мяса, с яйцевидной головой, остриженной "под ноль", бывший фронтовик даже в фетровой шляпе и старом дождевике выглядел подобранным, его рубашка блестела, как некогда белейший подворотничок, а низкий бас рокотал приглушенно, по-прежнему бодро, самоуверенно.

— Как поживаете, Вилковский? — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Докладываю: у меня дела дрянь. С тех пор, как началась кампания борьбы с космополитизмом, сионизмом, хвостизмом, все походили с ума. Мне, кажется, придется искать работу в глубинке: моя фамилия не подходит для кафедры марксизма-ленинизма в Москве.

Фамилия полковника была Зусманович.

— А как ваши делишки? — продолжал бывший полковник и опять, не дожидаясь ответа, добавил в прежнем тоне: — Вы хоть можете выдавать себя за румына, румыны-то теперь как раз нужны. Но что делать с евреями?

Полковник внезапно замолк, и Вилковский

встретил его взгляд, серьезный и грустный, как у собаки. Они поговорили минуты три, не больше. Полковник куда-то торопился и, записав телефон Вилковского, тут же побежал дальше, разбрызгивая грязь своими большими разношенными ботинками, которые он ставил на тротуар характерной походкой военного. И почти в тот же миг Вилковский уловил сбоку внимательный взгляд молодого человека с остреньким личиком, стоявшего у обочины тротуара, расставив ноги и как будто кого-то ожидая. Но Вилковский прекрасно наловчился отличать такие взгляды от случайных взглядов простых зевак. Что это значит? Ведь с утра за ним никто не ходил, он дважды проверял — откуда же они взялись? Пройдя до угла медленным, прогулочным шагом, Вилковский повернул назад, но он уже ушел или переменял место и спрятался за толпой прохожих. А может, это действительно был случайный зевака? После стольких дней, недель, месяцев боязни, ожидания они вполне могут ему померещиться и там, где их нет.

Часы показывали время обеда, и Вилковский зашел в ресторан ВТО. Сдавая свой плащ на вешалке, он задержался у зеркала: не появится ли тот, кто глазел на него на улице? Нет, в ресторане сидели люди, которых Вилковский давно знал, так что он совсем было успокоился. Но после обеда, в гардеробе, его ждал сюрприз. Как только он протянул гардеробщице свой номерок, она почему-то засуетилась и, кинувшись к вешалке, стала лепетать, что произошла какая-то ошибка, путаница — на его номере нет пальто. "Вот же он, мой плащ!" — сказал Вилковский, указывая на плащ, висевший сбоку. Бледное, как разваренная картошка, лицо гардеробщицы покрылось красными пятнами: "Да, да ... но у вас другой номер". "Что за чертовщина!" — выругался про себя Вилков-

ский и хотел потребовать вызова администратора, но тот вдруг сам появился в гардеробе. Это была женщина, и она тоже принялась кудахтать и лопотать что-то в высшей степени невразумительное: "Вы уж нас извините, гражданин... Мы вам, конечно, выдадим ваше пальто... Но... поскольку спутались номера... Вы меня понимаете? Мы обязаны проверить, записать... У вас паспорт при себе?". И тут Вилковского наконец осенило: о н и! Глядя, как администраторша дрожащей рукой переписывает на бумажку данные его паспорта, он уже больше не сомневался: это приказ того, с хитреньким личиком, который рассматривал его на улице, ему нужно знать, кто я, и он приказал перевесить пальто. Да, все ясно: они появились вместе с полковником, они не за мной ходили, а за полковником... У Вилковского было так погано на душе, что хотелось вернуться в ресторан и крепко выпить. Какой хамский трюк! И все же достигает цели: вместо того, чтобы топтать за мной весь день, сразу выяснили, кто я. У них, наверное, есть целый набор трюков, за которые изобретателям выдавали премии. Однако, какого черта они ходят за полковником? Надо бы его предупредить, но где его найти? Вот только если он позвонит сам...

Тот не позвонил. Прошло еще немало времени, прежде чем Вилковский узнал, что полковник "загремел" и получил "полную катушку" — двадцать пять лет. А потом прошло еще немало времени, прежде чем они столкнулись вновь. Бывший полковник, теперь уже и бывший зэк, поднимался по ступенькам Центрального телеграфа с одышкой и рассеянной улыбкой на сильно постаревшем лице. Узнав Вилковского, заговорил громко и весело, совсем как в былые времена: "Здравствуйте, вербовщик! Как живете? Меня вы завербовали в английскую разведку, а сами продолжали спокой-

ненько разгуливать по Москве?”. “Что он говорит?” — подумал Вилковский, глядя с жалостью на худую дряблую шею Зусмановича, вокруг которой болтался белый воротничок. “Что вы уставились? — продолжал полковник. — Следователь два месяца доказывал мне, что я завербован в Интеллидженс сервис именно вами”. “Что, что? — выдавил наконец из себя ошеломленный Вилковский. — Я вас... завербовал в...”. “Точно! — гремел полковник. — Только гордиться вам нечем. Дело не в вас. И даже не во мне. Один бредовый замысел тянул другой, в этой цепочке мы с вами случайные звенья. От меня они хотели получить материал на бывшего командующего фронтом. Не тарашите на меня глаза! Вы что, не знаете? У них было заведено: подбирать материальчик, на всякий случай, на каждого крупного начальника. В этом товарищ Сталин их всех уравнил: каждый мог загреметь по первому кивку, а там его уже ждала папочка с нужной документацией. Так вот, прежде чем получить материал на моего бывшего командующего, им нужно было оформить меня самого в шпионы. Вот тут-то мой следователь и проявил изобретательность: он решил воспользоваться моим знакомством с вами, человеком, который прежде жил в буржуазной стране, — вполне достаточное основание, чтобы считать его резидентом любой разведки. А вы, разумеется, ничего не подозревали? Да, подобный сюжетец ни один литератор не придумает... — Тут полковник вдруг захохотал, а Вилковский все смотрел на него, не веря своим ушам. Полковник смеялся довольно долго, потом продолжал: — Кстати, о сюжетах. Я вспомнил одного сокамерника, который мне рассказал такую историю. Его следователь был человеком неплохим, он не бил его, не мучил, а только уговаривал: “Слушай, ты ведь умный человек. Ты срываешь мне отпуск, понимаешь?

Мне надо ехать в отпуск, есть путевка в Сочи, мировой санаторий, рядом Цхалтубо, а ты заартачился. Бери, что хочешь, вот тебе три варианта, выбирай любой: юношеская террористическая организация, промышленный шпионаж или еврейский национализм. Ты станешь мне другом на всю жизнь, если возьмешь еврейский национализм — это теперь очень нужно”. И в конце концов он его уговорил: ”Хорошо, беру еврейский национализм”. — ”Молодец! Давай... Кто тебя завербовал?” — ”Шалом Аш²¹ — писатель”. — ”Отлично. А как он тебе посылал инструкции?” — ”В переплете книг”. — ”Толково. А вы встречались? Где?” — ”У собаки пограничника”. — ”Метро Площадь Революции? Скульптура?” — ”Да”. — ”Хорошо. Как называлась ваша организация? Кодовое название?” — ”Дер лигнер”. Это по-еврейски лжец, но следовательно, конечно, не знал еврейского языка. ”Молодец, — сказал следовательно. — Ты мой друг”. И оформили дело. По своей наивности, подследственный думал, что через месяц все откроется. Но очень скоро ему показали тетрадку с аккуратной надписью наверху: ”Утверждаю. Генерал Алексеев”. В последний вечер следовательно сказал: ”Слушай, друг, тут в тетрадке еще остались две свободные страницы. Заполним? Давай что-нибудь придумаем вместе... Эх-ма! Это мы подлинные сталинские лауреаты-писатели. У нас во сколько сценариев!” Это воспоминание меня и рассмешило”, — добавил полковник и замолчал. Вилковскому все время казалось, что полковник вот-вот скажет, что он пошутил. Вместо этого тот вдруг сказал нечто такое, о чем Вилковский уже потом не мог забыть всю жизнь. ”Да, кстати, там у них я впервые и узнал вашу настоящую фамилию — Хаймович”. ”Хаймович? — переспросил Вилковский. — Почему Хаймович?”. ”А разве не так? — удивился Зусманович. — Мой следовательно

давал мне справку с вашей биографией. В ней говорилось, где вы учились, где стали агентом английской разведки. И хорошо помню, что рядом с фамилией Вилковский в скобках стояло "Хаймович"!"

Каждый раз, когда Давид Вилковский вспоминал об этом разговоре, он думал, что фамилия Хаймович, в сущности, значения не имела. Она указывала лишь на то, что ему удалось избежать еврейской судьбы — случайно.

...А пока шли, тянулись темные дни страха, сменялись месяцы, похожие на циклы шизофрении, из года в год ширились и расходились, как круги по воде, проработочные кампании, втягивающие и засасывающие в смертельные воронки все больше и больше ни в чем не повинных людей. Когда Вилковский потом вспоминал об этом, ему казалось странным и удивительным не то, что все это было в жизни, а то, что и в те жуткие времена люди продолжали жить, в сущности, как всегда, испытывая обычные надежды и радости. Когда он пытался припомнить, как проходили его дни, он каждый раз с удивлением вспоминал, что и под неумолимым надзором котиковых шапок он ел и спал, работал, испытывал удовольствие от пустяков, читал книжки, смеялся. Еще с большим основанием можно было сказать это о жизни других, о жизни страны. Какой бы сумасшедший сигнал ни поступал сверху, сколько бы жертв ни уволокли ночью морлоки, миллионы людей, вставая утром, как и во все времена, принимались за свои привычные жизненные дела, не имеющие отношения ни к очередным жертвоприношениям во славу Сталина, ни к психозу, бушевавшему на страницах газет, по радио и на собраниях. Не так-то легко нарушить биологическую заданность устремлений каждого живого существа, его инстинкты, его чувства, его кровообращение, кото-

рое даже в случаях спазма и закупорки сосудов часто находит, как говорят медики, коллатеральные пути. Отдельно взятый организм можно убить, но, видимо, невозможно помешать миллионам живых человеческих существ делать то, что свойственно их природе, что содержится в генах, в хромосомах каждой живой особи и передается из поколения в поколение по извечным и нерушимым законам наследственности. В простейших проявлениях человеческого естества, в желании поесть, выпить, в неистребимой любви человека к своей маме, к детям, в его жалости и грусти, в восторге от музыки, иногда даже в приверженности к сорокаградусной содержалось его спасение, способность уйти, отстраниться, ускользнуть от бушующего вокруг него реформаторского бреда.

Давиду Вилковскому помогла пережить то время и сохранить рассудок еще и влюбленность в Наташу. Какое это было счастье, когда после тягостной зимы с то появлявшимися у подъезда, то исчезающими машинами, в которых прятались фантомы в котиковых шапках, после бурных кампаний, анафем, проработок, вызванных очередным указанием, замечанием, соображением "Самого", сразу же становившихся самым важным делом на свете, даже если они относились всего-навсего к какой-нибудь новой опере или ничего не значащему роману, Вилковский вдруг замечал, что опять зеленеют деревья, опять пришла весна и близится день, когда можно будет уехать из Москвы на месяц, на два, и провести их с Наташей. Для этого нужно было собрать деньги, а главное, незаметно улизнуть из Москвы в один из дней, когда не будет слежки. Заранее надо было провести небольшую кампанию дезинформации по телефону и в разговорах со всеми знакомыми, в расчете, что до ушей тех, кто всюду подслушивает, дойдет нечто прямо противоположное тому, что

он собирается сделать на самом деле. Зная, что Наташа поедет с матерью в Крым, он усердно говорил всем, что будет отдыхать в нынешнем году на Рижском взморье. И, как ни странно, учреждение, о котором говорили, что оно все знает, узнавало именно то, что хотел Вилковский; оно узнавало то, что ему говорили; то, чего ему не говорили, оно никогда не узнавало, и он уезжал из Москвы один, без хвоста, а потом целых два месяца наслаждался свободой, полной свободой, с Наташей.

Однажды они поехали в Молдавию на берег Днестра. Фруктовые сады и виноградники, молдаванские хаты с аистами на камышовых крышах, босоногие мальчишки в тяжелых барашковых шапках, зеленые улицы, пахнущие вином и цуйкой²², которую варят в каждом сарае, — все это ни капельки не изменилось с тех незапамятных времен, когда маленький Давид впервые побывал в точно таких же селах. Всюду было тесно от деревьев и всюду так зеленела трава, так сладко заливались птицы и так ярко светило солнце, что и слезка, и все московские волнения показались ему дурным сном. "Хватит с меня столичной жизни, — говорил он полушутя-полусерьезно. — Когда же я, черт возьми, посажу дерево, как полагается каждому человеку, согласно классической литературе?". Наташа говорила другое:

— Милый, ты, видимо, сошел с ума. Оставить Москву и столичное снабжение? Ты не слышал, что рассказывала наша хозяйка про недавний недород и голод? Нет, ты все-таки нашей жизни еще не знаешь. Жить можно только в Москве!

На Днестре было замечательно. Яблони, груши словно осыпаны снегом, и земля под ними вся усеяна лепестками, и Наташа ходила в сарафане, надетом на голое тело, и ее душистое тепло, и сладостное гудение пчел, и нежные тленные запахи

земли и трав — все наполняло Вилковского волнующей радостью. Но однажды он решил съездить на денек в Кишинев, повидать старых друзей, и первое, что он там узнал, ошеломило, как удар по голове: недавно арестовали Фройку. Это был один из ближайших друзей Вилковского, они когда-то спали в студенческом общежитии на одной койке и работали в одной ячейке. Маленький, абсолютно честный, абсолютно неустрашимый Фройкалэ — что он мог сделать плохого? Другой старый друг Вилковского рассказал ему жуткую историю, которая, может быть, проливала свет на первую. "Мне известно из очень верного источника, что сюда приезжал из Москвы некий чин из организации с четырьмя буквами. Он читал местным работникам лекцию о международном положении. Без бумажки, чем всех удивил. Теория была такая: американский империализм готовит войну. Ему нужна пятая колонна, и она у нас есть — евреи. Есть и "ворота проникновения": западные города Кишинев, Львов, Черновцы, Рига. Здесь у вас по улицам ходят сотни шпионов, говорил он, а вы хлопаете ушами. Покажите мне ваши досье... Он полистал досье, заведенные на всякий случай на разных людей, и сразу же отобрал папку доктора Оренштейна: ему понравилась фамилия — на процессе Сланского в Праге тоже был Орен, на иврите это сокращение от Оренштейн. Через три дня нашего Оренштейна уже арестовали и потребовали, чтобы он признался, что пражский Орен его брат. Вот так-то, дорогой товарищ. Будет плохо". Он даже назвал фамилию того московского чина — некто Рюмин, — но Вилковский не обратил на нее внимания.

Вернувшись в деревню, он словно увидел ее в другом свете: его ничто больше не радовало, и он уже не говорил про счастье на берегу Днестра. Чтобы доказать Наташе, что он к ней не переме-

нился, он согласился сопровождать ее на Кавказ, в Гудауты, куда должна была приехать ее мама. Хватит, ему тоже надоела мамалыга и кислое вино, он согласен ехать хоть сегодня. Они быстро собрались и укатили в Одессу.

На Кавказе был другой мир. Повсюду пахло шашлычным дымом, толпы курортников осаждали киоски с газированной водой и стояли под палящим солнцем в очередях у шалманов. А на морском берегу сидели упитанные грузины с черными усиками и бархатными глазами, все в выходных черных костюмах, и глазели на дебелых русских блондинок, загорающих на пляже. Сухуми был опаленный солнцем городишко с чахлыми пальмами, обезьяньим питомником и куцей набережной, набитой народом, с ресторанами, где подавали отличное вино, но вся еда состояла из одного-единственного блюда, называвшегося в меню то харчо, то чахохбили, то еще как-то, а сухумский базар был полон фруктов и криков: "Генацвале!", которыми продавцы зазывали покупательниц, норовя при этом ущипнуть в зад каждую толстую блондинку. По городу разъезжало огромное количество курортных автобусов, на которых можно было прочесть примерно одно и то же: "Санаторий МВД № 116", "Санаторий МВД № 142", "Дом отдыха МВД № 56" и так далее. Неужели все санатории и дома отдыха принадлежат им? — удивлялся Вилковский, чувствуя, как у него портится настроение, несмотря на солнце, синее небо, аромат роз, цветущих в каждом садике.

В поселке Гудауты под Сухуми было потише, поспокойнее. На главной улице рядом с морем можно было снять приличную комнату с тростниковыми жалюзи, оберегающими от палящего солнца. Но Вилковского уже ничто не радовало. Главным было ощущение своей абсолютной беззащитности перед зловещей силой, которая может

растоптать его жизнь, как она уже растоптала бедного Фройкалэ. Рассказывать о своих мыслях Наташе не имело никакого смысла, она только испугается. Она теперь часто пыталась выяснить их отношения и говорила, что чувствует потребность в семье, что так дольше продолжаться не может. Она говорила, что жалеет мужа, он добрый человек, если уж расставаться с ним, то нужно сделать это поскорее, до зимы они должны решить, как быть дальше. "Да, да, — рассеянно подтверждал Вилковский. — Этой зимой надо все решить". От таких разговоров ему становилось еще тоскливее, лучше бы он сюда не приезжал.

Зимой в Москве началась новая кампания, новая борьба и разоблачение нового гнойника, и по городу поползли слухи о каком-то еврейском заговоре, которые подтвердились самым зловещим образом в тот серый, мутный день тринадцатого января, когда в газетах было опубликовано сообщение под двойным заголовком: "ХРОНИКА. Арест группы врачей-вредителей".

В тот вечер Давид Вилковский по московской традиции отправился с одним из своих друзей встречать старый Новый год. Небольшая компания собралась у молодой женщины, имевшей комнату в коммунальной квартире. Там жило по меньшей мере с десяток разных семей, отгороженных друг от друга фанерными перегородками, а иногда шкафом или диваном, если в комнате жило по две семьи. Такие квартиры были Вилковскому знакомы, все в них, начиная от дверей с картонными дощечками изнутри: "Меньшов — дома", "Шапиро — на работе" и коридора, тесно заставленного старыми комодами, цинковыми корытами и другими ненужными вещами, пропахшими запахами кухни, стирки, сортира, приводило его в содрогание. К счастью, ему еще ни разу не пришлось отведать жизни в подобной квартире. Ком-

ната, где в этот вечер собрались встречать старый Новый год, тоже казалась захлавленной, хотя в ней стоял старинный секретер и прекрасные павловские кресла, свидетельствовавшие о былом достатке и хорошем вкусе хозяев. Друг Вилковского познакомил его с хозяйкой — молодой бледнолицей женщиной-биологом. Отец у нее был расстрелян в тридцать седьмом, мать арестована недавно, а научный руководитель на кафедре после знаменитой сессии ВАСХНИЛ, на которой была одержана блестящая победа над сторонниками вейсманизма-морганизма, застрелился. Тут же находился жених хозяйки, молодой человек по имени Леня. У него были светлые волосы, черные брови и черные веселые глаза; по-русски он говорил с сильным западным акцентом, и друг Вилковского объяснил, что Леня — рижский еврей. Нетрудно было понять, что и остальные гости, кроме одного добродушного толстяка, тоже евреи. У них были хмурые лица, как будто они пришли не на вечеринку, а на похороны, и Вилковский догадывался, что думают они о сегодняшнем сообщении в газетах, хотя никто не решается говорить о нем вслух. Когда графин с водкой, настоенной на лимонных корках, и винные бутылки стали переходить из рук в руки, гости повеселели, и Леня, который невероятно много ел и пил, все порывался сказать речь. Невеста его останавливала: "Сейчас не время болтать". Он все же завладел вниманием стола и сказал: "Товарищи, вот увидите, все кончится хорошо. Вы меня понимаете? Мы все, черт бы нас побрал, должны быть рады и счастливы, что живем в великой стране с неограниченными возможностями. Возьмите хотя бы меня. В прошлом году я написал около сорока писем-предложений во все педагогические институты от Кишинева до Хабаровска, но из этого, конечно, ничего не вышло. Примерно из двадцати институтов пришел ста-

ндартный ответ: "С сожалением сообщаем вам, что в нашем институте вакантных мест не имеется", другая же половина не ответила совсем. Что же мне было делать? Я вспомнил, что являюсь членом профсоюза, отправился в ВЦСПС и сказал: "Смотрите, дорогие товарищи: как известно, у нас нет безработицы, а лично я согласен выехать на работу в любой город. Но вот, ничего не получается". Они посмотрели на письма и сказали: "Правильно. Мы обязаны вам помочь. Мы представим вам денежную помощь — триста рублей и бесплатную путевку для туристской поездки по Военно-Грузинской дороге". Я взял триста рэ и отправился путешествовать по Военно-Грузинской дороге. И я увидел Эльбрус и Казбек и все, что полагается видеть знатным туристам... Разве это не чудесно? Так что — выше голову! Все будет хорошо. Вы меня поняли?" За стеной все время орал патефон, видимо, в соседней комнате тоже встречали старый Новый год, а в коридоре шел какой-то семейный скандал с беготней и плачем. Леня выпил фужер водки и совсем раскис. Его невеста бегала в уборную убирать за ним, пока рвоту не заметили соседи, и все говорила: "Сейчас не время напиваться". Вилковский тоже выпил больше, чем следовало. Кто-то рассказывал, как его чуть не выбросили из вагона электрички, когда едущие в ней пьяные заговорили о евреях. "А что же будет теперь, после опубликования сообщения о еврейских врачах?" — "Почему еврейские врачи? В коммюнике упоминается профессор Виноградов, он же не еврей?" — "Да, да, Виноградов и Егоров не евреи. Не забывайте, однако, что такая техника применялась еще в средние века: "Евреи и еретики", "Евреи и ведьмы".

Поздно ночью Вилковский отправился домой. Он шел пешком, и всюду ему встречались пьяные компании, расходящиеся после встречи старого

Нового года. В ресторане ВТО встреча еще продолжалась, и он проник туда, сунув взятку швейцару. Сразу же встретил там знакомых, к нему потянулись руки со стаканами, все наперебой стали его угощать. Звуки музыки и крики и пляшущие женщины в блестящих колпаках, колыхающиеся в дыму бедра и животы, трясущиеся ляжки — от всего этого ему не стало веселей. Он выпил еще две рюмки водки и отправился домой спать.

Наутро встал с головной болью и сразу же вспомнил о "врачах-вредителях". А может, все как-то образуется? Но стоило выйти из дому и купить в киоске утренние газеты, как он понял, что все еще только начинается. В почти идентичных казенных выражениях все газеты повторяли нелепые утверждения о том, что знаменитые московские врачи, профессора медицины Вовси, Фельдман, Коган, Гринштейн оказались агентами "международной еврейской буржуазно-националистической организации "Джойнт", созданной американской разведкой". "Используя свое положение врачей", они злодейски подрывали здоровье высокопоставленных пациентов и уже успели убить двух членов Политбюро — А. А. Жданова и А. С. Щербакова. Как ни чудовищна была эта выдумка, реакция на нее со стороны многих людей оказалась чудовищнее ее самой. Вилковскому очень скоро пришлось убедиться, что "хроника" подействовала как электрическая искра, и новый психоз, еще более страшный, чем все предыдущие вместе взятые, охватил души, в том числе еврейские. Пожалуй, больше всех поразила его квартирная хозяйка. Он уже не жил на Горького, милиция отказалась продлить ему прописку, и он снял комнату на улице Пушкина, у одной толстой, рыхлой, хитрой старухи с жадными глазами, которая потребовала плату за три месяца вперед. Ее звали Дора Борисовна, она была еврейкой, в про-

шлом врачом-терапевтом. На другой день после опубликования хроники о "врачах-убийцах" она зазвала Вилковского в свою комнату, заставленную китайскими ширмами и плюшевыми креслами, и, сделав страшные глаза, рассказала ему, что у них в доме обнаружилось доказательства преступной деятельности арестованных врачей.

— Как это? — хмуро спросил Вилковский.

— Представьте, мы тут вспомнили, что год назад приходила медсестра из клиники профессора Вовси и обошла квартиры его бывших пациентов, старых большевиков, записывая, кто когда умер...

— Ну так что же?

— Как? Вы не понимаете? Она составляла список тех, кого он убил! Ему, вероятно, нужно было отчитаться перед своими иностранными хозяевами. Сестра очень удивлялась, когда выяснилось, что двое из его старых пациентов еще живы...

Вилковский чуть не свалился со стула, а старуха продолжала кудахтать и сокрушаться:

— Какие подлецы! Это ужасно! Знаете, я когда-то слышала лекции этого Вовси. Кто бы мог подумать!

Вилковский рассердился.

— Но вы-то уж наверное могли бы подумать! Почему вы не разоблачили его еще тогда?

Старуха опешила, нервная судорога задергала нижнюю часть ее лица, и Вилковский подумал, что если ее сейчас хватит удар, это будет означать: Бог все-таки существует.

В городе стало душно и страшно. Наташа была в Саратове, а ближайший друг Вилковского, с кем он обычно гулял по улице Горького и сидел в кафе "Националь", перестал звонить — на него, вероятно, подействовали предупреждения благонамеренных приятелей, давно советовавших ему поменьше знать с "польским евреем", как многие называли Вилковского.

Выходя по утрам из дому, Вилковский проверял, нет ли за ним слежки, и сразу же устремлялся к ближайшей газетной витрине, заранее готовый прочитать нечто еще более дикое и нелепое, чем то, что он читал вчера. Во всех газетах печатались письма и телеграммы — излияния в любви и благодарности "русской патриотке, чистой русской женщине" врачу Лидии Федосеевне Тимашук, которая помогла разоблачить "врачей-убийц". От каждой строчки веяло безумием и жаждой крови. После такого чтения он уже как сквозь туман смотрел на московские улицы, на торопящихся куда-то прохожих, на дворников, сгребających снег. Он понимал, что в городе есть тысячи людей, которых "заговор" врачей совершенно не касается, им и в голову не приходит думать об этом и волноваться. Но он знал также, что в больницах и поликлиниках больные отказываются от услуг врачей-евреев, в очередях и электричках открыто говорят, что все евреи — диверсанты и отравители. В ходу были и другие удивительные истории, вроде той, которую рассказывали про одного старого врача, еврея из Риги, приехавшего в Москву и стоявшего в какой-то очереди, когда речь зашла о евреях. Одна женщина, захлебываясь от ненависти, стала доказывать, что их всех уже давно пора выслать подальше; вот в этом магазине второй месяц нет простых носков, коммерческий директор здесь еврей, носатый и толстый... Рижский врач вышел из очереди, пристально посмотрел на ту женщину и сказал: "Я врач. Поверьте, что я знающий и опытный врач. Я вижу по вашему лицу, что вы больны и жить вам осталось недолго, совсем недолго. Поверьте, я в этом разбираюсь. Так почему же вы брызжете слюной? Вам сейчас надо думать и говорить о другом". Все замерли, а он повернулся и ушел из магазина. Другие истории были не менее удивительны и еще более

мрачны. Передавали, что у одного писателя, известного не своими книгами, а погромными речами в Союзе писателей, родился немой сын, и он сказал своей убитой горем жене, что в этом виноваты еврейские врачи, они отомстили ему за его борьбу с космополитами... Все это вызывало у Вилковского тоску, но, пожалуй, не меньше мучило его удивление. В нем жила вера в "разумное устройство жизни", которая и привела его в молодые годы в революционное движение. Он верил, что экономические и социальные условия выдвигают из массы наверх руководителей общества; что поведение людей зависит не только от них самих, но что некие обстоятельства определяют проявление одних человеческих качеств и отодвигают на задний план другие. Но если базис определяет надстройку, то в каких же особенностях нового базиса кроются причины успеха личностей вроде этого писателя? Давид Вилковский продолжал оставаться таким же, каким он был в ранней юности — искал истину, и ему все еще казалось, что он нашел ее в таких понятиях и словах, как "социализм", "классовая борьба", "социальная справедливость". Слово "социализм" казалось ему реальнее действительности; он не понимал действительности, хотя и видел ее ясно.

Первое сообщение о внезапной болезни Сталина еще больше наэлектризовало удушливую атмосферу. Казалось, вот-вот разразится какая-то ужасная гроза, поднимется гигантская волна, цунами, и сметет привычную жизнь. Дважды перечитав медицинский бюллетень, опубликованный в газете, Вилковский сделал печальное лицо и постучался к своей хозяйке. "Вы врач, Дора Борисовна, скажите мне — неужели болезнь товарища Сталина опасна для жизни?" По ее бегающим глазам и испуганному голосу он понял, что надежд на выздоровление Сталина нет, и почувствовал

вдруг, внезапно, как его самого подхватила волна надежды. Он вовсе не был уверен, что смерть Сталина что-нибудь изменит к лучшему, но всеобщий испуг и слезы таких людей, как его квартирная хозяйка, вызывали в нем сопротивление. И в прошлом любой коллективный психоз вызывал в нем протест, а то, что происходило после официального сообщения о болезни, а потом и смерти "Бессмертного", казалось новым сумасшествием, в чем-то даже еще удивительнее, чем предыдущие его приступы. Уличные фонари горели днем. Центр Москвы стал похож на осажденный город: всюду стояли армейские грузовики с солдатами, они забаррикадировали все улицы и площади, ведущие к Кремлю и Дому Союзов. Город заполнился траурными флагами и толпами истеричных людей, особенно женщин, которые металась в поисках концов тех бесконечных очередей, что возникали где-то за много кварталов от центра, в надежде добраться до Колонного зала, где будет выставлено для прощания тело Сталина. Вилковскому и в голову не приходило встать в такую очередь, но площадь Пушкина и улицу Горького тоже забаррикадировали, так что ему приходилось, выходя из дому и возвращаясь в Гнездиновский переулок, предъявлять паспорт, толкаться и протискиваться через узкие проходы, оставленные между грузовиками. Накануне похорон он отправился на траурный митинг писателей, ему хотелось увидеть, нет ли каких-нибудь перемен в настроениях и традиционных ритуалах. Он увидел знакомую картину. На сцене, в президиуме и на трибуне — все те же, авторитетные, допущенные в высшие сферы, которых он узнал в те годы, когда они рвали и метали на космополитов, на театральные критиков-"антипатриотов", на вейсманистов-морганистов и модернистов. Теперь они завывали, как провинци-

альные трагики, стараясь перещеголять друг друга в выражении отчаянной скорби. Все сходились на том, что смерть Сталина — космическая катастрофа. Пока земля будет вертеться вокруг солнца, говорил один, прозванный "гиеной в сиропе", пока будет светить солнце, говорил он своим тонким психованным голосом, все люди на земле будут помнить и славить товарища Сталина. Отныне, — сказал главный редактор "Литературной газеты", пробивной и оперативный малый, выработавший в себе почти условный рефлекс — в кратчайший срок, буквально через считанные дни после каждого нового указания сверху предъявлять новые стихи, пьесу или даже роман, точно укладывающийся в ложе новой, нужной темы, — отныне и на много лет вперед, — сказал он, многозначительно грассируя, — главная задача советской литературы и советских писателей будет состоять в том, чтобы создать достойный образ товарища Сталина... Слушатели сидели подавленные, не смея шевельнуться, не решаясь взглянуть друг другу в глаза. Тут были все: униженные, раздавленные, годами не печатавшиеся, а также преуспевающие, ведущие, лауреаты, зашибавшие бешеные деньги и приехавшие на собственных автомашинах с платными шоферами. В зале веял ветерок безумия, и казалось, что ни одному человеку, во всяком случае, никому из тех, кто сидел в президиуме и завывал с трибуны, не приходило в голову, что Сталин из гроба уже не встанет, а у его преемников, как и у всех остальных живых людей, найдутся и другие заботы, кроме курения фимиама возле его трупа. Сталин умер неожиданно, смерть его не была предусмотрена гениальным сталинским предвидением, не была объяснена все на свете объяснявшими сталинскими тезисами. Что теперь делать? Да то же самое, что и раньше: славить товарища Сталина! Те, кто давно

научились из этого извлекать выгоду, надеялись, что это и теперь принесет пользу. Никто не думал, что смерть эта вызовет к жизни новых людей, столкновение новых амбиций и индивидуумов, которым Сталин будет, в сущности, безразличен. Вся ловкость номенклатурных дядей и тетей, все их понимание политики и конъюнктуры сводилось к безоговорочному послушанию начальству и грубой лести ему же. Как узнал позднее Вилковский, то же самое происходило в других учреждениях и организациях, в том числе и в Подземном мире морлоков. Там издавна существовала традиция откликаться на каждое Чрезвычайное Происшествие новой кампанией посадок. Болезнь и смерть Сталина были таким ЧП, что морлоки засучили рукава, совершенно убежденные, что отныне им придется сажать днем и ночью, без усталости, всех подозрительных или могущих стать подозрительными, сколько бы их ни оказалось. Никто из них не думал, не подозревал, что он может вскоре сам попасть в тот же самый бредень, как раз потому, что рьяно служил старому хозяину.

Многого Давид Вилковский тогда еще не знал, но все же чувствовал, что все происходившее вокруг — это лишь прелюдия к каким-то новым, еще более удивительным событиям. Его не могло не поразить, что люди, пострадавшие от правления Сталина, и те, кого он несомненно уничтожил бы, если бы остался жив, как будто совершенно искренне оплакивали его вместе со всеми. Смерть Сталина была концом его власти, но она же стала и последним торжеством Сталина, обнаружила ужасающую силу лжи, способность людей не только заражаться ложью, но и полюбить ложь. Даже заключенные, томившиеся в одиночных камерах, находились под властью общего психоза. Им ничего не сказали, и потому они не огласили свои камеры безутешными рыданиями. Но когда

их начали освобождать, именно вследствие смерти Сталина, и они узнали о ней уже на воле, многие из них заплакали нешуточными слезами. Такого торжества лжи история, пожалуй, еще не знала! Только в лагерях, как потом рассказали Вилковскому бывшие зэки, где люди общались друг с другом и формировалась новая, впрочем, тоже коллективная психология, смерть Сталина была встречена как надежда на лучшее будущее...

Из всех знакомых Вилковского один-единственный человек, именно тот, кого другие считали легкомысленным и недалеким, хихикая и потирая руки, сказал: "Ну-с, как вы себя чувствуете?". И продолжал серьезно и горячо: "Всю жизнь я боялся, что не доживу до этого дня... Ну-с, теперь посмотрим... Хуже не будет!". Другой человек, которого он подозревал в связях с той организацией, явился к нему на дом без предварительного звонка и, потупив голову, смущенно спросил, что он думает о случившемся. Это их вопрос, сразу же решил Вилковский, и стал говорить, что он потрясен, как и все, великой потерей. Пока они тихо разговаривали, ему все время казалось, что кто-то стоит за дверью. Он встал и рывком открыл ее: Дора Борисовна чуть не упала в комнату — она подслушивала.

В те тягостные дни Вилковский мало с кем общался, но до него все же доходили странные слухи о том, что делается в городе. То рассказывали, что известный композитор, умерший одновременно со Сталиным, лежит в своей квартире в Камергерском переулке, и его нельзя похоронить, потому что не разрешают вывозить даже мертвеца из зоны оцепления. То передавали, что в очередях, стоявших к Дому Союзов, возникла ужасная давка, обезумевшие люди давили и растаптывали друг друга, есть десятки, иные утверждали — со-

тни жертв. Толком никто ничего не знал, слухи передавались шепотом под звуки траурных мелодий, льющихся из громкоговорителей.

В день похорон Вилковский решил не выходить из дому. Ему все время казалось, что котиковые шапки ждут внизу, стоит появиться на улице, как его "заметут". Он заперся в комнате, сказав квартирной хозяйке, что чувствует себя больным, и решительно отклонил ее попытки заговорить с ним о великом горе. Ночью ему приснился странный сон: он увидел густой черный дым, поднимающийся в небо из высокой трубы, а над ней грезился Он в маршальской шинели и фуражке, молчаливо обоняющий ужасный дым. Да, труба крематория, подумалось во сне, и Он обоняет приносимые ему жертвы... Вилковский часто потом вспоминал вещий сон, когда стало выясняться, что Сталин и в самом деле увлек за собой в могилу множество людей. Среди них были совсем неожиданные жертвы, например, президент Чехословакии Клемент Готвальд, простудившийся на похоронах настолько, что, вернувшись домой в Прагу, сразу умер; вскоре умер и польский лидер Болеслав Берут. В том же году последовали за Сталиным и некоторые из его ближайших подручных, но это вот не приснилось даже в самом пророческом сне.

В ту весну Вилковский, как и многие из его знакомых, забросил всякую работу и с утра до вечера собирал слухи и спорил до хрипоты о том, что же теперь будет. Редактор газеты, напечатавший передовую, что отныне главная задача советской литературы — это создавать образ товарища Сталина, получил официальный нагоняй, а в "Правде" напечатали выступление президента США Эйзенхауэра по поводу кончины Сталина, начинавшееся словами: "Кончилась эра". Эти слова повторяли и комментировали на все лады, хотя

никто пока не верил, что "эра" и в самом деле кончилась.

В один из первых апрельских дней Вилковский отправился утром на Центральный телеграф, чтобы позвонить Наташе в Саратов. Он никогда не звонил ей из дому, полагая, что его телефон прослушивается. У газетной витрины на улице Горького стояла толпа людей, которые читали сообщение об освобождении "врачей-убийц". "О Господи!" — сказал кто-то позади Вилковского, не разжимая рта. Сам он так волновался, что не смог прочитать передовицу до конца. Но он уже все понял и помчался на Центральный телеграф. Первое, что он сказал Наташе: "Врачи не виноваты! Есть сообщение в сегодняшних газетах, что их пытали". "О чем ты говоришь, милый?" — спросила Наташа, и он вдруг понял, что ее вся эта история не волнует. Когда он стал спрашивать, приедет ли она в ближайшее время в Москву, каковы ее планы на лето, она отвечала вяло и уклончиво. Он понял, что с ней что-то произошло — может, она помирилась с мужем? Ну да, надоело ей ждать. Он удивился, что эта мысль его почти не огорчила. Выйдя из здания телеграфа, сразу же забыл разговор с Наташей и устремился в гостиницу "Москва", где надеялся еще застать в киоске сегодняшнюю "Правду". Все номера были раскуплены с раннего утра, и ему пришлось опять стоять у газетной витрины и запоминать формулировки сенсационной передовой.

Придя домой, он повалился на кровать — отдохнуть, но начались звонки по телефону. Звонили друзья и знакомые и, не смея открыто высказывать радость, ограничивались совершенно одинаковыми намеками: "Ты уже читал?". Вдруг позвонила одна дама, за которой он когда-то пытался ухаживать без особого успеха. Она была, что называется, красивой еврейкой: черноволосая, куд-

рявая, со жгучими глазами. Она сказала, что находится поблизости, на площади Пушкина, и если он не возражает, заглянет к нему на минутку. Он, конечно, не возражал. Она вошла с сияющим от радости лицом, держа в руках "Правду". "Вы уже читали?" Прежде чем он ответил, она растрепала ему волосы и привлекла к себе. "Сегодня все можно", — и начала раздеваться, и, лежа вместе, они все говорили, что сегодня, конечно, совершенно исключительный, счастливый день. В тот же вечер он узнал от друга, что она приходила и к тому и, хихикая, говорила, что никогда не была доступной женщиной, но сегодня потеряла голову, а целоваться в такой день с евреем, безусловно, не грешно.

Летом Вилковский снял на Рижском взморье комнату с пансионом для себя и для Наташи, но она не приехала. Он ждал ее, посылал письма и телеграммы, пока не случилось событие, вытеснившее из его сознания все остальное: его квартирная хозяйка, старая латышка, плохо говорящая порусски, вернувшись однажды с базара, вошла к нему и торжественно сказала: "Берия арестовался. Он хотел сделать заговор с империалистами". Она ничего не могла толком объяснить, и Вилковский страшно испугался: произошел государственный переворот? Помчался на станцию за газетами — в нем крепко сидел старый страх, а, главное, ничего толком не зная, он путался в оценках того, что происходит наверху. Поскольку Берия управлял внутренними делами и госбезопасностью в те дни, когда был дан обратный ход делу врачей, его арест мог означать новый, противоположный поворот. Но прочтя сообщение, опубликованное в газетах, Вилковский понял, что это не так.

"Лето Берии" было тревожным, полным слухов и предположений. Наташа так и не приехала на Взморье, зато нежданно-негаданно там появились

те, кого Вилковский привык называть про себя котиковыми шапками или морлоками. Виноват в этом был он сам. Возбужденный событиями, он потерял обычную осторожность и сообщил по почте одному из московских друзей свой адрес на Взморье. Уже через несколько дней квартирная хозяйка сказала ему, таинственно понизив голос до шепота: "Они вас гоняют!". "Кто гоняет?" — не понял Вилковский. "Они... с милиции... Он два раза приходил и спрашивал". На другой же день он увидел в кустах, над пляжем, двух субъектов с типичной внешностью топтунов, оба были в городских костюмах, даже при галстуках. Он взял свой халат и пошел по пляжу в ту сторону, где людей почти не было. Взглянув через некоторое время на берег, он опять увидел тех двоих — они шли за ним. Неужели ничего не изменилось в Подземном мире, несмотря на смерть Сталина, арест Берии, расстрел Рюмина, организатора "дела врачей"? Два дня он чувствовал себя усталым, больным и почти не выходил из дому. Потом опять пошел на пляж. Был ветреный день, залив весь был покрыт барашками. Он почувствовал некоторое облегчение, когда, войдя в море, под шум волн начал громко выкрикивать ругательства в адрес тех, кто и в этот день, прячась в кустах, исподтишка следил за ним.

Когда он возвращался в Москву, топтуны проводили его в Риге до вокзала, но, кажется, остались на перроне. Он не спал ночь и без конца задавал себе один вопрос: неужели ему суждено быть заглотанным чудовищным механизмом подозрительности даже сейчас, когда морлоки начали пожирать друг друга? На подъезде к Москве он выпил двести граммов водки, так что уже не очень взволновался, когда убедился, что на Рижском вокзале его поджидают московские топтуны. Он сел в такси, у них, как водится, была своя машина,

и они ехали за ним до Гнездниковского переулка. Но когда он позже вышел снова из дому, их уже не было. Кто-то все еще надо мной "работает", подумал он с усмешкой, и не может отказаться от многообещающего сюжета, но былой уверенности в нем, кажется, уже нет... В тот же вечер, сидя в "Национале", он выпил много грузинского вина и без конца доказывал одному из своих московских друзей, что окончание дела "врачей-убийц" и арест Берии есть начало чего-то нового, обнадеживающего. Его собеседник говорил, что все это чепуха, ничего не изменилось, что было, то и есть, то и будет: "Я уже повидал такие новые начала. Чушь. Выпьем еще вина".

В ту осень Вилковский больше не писал и не звонил Наташе. Она тоже молчала. Было грустно, но несчастным он себя не чувствовал. В нем всегда жило два человека. Один — обычный, чувственный, способный любить и жалеть женщину, а другой — сухой, страстный доктринер, чрезвычайно чувствительный к мыслям, но забывающий о живых людях, индивидуум, не умеющий жить обыкновенными радостями и заботами. Смерть Сталина опять всколыхнула в нем былую идейную увлеченность, старые мечты, иллюзии, надежды. Казалось, жизнь теперь обязательно изменится, может быть, именно теперь удастся наконец то, что не удалось, когда рядом была Наташа, — начать жить как бы сначала.

В снежный декабрьский вечер он как-то проходил по Манежной площади и увидел тысячную очередь, освещенную прожекторами и заполнившую весь просторный переход к Красной площади между музеем Ленина и Историческим музеем. Пока он гадал, что бы это могло быть, к нему подошел один знакомый и сказал: "Уже знаете? Сегодня расстреляли Берию. Вот "Вечерка" с официальным сообщением". Вилковский не

сразу понял, о чем идет речь, он был поглощен видением небывалой очереди и спросил: "А что это?" — "Очередь в ГУМ. Сегодня его открыли"²³. Случайное совпадение или кому-то в самом деле пришло в голову, что москвичей волнует участь Бери?" Густой снег, падающий большими хлопьями, как на рождественской открытке, кремлевские стены, освещенные прожекторами, огромная очередь, тянущаяся в новый магазин, человек с газетой, сообщаящей в трех строчках о конце всесильного Лоренцо, как теперь иронически называли Лаврентия Берию, а за всем этим, где-то в темноте, прячась за прохожими, два топтуна в бобриковых пальто, глядящие ему в спину... Вилковский не знал, что слезка за ним проводится в последний раз. И все же у него было ощущение, будто он дождался чего-то нового и многое теперь переменится в его жизни. Многие действительно переменялось, но до главной перемены было еще далеко, ох, как далеко!

Троллейбус подъехал к площади Маяковского. Увидев исполинскую фигуру поэта, изваянную в сталинском стиле, в позе трибуна-агитатора, Вилковский вспомнил, как после смерти Сталина у этого монумента стала собираться молодежь, молодые поэты читали здесь свои стихи. Эти стихийные вечера поэзии были проявлением духовной оттепели. Чтение стихов у памятника возмеченному государством поэту вскоре было объявлено незаконным — стихи ведь не прошли цензуру и не подлежат оглашению... Вилковский бывал у памятника Маяковскому, и видел охоту дружинников и морлоков на молодых поэтов. Государство настояло на своем, охота на молодых поэтов имела последствия, о которых мало кто знал: наиболее упорствующие чтецы поэзии получили семь лет тюрьмы.

Да, и такое происходило на улице Горького. И хождение по ней продолжало быть топтанием в тупике, несмотря на все события, которые приносило с собой время. На улице Горького видел Вилковский первых реабилитированных, вернувшихся из лагерей, "с того света", после смерти Сталина. Здесь он ловил новости, слухи о происходящих переменах, здесь видел, как в день Конституции те же морлоки разгоняли, а иногда и арестовывали людей только за то, что они обнажали головы перед памятником Пушкину. Ни на один миг и ни в каком деле государство не отказывалось от своего основного закона: во все вмешиваться, всех контролировать, всем и всеми руководить. На поверхности казалось, что государство вполне добивается своей цели, что насилие всегда торжествует. Но это было ошибкой. Понимание того, что это ошибка, пришло к нему не на улице Горького, а на маленькой горбатой улочке Архипова. Именно там, на улице, где стоит московская синагога, Вилковский понял тайну морлоков. Тайны не было никакой, как не было тайны и в хозяйственной жизни страны, в абсурдах и нелепостях ее социальной жизни. Схема организации была новой, но человек остался старым, ветхим Адамом. Это все элементарно. Обо всех этих вещах Вилковский задумался, конечно, не на улице Горького и не на улице Архипова. Другие мысли и чувства привели его на эту, последнюю улицу. Впервые он пришел сюда вскоре после окончания войны. Как-то он был здесь и в самом начале шестидесятых. Но тогда еще не наступило то единственное, связанное с этой улицей время.

Проехав всю улицу Горького, Вилковский сошел с троллейбуса у гостиницы "Националь" и оттуда, через подземный переход, вышел на проспект Маркса. Он решил идти на улицу Архипова пешком. Рабочий день уже кончился, зажгли уличные огни, и дома, мимо которых проходил Вилковский, массивные каменные особняки, построенные когда-то миллионерами, акционерными обществами и банками, где после революции обосновались министерства и учреждения, обладающие высшей властью, светились отблесками уличных фонарей. Вилковский помнил времена, когда свет в окнах этих домов горел почти всю ночь. "Хозяин" не спал и потому бодрствовали все его помощники, а вместе с ними вынуждена была не спать и многочисленная армия помощников помощников, секретарей-стенографисток, курьеров, шоферов. И даже за тысячи километров от Москвы, где-нибудь на Дальнем Востоке, где уже приближался рассвет, тоже дежурили, ждали звонков, томились в тревожном ожидании тысячи людей, причастных к власти и знающих, что Он не спит... Его уже давно нет, теперь и в этих домах работают в обычные часы, мертвым глянцем светятся их широкие зеркальные окна; что от этого изменилось? — подумал Вилковский. И сразу же ускорил шаги, стараясь не смотреть больше по сторонам. "Достаточно пустяка, чтобы увести меня на старую тропинку. Сколько можно вспоминать Сталина? Почему не могу я побороть это наваждение, уйти от него, ведь прошло уже столько времени! Все уходит, бесследно исчезает во времени, или что-то все же остается, и человек обречен снова и снова испытывать старую боль и старый страх?"

Каждый раз, когда Давид Вилковский

вспоминал тот горячечный сон с котиковыми шапками и непрерывным леденящим страхом, от которого он очнулся после смерти Сталина, он задавал себе вопрос: что это было? Дело "врачей-отравителей", не имевшее к нему лично никакого отношения, особенно занимало его с годами. Как возникло столь поразительное дело? Каков был сценарий, нарушенный внезапной смертью главного сценариста? Многое из того, что при Сталине было тайным, стало явным, но дело "убийц в белых халатах" продолжало оставаться загадочным. Впоследствии — много лет спустя — Вилковский пришел к убеждению, что дело врачей было кульминацией и вместе с тем логическим следствием всей истории русских евреев. И что каждый еврей, переживший те зловещие дни, иногда даже его дети, которые тогда еще не родились, помнят эти события, они оставили свой отпечаток в памяти и подсознании. Что же делать, если и Вилковский, и очень многие из тех, кого он знал, остались навсегда во власти боли, испытанной тогда?

Дорогой товарищ Вовси, за тебя я рад: ты не отравитель вовсе, ты не виноват.

Ироническая песенка, сочиненная в Москве весной пятьдесят третьего года, осталась в памяти многих. Только песенка и ничего больше?

Познакомившись как-то уже после смерти профессора Вовси с одним старым московским врачом, Вилковский спросил, знал ли он покойного.

— Конечно, — ответил старый врач. — Кто же его не знал!

— Что это был за человек?

— Мирон Семенович? — переспросил старый врач с некоторым удивлением. — Замечательный человек. Я уже не говорю о нем как о медике. Он обладал и большим мужеством. Очень тяжело умирал. Сам сделал себе анализы и сам поставил

диагноз: саркома. Приказал ассистентам ампутировать ему больную ногу. Понимая, что это его уже не спасет, подсчитал, сколько ему еще осталось жить, и принялся за свою очередную научную работу. Лежа в своем кабинете в больнице, он до последнего дня диктовал стенографистке эту работу и сумел ее закончить. Ничто из его знаний и наблюдений не пропало. Вот какой это был человек.

— А про дело врачей он ничего не рассказал? Старый врач нахмурился.

— Когда его об этом спрашивали, у него появлялись слезы на глазах — он не хотел беречь старую рану и однажды напомнил нам мысль Сеченова: "Между действительным впечатлением с его последствиями и воспоминанием об этом впечатлении со стороны процесса, в сущности, нет ни малейшей разницы".

"Неужели профессор Вовси, — подумал Давид Вилковский, — не понимал, что если бы накануне смерти он продиктовал стенографистке рассказ о пережитом в сумасшедшие дни "заговора врачей", это было бы неизмеримо важнее и полезнее, чем его последние медицинские наблюдения, которые, вероятно, уже успели устареть?"

Дорогой товарищ Коган, кандидат наук. Тебя били из-за суки Лидки Тимашук... Вы лечили днем и ночью, не смыкая глаз. А лягавая зараза капала на вас.

Однажды на именинах в квартире московских интеллигентов, обставленной реставрированной мебелью пушкинских времен, со старыми русскими иконами, повешенными на стены вперемежку с абстракционистскими рисунками, и полками, на которых бронзовый семисвечник²⁴ соседствовал с медными тарелками и кувшинами, приобретенными, должно быть, на толкучке в Крыму, — все, что осталось от выселенных оттуда татар, — за сто-

лом, уставленным винными, коньячными бутылками и всевозможными домашними закусками, шел беспорядочный шумный разговор, во время которого не обошлось, конечно, и без того, чтобы кто-то не вспомнил Сталина, пятое марта и четвертое апреля — день окончания "дела врачей".

— Вы помните тот ужасный вечер? — спросил один из гостей своего соседа, о котором Вилковский знал, что он кандидат или доктор каких-то наук. — Неужели не помните? Мы же с вами встретились тогда на одной вечеринке. Хозяин дома поднял бокал за чистых русских женщин, за Лидию Тимашук. Вдруг моя жена говорит: "А я случайно знаю от ее соседки, что она отвратная женщина, жизни от нее нет в квартире". За столом воцарилась мертвая тишина, и я подумал: "Все! Мы конченные люди!". Приехав домой, я сказал жене: "Ты понимаешь, что ты наделала? Почему ты не читаешь газет? Сколько раз я тебе говорил, что надо читать газеты!". "Хорошо, — сказала она, — я буду читать". "Теперь уже поздно. Раньше надо было читать. Раньше".

Все сидящие за столом рассмеялись. И тут одна дама сказала:

— А я и в самом деле была соседкой Лидии Тимашук.

Все замерли, ожидая, что она скажет дальше.

— Мы жили на улице Фрунзе, напротив входа в детскую читальню Ленинской библиотеки. Не в одном подъезде, но рядом. Я видела Тимашук много раз. Мой отец был сердечником, и однажды, когда мы еще только переехали на эту квартиру, где не было телефона, ему стало плохо. Соседка мне сказала: "Бегите в соседний подъезд, там живет врачиха". Я побежала. Это была Тимашук. Она сказала: "Нет. К незнакомым больным я не хожу. Не положено". Она уже тогда работала в Кремлевской поликлинике...

— Значит, моя жена была не так уж далека от истины. А как вы узнали, что именно она, ваша соседка, замешана в дело врачей?

— О, это сразу стало известным всему дому, потому что ей начали носить телеграммы, письма, цветы. Вскоре даже установили постоянный пост для ее охраны. Милиционер прохаживался по двору у ее подъезда. Пост этот упразднили только четвертого апреля в три часа дня. Помню, мы ходили смотреть, есть ли еще милиционер у подъезда — ведь мы уже с утра прочитали в газетах, что врачи реабилитированы. Позднее мы узнали, что милиционер, стоявший в тот последний день на посту, позвонил рано утром в квартиру, которую он охранял, и, вызвав на лестничную площадку жилищу по фамилии Коган, спросил: "А профессор Коган не ваш родственник?". Та в ужасе замахала руками: "Что вы! И знать его не знаю!". "Да вы не бойтесь, — сказал милиционер. — Полный порядок — они не виноваты". Я забыла вам сказать: пикантность ситуации состояла в том, что Тимашук жила в коммуналке и имела соседку — еврейку Соньку Коган. И когда все это дело началось, Тимашук испугалась и стала покрывать свои кастрюли марлей, чтобы на общей кухне Сонька не смогла подсыпать ей крысиного яда в еду...

...Проходили годы. Давиду Вилковскому не переставало казаться странным, почти невероятным, что в то время, когда множество людей писали воспоминания, повести, исповеди о пережитом в эпоху "культа", когда накалялись страсти вокруг Солженицына и закипали споры между официальными историками и той новой, небывалой породой людей, которых называли диссидентами или инакомыслящими, ничего нового не было слышно о деле "врачей-убийц".

Однажды летом на подмосковной даче он разговорился с еврейским писателем, отсидевшим в

лагере свои шесть лет. Теперь он довольно успешно устроил свои дела, как бы закрыв глаза на прошлое. Неужели он уже все забыл, думал Вилковский, присматриваясь к этому невысокому, плотному человеку, с густыми, но уже сильно поседевшими волосами, с румяным лицом, на котором застыло выражение сонливости, апатии. Попробовать? — и он задал ему несколько вопросов.

Они сидели на деревянной скамейке в саду, в тени черемухи, был яркий и теплый день. Писатель сказал:

— Ну что я могу вам рассказать? Этого не расскажешь. Вот были у меня там очные ставки, сначала с Квитко, потом и с Ициком Фефером²⁵.

— О них и расскажите. Как это было?

— Страшновато. Квитко я даже не сразу узнал: распухший, избитый, он почти не мог открыть глаз, каждое движение доставляло ему боль. Тяжело дыша и не глядя, он отвечал на все вопросы следователя: "Да...Да...". "Правда, что вы собирались сделать то-то и то-то?". — "Да". — "А правда, что такой-то тоже знал об этом?". — "Да". Один раз следователю нужно было получить от него ответ: "Нет". Но он механически сказал: "Да". И только когда следователь закричал на него, он, по-видимому, понял, что от него хотят, и сказал: "Нет". Страшное зрелище... Но знаете, что я вам скажу? Очная ставка с Фефером была, пожалуй, еще страшнее, хотя все происходило совсем иначе. Начать с того, что Фефер не производил впечатление человека, которого мучили. Он был бледен, но свежевыбрит, без признаков побоев, разговаривал вполне бодро, нормально. Но, Боже, что он говорил! Встреча наша произошла в кабинете какого-то крупного начальника. Обычно меня водили на допрос на седьмой этаж, а тогда вдруг привели на девятый. В большой комнате с деревянными панелями и портретом Сталина во

весь рост на стене находилось человек двадцать начальников, среди них два генерала. И представьте, в середине, на стуле, одиноко сидел Ицик Фефер, в синем костюме, без галстука, как я уже говорил, страшно бледный...

— Вы его прежде знали?

— Еще бы! С семнадцати лет, когда впервые напечатали мои еврейские стихи... Мы обнялись и расцеловались.

— И они вам не мешали?

— Нет. Мы даже по-еврейски разговаривали. Уже потом, осмотревшись, я увидел, что рядом стоит магнитофон. Они нарочно дали нам поговорить по душам, чтобы узнать наше настроение, наше отношение к делу.

— А в чем, собственно, оно состояло?

— Речь шла главным образом о Крыме. Один генерал сказал, показывая на меня: "Вот, не верит, что вы, Фефер, уже признались: он тоже знал о Крыме". Считалось, что мы хотим организовать еврейскую республику в Крыму, чтобы отдать его империалистам. "Я этого не говорил, — сказал Фефер. — Я говорил: он мог знать, что несколько еврейских писателей подписали докладную на имя Молотова". В общем, Фефер вел себя в отношении меня корректно. И все же то, что он говорил, было непостижимо. "Да. Мы вели антисоветскую деятельность". Я пытался его остановить: "Это неправда". А он отвечал: "Не бойся и не волнуйся. Теперь такое время, что надо говорить то, что от нас требуют. Изменится время, все изменится. И мы с тобой еще будем издавать еврейские книги". "Но вы же оговариваете ни в чем не повинных людей. Вы втягиваете других". А он: "Ты не понял. Чем больше людей будет втянуто в это дело, тем скорее оно лопнет". Ужасная логика. Это было пострашнее, чем механическое вымученное "да" Квитко. В его случае, по крайней мере, все было

ясно мне: его сломали, он уже не человек. Но как понять Фефера? Да и все остальное... Считалось, например, что всех нас, еврейских писателей, завербовал в американскую разведку Новик, редактор еврейской коммунистической газеты Нью-Йорка...

— А тот, разумеется, ничего и не подозревал?

— Ну да. Я уверен, что он и сейчас ничего не понимает, хотя все факты ему наверняка известны — недавно он опять приезжал в Москву. Люди "оттуда" совершенно неспособны что-нибудь понять. Как тот американский негр, известный коммунист, я забыл его имя... Он слепой...

— Генри Уинстон?

— Да, кажется, он. Ему очень хотелось устроить приглашение в Москву Доре Тейтельбойм. Была такая поэтесса-коммунистка в Нью-Йорке, писавшая на идише; ее муж писал теоретические книги о марксизме. В шестьдесят третьем году Уинстон наконец устроил, чтобы Союз писателей пригласил Дору в Москву. Она тогда жила в Париже и накануне поездки разговаривала с Торезом. Он сказал: "Очень хорошо, что вы едете. Это нам поможет здесь отвечать на вопросы коммунистов-евреев". И вот, она приехала и сразу же сказала, что хочет выступить перед читателями, пусть ей организуют встречи с еврейскими читателями. В инокомиссии нашего Союза писателей, конечно, испугались: вечера еврейской поэзии? Они не могли на это решиться. А она стояла на своем: почему нет? Словом, чтобы ее как-то успокоить, организовали вечер в редакции "Советиш геймланд". Собрались только литераторы. Она говорила: "Мне жалко Уинстона. Он ничего не может понять и даже заболел. Он впервые столкнулся с этим. А за меня, товарищи, не беспокойтесь, я не изменю своих взглядов".

Есть такие люди, которые никогда не меня-

ются... Я вот знал хорошо еврейского писателя Пинчевского. Он жил в Киеве. После смерти Михоэлса²⁶ и ареста Фефера Пинчевский написал пьесу, в которой изобразил, как они поехали в США и там их завербовали. Он ходил с ней по городу и читал всем, кто хотел слушать. Перевел свое сочинение на русский язык. Говорят, что машинистка, русская женщина, вернула ему рукопись: "Не хочу печатать такую гадость!". Он был уверен в успехе, однако кончилось тем, что его "замели" и отправили в лагерь. Однажды мне говорят: "Иди в баню, привезли новый этап, там есть и один еврейский писатель". Я побежал в баню. Туда не пускают, но я был уже не новичок, и меня пропустили. Раздеваюсь, вхожу и сразу вижу Пинчевского. Не успели мы обняться, как он начал расспрашивать, кому следует пожаловаться: урки украли у него костюм. Я сказал: "Не затевай никаких историй". А он: "Нет, я этого так не оставлю. Мы обязаны не поддаваться. С нами произошла трагическая ошибка, но мы должны быть верны себе". Словом, он ни капельки не изменился. Он пожаловался, и начальство начало трясти урок за костюм. Представьте, костюм нашелся. Но я знал: Пинчевский обречен, его убьют. И точно: уже на другой день один из урок получил задание его убить. Но он никогда прежде Пинчевского не видел. Ему сказали: старый такой еврей, без бороды. Урка отправился в инвалидный барак и дождался, пока оттуда вышел старый еврей, как будто такой, какого ему описали. А это был профессор Гуревич из Ленинграда. Урка стукнул его топором и убил. Мне сразу доложили: иди, там убили твоего собрата. Я пошел и вижу, что лежит труп, но это не Пинчевский. Его я нашел в бараке, он сидел на нарах и размазывал слезы кулаками. Он уже все понял. "Что же мне теперь делать?" — спросил он меня. Я ответил, что есть один вы-

ход: пусть его заберут в тюрьму. Так и сделали, а в тюрьме он снюхался с начальством и стал их человеком. Он говорил: из идейных соображений. Но я знал, что его все равно убьют. Однако наступил пятьдесят третий, великий месяц март, и Пинчевского освободили одним из первых. Когда он уезжал, я дал ему сто рублей, чтобы он купил подарок моей дочери. Он присвоил деньги и подарка не купил. Вернувшись в Киев, он уже через год умер... Я его не осуждаю. После всего того, что я пережил, я никого не осуждаю. Признаться откровенно: стараюсь об этом забыть. Нельзя жить прошлым...

Вилковский, слушавший этот рассказ с чувством жалости к рассказчику, сразу же вспомнил, что говорят о нем другие еврейские писатели. Нельзя жить только прошлым? И не следует спешить выносить приговор другому? Все это верно, конечно. Но ведь нельзя же и перечеркнуть прошлое, махнув рукой на предательство, получать чисто ганом за готовность к новым компромиссам и новым предательствам...

...И другой еврейский писатель, уже давно пишущий по-русски, сухой, замкнутый, печальный.

— Конечно же, я помню те ужасные дни, — сказал он и заметно помрачнел. — Я ведь писал тогда по-еврейски. Точнее — только начинал писать, я был еще очень молод. Помню, как в конце сорок девятого мы как-то зашли с товарищем к Добрушину — он был моим профессором в институте. Мы застали его сидящим за столом, на котором не было ни единой бумажки или книжки; он кашлял и казался больным. Когда мы спросили его, как он себя чувствует, он подтвердил: "Да, я болен, чувствую себя ужасно, но мне нельзя об этом говорить. Пожалуйста, никому не сообщайте, что я жалуясь, "органы" могут решить, что я симулирую". "Зачем вы об этом думаете?"

— сказал мой товарищ. "Как же мне не думать, — сказал Добрушин. — Я абсолютно убежден, что мой арест — это вопрос времени, очень близкого времени — завтра, послезавтра, может быть, даже сегодня они меня заберут". — "Не надо об этом думать. Может, все еще обойдется?" — "Нет, не обойдется. Хотите, я докажу вам как дважды два четыре, что меня арестуют, не могут не арестовать? Слушайте: я очень хорошо знал Квитко и знаю, что он ни в чем не виноват. И еще лучше знал я Галкина²⁷ и знаю, что он тоже не виноват. И они, я говорю об "органах", знают, что я знаю: все, кого бы они ни посадили, ни в чем не виноваты. Как же после этого они могут оставить меня на свободе? Они, безусловно, думают, что я что-то сделаю, скажу, напишу. Стало быть, мой арест неизбежен". И точно: вскоре его арестовали, и он уже не вернулся... Помню и другой случай — Кушниров. Был в Москве такой известный еврейский писатель — драматург, прозаик, очеркист. И фанатичный коммунист. Когда других взяли, а его не трогали, он от этого очень страдал и говорил: "Что же будет, когда все кончится и они вернуться? Как я буду смотреть им в глаза? О, если бы Бог послал мне рак!". И что вы думаете? Бог услышал его просьбу, вскоре у Кушнирова обнаружили рак, и он умер. Но тут и "органы" оказали ему услугу: арестовали его семью и выслали из Москвы.

Дорогой товарищ Фельдман, ухо, горло, нос. Ты держал себя, как Тельман, идя на допрос.

Знаменитый в Москве отоларинголог умер, тоже ничего не рассказав о своей Голгофе. Даже своей родной дочери, как случайно узнал Вилковский, Фельдман ничего не рассказывал. Неужели это общее правило, и никто из родных и близких уже умерших жертв ничего не знает?

Разговор с вдовой Михозэлса. ...Опять яркий

день в Подмоскowie. И женщина в легком платье, в сандалетах на босу ногу, отдыхающая в плетеном кресле на дачной веранде. Уже немолодая, лицо измученное, но все еще прямая, жилистая, с гордыми пронзительными глазами. Голос дрожащий, но не плачущий.

— Я говорю с вами и сама удивляюсь своему спокойствию, — начала она свой рассказ, сидя неподвижно в садовом кресле и только изредка взглядывая на Вилковского. — Казалось бы, что все мы, близко видевшие то, что я видела, должны были бы просто кричать от боли до конца своих дней. Но люди есть люди... Не ждите от меня никаких объяснений, я могу рассказать только о том, что я видела. Вот хотя бы о его нежелании ехать тогда в Минск. О, как этого ему не хотелось! А потом он вдруг сказал: "Надо попрощаться". И за один день обошел огромное количество своих друзей и знакомых. Там, в Минске, он тоже нервничал и звонил мне без конца. Это были не обычные разговоры, а объяснения в любви. Это были жалобы и элегии. Он говорил, что не простит себе, что мы не встретим старый Новый год — мы ведь так привыкли встречать его вместе... О, этот старый Новый год! Вы помните "заговор врачей-убийц"? Это тоже случилось тринадцатого января — в тот день о них сообщили газеты. Четыре года спустя. А тринадцатого января сорок восьмого года в Минске Михозлс смотрел спектакль Минского еврейского театра. Что произошло в тот день, в тот вечер, я знаю только по рассказам других людей. Накануне в Минске появился Ицик Фефер. Никто не знает, зачем он приезжал. Но он там был, был, хотя, кажется, в тот же день и уехал. Был там еще и критик Голубов, который приехал вместе с Михозлсом из Москвы. После спектакля именно Голубов, которого Михозлс мало знал, вдруг стал приставать к нему, чтобы он поехал с

ним на именины к каким-то его знакомым евреям. Михозэлс отказался. Фефер его предупредил: в эту ночь их могут принять в ЦК; тогда ведь работали по ночам. Но машина не пришла, а сам Фефер куда-то исчез. И тогда Голубов устроил страшный скандал. Он кричал: "Вы зазнались! Все вы такие: стоит вам получить признание, и вы зазнаетесь. Почему вы не хотите пойти к маленьким людям, которые вас любят? Мы выпьем по рюмке водки и уйдем. Что тут плохого? Вы снизойдете до простых людей? У меня есть машина, нам даже не придется идти пешком". И Михозэлс согласился. Он не мог не согласиться: обвинений в зазнайстве он не переносил. Они поехали... А утром их нашли обоих мертвыми. Что случилось в ту ночь? Кто их убил? Где их убили? На улице, и пустили грузовик, чтобы создать впечатление дорожного происшествия? Все неясно. Подумайте, какой тут был простор для воображения. Целые годы я думала об этом, упорно думала, да что толку? Всей правды я не знаю. Думаю, что ее никто не знает и, может быть, уже никогда не узнает. Первые работники милиции, которые составили акт, тоже ничего не знали. Они сделали опись найденных вещей, а трупы отправили в больницу, в морг. Врач, который их там видел, потом приезжал ко мне и признался: он обнаружил следы пуль; в них стреляли. Но загс выдал справку, что произошел "несчастный случай". Когда тела привезли в Москву, их повезли в институт профессора Збарского на вскрытие и "грим", потому что лица были изуродованы. Збарский наш друг. В тот же день он приехал ко мне и сказал: "Даю тебе честное слово, Асенька, что он был в сознании не более двух-трех секунд: пуля попала в сонную артерию; его застрелили сзади; кулаки были сжаты, значит, он что-то увидел и взволновался". Что он увидел? Тайна... И мука... Все было для меня

мукой. Вот, например, его вещи: палку, костюм и шубу долго не возвращали. Наконец, вернули палку — она была сломана. Потом костюм — он носил следы химической чистки. Шубу все еще не возвращали. Потом, наконец, и ее привезли. Она тоже подвергалась химической обработке, а в меховом воротнике, сзади, я нашла дырочку от пули. Подумайте, что значило для меня держать эту шубу в руках. Но уже на другой день ее снова у меня отобрали и больше не возвращали...

Она замолчала. Можно было подумать, что она кончила свой рассказ, так неподвижно она сидела в кресле, слегка отвернувшись от собеседника. Вилковский не решился бы задать ей ни одного вопроса. Но она опять заговорила сама:

— О, с ним все-таки поступили милосердно! Он бы все равно убил себя, если бы при нем началось то, что произошло после его смерти. Воевать за еврейскую культуру ему приходилось все годы. После поездки в Америку он писал Сталину и добился разрешения организовать издательство "Дер эмес", две газеты, журнал; он отстоял еврейский театр. О, тогда его слово еще что-то значило. Ведь поездка с Фефером в Штаты многое дала: они собрали много средств, привезли подарки, в том числе и шубу Сталину. Вы о ней слышали?

— Нет. А что это было?

— Нью-йоркский союз меховщиков — в нем состояли в основном евреи — прислал Сталину роскошную шубу. За право сделать в ней стежку каждый меховщик платил большие деньги — это была золотая шуба... Ну мог ли тогда подозревать Михозэлс, как ему отплатят? И могли ли думать нью-йоркские евреи-меховщики, что сделает человек, который был для них символом защиты евреев от фашизма? Таков мир: никто не знает правду до конца. А когда узнает — уже поздно... Так о чем я говорила? Как Михозэлс воевал за

еврейскую культуру? Школы он не отстоял, их закрыли и уже больше не открывали. Ну это еще можно было стерпеть, находились оправдания, причины. Но что бы он сказал, если бы дожил до того дня, когда весь Еврейский антифашистский комитет объявили шпионской организацией! Тот самый комитет, который провел огромную работу в годы войны, собрал столько денег, объединил столько людей на помощь и защиту Советского Союза! Нет, пожалуй, лучше, что он не дожил до сорок девятого. Его убили, но не опоганили душу... Я вспоминаю других, например, академика Лину Штерн. Когда ей впервые сказали, в чем обвиняется Еврейский антифашистский комитет, она ушам не поверила и решила, что у нее затмение ума, галлюцинация слуха. А ведь ей уже и раньше приходилось выслушивать бредовые обвинения. Как раз незадолго до ареста ее и академика Орбели прорабатывали на специальном заседании Министерства здравоохранения. Оно длилось три дня. Я туда проникла на третий день. Лину Штерн обвинили в том, что она на своей кафедре и в лаборатории проповедует вейсманизм-морганизм. Она отвечала очень сдержанно и сказала, что в науке не может быть одной господствующей догмы, только из спора рождается истина — пусть докажут научно, что она ошибается. О, она еще не могла тогда поверить, что научный спор, начавшийся в лаборатории, будет передан следователю и кончится в тюрьме, в ссылке. После заседания я подошла к ней. Она обняла меня и заплакала: "Ах, Асенька, ничего бы этого не было, если бы он был жив!". Почему-то она верила, что Михоэлс мог помешать безумию. Бедная Лина! В конце пятьдесят второго она прислала из ссылки, из Дзямбула, письмо, поразившее всех своей деловитостью. Она давала массу распоряжений, какие вещи выслать ей из дому, какие взять у нее на

даче, даже кое-что из мебели. Она не понимала, что на все это давно наложен запрет. Бедная, наивная Лина...

Давид Вилковский рискнул наконец задать вопрос:

— Вы с ней часто виделись, когда она вернулась из ссылки?

— Она вскоре заболела. Но однажды мы встретились на даче Майского, когда он праздновал свою золотую свадьбу.

— И она вам ничего не рассказала?

— Она опять обняла меня, как в тот последний раз до ареста, и опять заплакала. Около часу мы гуляли вдвоем по саду. Кое-что она успела рассказать. Ее обвиняли лишь в том, что, будучи членом Еврейского антифашистского комитета, она не сообщила органам о его преступных планах. Опять этот бредовый замысел: евреи будто бы решили отдать Крым американцам! Тогда речь шла только об американском империализме, об Израиле еще не говорили. Ей дали двадцать лет высылки, "только" двадцать лет. И это старой, уже очень старой женщине, академику. Кое-что она рассказала и о суде. Это не был, конечно, суд в настоящем смысле слова: сидели три человека в военной форме и подсудимые, но не все. Она видела там Лозовского. Он лежал в кресле-носилках, рядом стояла медсестра, брала у него пульс и тут же, время от времени, делала ему уколы, чтобы он не умер. Доктор Шимелиович тоже был ни жив ни мертв, изранен, избит. Остальные выглядели чуть получше. Им зачитали обвинение, но все его категорически отрицали. Вот и все, что она рассказала за тот час, пока мы гуляли по саду, остальное время она плакала. Бедная Лина! Бедная Лина Штерн!

Здесь лицо рассказчицы как бы стиралось и сменялось на экране памяти Вилковского другим жен-

ским лицом, тоже увядшим, маленьким, кукольным, с большими и все еще красивыми глазами. В кинематографе это называется шторкой, или переходом. И вот, после шторки, другая женщина, сидящая за столом и складывающая аппарат для измерения давления в плоский черный футляр, продолжала рассказ о Лине Штерн:

— Жену профессора Певзнера взяли, по-видимому, только из-за ее дружбы с академиком Линой Штерн. Сам профессор Певзнер умер уже в конце пятьдесят первого, он не оправился от потрясения после ареста всех трех его ближайших ассистентов; один из них — Георгий Львович Левин, — кажется, до сих пор жив... Да...

Она опять взялась за свой аппарат. Эта женщина была врачом, но в квартиру знакомых Вилковского она приходила потому, что давно дружила с хозяйкой дома; сегодня та почувствовала себя больной, вот она и захватила с собой аппарат для измерения давления. Вилковский знал, что она дважды подвергалась арестам и заключению, а затем, уже после смерти Сталина, выступала свидетельницей на одном из редких судов, устроенных в ту горячую пору над несколькими высокими чинами его главной пыточной организации. Больше он ничего не знал.

— В чем, собственно, состояло ваше дело? — спросил Вилковский.

— Это не мое дело, — сказала она. — Это дело Жемчужиной, жены Молотова. Она дружила с моей матерью и моей старшей сестрой, Лялей, и часто бывала у нас в доме. Когда Ляля вышла замуж, Молотов дал им разрешение поехать за границу. Они побывали в Италии и на Ближнем Востоке. А в тридцать девятом Берия... да, очевидно он, арестовал двадцать пять человек из окружения Жемчужиной. Почти всех их расстреляли. Мою сестру и ее мужа тоже. Многие из них согласились

подписать протоколы, что Жемчужина шпионка. Меня взяли позднее и предложили написать то же самое. Я отказалась, и мне дали только пять лет, по статье за недонесение на врага народа. Я их отсидела. Но в сорок девятом меня опять взяли. В этот раз арестовали уже и саму Жемчужину. Сначала ее, а потом и нас, всех, кто остались живы после первого дела... Да... Любопытно, что произошло с Галиной Серебряковой. Ее посадили в тридцать седьмом как жену врага народа Сокольникова — бывшего наркомфина и посла. После войны ее отпустили, и она жила в ссылке. Она была знакома с Жемчужиной и однажды послала ей свою книгу с дарственной надписью. По этой книге ее и нащупали в сорок девятом. Мы встретились в одной камере Владимирской тюрьмы, три женщины, все три по одному делу: Жемчужина! Сама она пострадала меньше всех, ее отправили в ссылку, где она жила на особом положении. В день похорон Сталина за ней прислали специальный самолет. Она ничего не знала и думала, что ее везут на расстрел. А в Москве ее встретил Берия и отвез к мужу...

— Вы были с ней хорошо знакомы?

— Она часто бывала у нас. Я помню и ее мать. Они из Запорожья, их фамилия Карповские, евреи; имя Жемчужиной — Перл, это по-еврейски означает "жемчуг". Ее мать была умная и милая старуха. Когда она умерла, ее похоронили на Ново-Девичьем кладбище и на могилу поставили огромный памятник. Он, верно, и теперь там стоит, это в одном ряду с Аллилуевой. Да. Еще я помню, как Молотов при мне высказывался о евреях. Это было на его даче, в Сочи. Почему евреи обязательно хотят занять первые места? — говорил. — Если в науке, то обязательно профессор. Если в промышленности, то обязательно директор. Здесь же Россия...

”А грузинам можно? — хотел спросить Вилковский. — Молотова не раздражало то, что грузин занял первое место в России?” Он промолчал, но женщина словно угадала его мысль:

— Помню еще, как он говорил о Сталине. Он называл его не иначе как ”Хозяин”. ”Иду к Хозяину”. ”Я вчера был у Хозяина”. Или: ”Лазарь уже был у Хозяина, а я нет”. Он, видимо, соперничал с Лазарем Кагановичем. Может, и о евреях он высказывался недружелюбно именно из-за Кагановича. Впрочем, кажется, так высказывался и сам Хозяин, Сталин... В лагерях и тюрьмах было ясно, что происходит что-то нехорошее с евреями. Не только с ними, но их беда была еще и в том, что они евреи. Да. Помню, как в сорок девятом я сидела в одной камере с женой еврейского певца по фамилии Эпельбойм или Апельбойм. Она рассказывала мне, что их администратор, с которым она одно время жила, затаив обиду на нее или на ее мужа, написал донос, что они сионисты и на Пасху зарезали в Малаховке русского мальчика, чтобы употребить его кровь в мацу. У нее была очная ставка с этим администратором. Глядя ей прямо в глаза, он подтвердил свою ложь. Она была до того ошарашена, что не смогла сказать ни слова в свою защиту. Ее, кажется, потом расстреляли вместе с мужем. Да. Не только их. Я встречала много евреев, но уже не помню их истории. Многого я уже не помню...

Ей все еще не удалось спрятать в футляр свой аппарат. Дрожащими руками она мяла резиновую грушу, сматывала и опять разматывала длинный шланг. Старческий голос звучал ровно, невыразительно, как будто даже спокойно, но губы все время дрожали. Ее воспоминания были разорваны в клочья, как и сама жизнь, и она все время пере-скакивала с одного на другое. Когда речь зашла о Ленинградском процессе, где она выступала как

свидетель по делу Абакумова, Комарова и еще трех следователей, попавших на скамью подсудимых в дни короткой оттепели, последовавшей за смертью Сталина, она слегка оживилась и подняла на Вилковского свои красивые глаза. Этим следователей и высоких начальников обвиняли за инсценировку трех дел: Ленинградской партийной организации, когда были расстреляны Кузнецов и другие ее руководители, дела Жемчужиной и дела семидесяти пяти генералов, которых арестовали для того, чтобы они дали компрометирующий материал на маршалов Жукова и Конева. Когда обвиняемые пытались сослаться на приказы сверху, прокурор не давал им говорить. Тогда Сталин еще лежал в мавзолее, и прокурор кричал с возмущением: "Абакумов хочет оклеветать Сталина! Не позволим!". Среди обвиняемых был и один еврей — следователь Броверман. Он занимался "черной кухней", заранее составлял сценарии дел, расписывал все роли, определял, что должен показать каждый из арестованных, чтобы протоколы шли в нужном направлении. Теперь, сидя на скамье подсудимых, он совершенно откровенно признавал, что и он, и все остальные бывшие следователи отлично знали: люди, которых они мучают, ни в чем не виноваты. Но надо было выполнить приказ. Когда кто-то пытался отрицать свою причастность, Броверман ему говорил: "А помните, вы же сами меня вызывали и говорили то-то и то-то?". Абакумов тоже был откровенен, но никакой вины не признавал и держался довольно дерзко. Он говорил: "При чем я здесь? ЦК в своем решении от такого-то числа разрешил применять физическое воздействие к подсудимым". Он говорил "воздействие", имея в виду пытки. Как и к кому их применять, его не касалось, это была обязанность следствия. Лично он, по его словам, занимался только важными

государственными делами — налаживал заграничные службы и так далее. В своем последнем слове он пожаловался, что с ним поступили нехорошо — не дали свидания с женой, которая недавно родила. Он сказал, что прочитал в тюрьме книгу о народовольцах и пришел к выводу, что при царе лучше обращались с заключенными. Из всех подсудимых один Комаров униженно каялся и просил, чтобы ему сохранили жизнь — он еще загладит свою вину... Свидетелей было много. Особенно запомнился ей один из оставшихся в живых генералов, который сказал: "Мы через все прошли: гражданскую войну, войну с Гитлером, все выдержали. А в застенках Абакумова нас сломали". Он рассказал, как пытали генералов, среди них, кажется, был муж певицы Руслановой...

Рассказчица замолчала. И опять, уже безо всякого перехода, Вилковский увидел блестящие, лихорадочные, умные глаза вдовы Михозлса, которая говорила:

— ...Передать весь тот кошмар невозможно. Ну, как рассказать о том, что случилось с актером Зускиным? Помните его? Вы, наверное, видели кинокартину "Еврейское счастье". В те недели и месяцы, когда чуть ли не каждый день кого-то из его окружения арестовывали, Зускин перестал спать. Он совсем не спал и ужасно мучился. А я была знакома с Вишневыми — стариком и сыном. Старика тогда уже не было в живых, и я устроила Зускина в клинику молодого Вишневого. Из благодарности Зускин стал передо мной на колени. О, он ужасно мучился! Тогда было модно лечение сном. И вот, в клинике его усыпили. Он проспал двое с половиной суток и проснулся т а м...

— Где там?

— Вы не поняли? В тюрьме.

— Как так?

— Очень просто. Они пришли за ним ночью и сказали: "Нам нужен такой-то". Кто-то из персонала клиники возразил: "Вы не можете его теперь взять — он спит". "Ну ничего — мы его разбудим." — "Его нельзя будить — он болен". — "Все равно. Вот ордер. Мы его забираем. Он проснется у нас". И забрали. Это мне сам Вишневский рассказывал. Он был в Кремле на каком-то приеме и позвонил, как обычно, в клинику узнать, как дела. Ему сказали: "Плохо с актером Зускиным". — "Что с ним? Он умирает?" — "Нет. Хуже". "На приеме я, конечно, выпил, — рассказывал Вишневский. — но сразу же поехал в клинику. А там мне показали пустую койку Зускина и объяснили, что с ним произошло". "Вот каких пациентов вы мне подсовываете", — сказал мне тогда Вишневский. А я до сих пор думаю о другом: что почувствовал, что подумал Зускин, когда он проснулся в тюрьме. Как он это воспринял — как продолжение сна? Вы только вдумайтесь: заснуть на больничной койке и проснуться в тюремной камере, откуда его уже не выпустили до казни! Эта мысль и сейчас, хотя уже прошло столько лет, все еще причиняет мне боль. Поэтому я считаю, что Михозлса казнили милосердно. О, это милосердие казни!

Ее крупная, костлявая рука впиалась в подлокотник кресла. Она закрыла веки, а когда снова открыла их, ее глаза были влажны и налиты лиловой кровью. Вилковский поспешно встал и стал прощаться.

...А женщина-врач, которая так разволновалась, что не могла сложить аппарат для измерения давления, закончила свой рассказ воспоминанием о том, как Абакумов клялся на процессе, что жену Молотова не били, от нее не было получено никаких политических материалов, а только некоторые подробности о любовниках, вечеринках, этим

хотели подвести ее под статью о бытовом разложении.

— Тоже красиво, — сказала молчавшая до сих пор хозяйка дома. — Интересно, и жену Калинина арестовали, чтобы получить от нее сведения о бытовом разложении?

— Екатерину Ивановну? Я слышала, что Калинин ходил к Сталину просить, чтобы ее выпустили. Подожди полгода, сказал ему Сталин в первый раз. Через полгода Калинин опять пришел, и Сталин опять ответил, что нужно подождать. В третий раз Калинин пришел и сказал: "Я болен и скоро умру... — Да. У него был рак... — Верни мне Екатерину Ивановну". И ее вернули. Она умерла года два тому назад...

— А Молотов за свою жену, за Перл, не заступился?

— Нет. Да он, верно, и не смог бы. Ведь уже с сорок восьмого года она больше не жила в Кремле — партийная организация выразила ей политическое недоверие в связи с делами о еврейском национализме. И она стала жить у брата. Молотов оставался в своей квартире в Кремле, но, кажется, подбирались именно к нему, к Молотову...

Вилковский мысленно увидел ступени Центрального телеграфа и худое измученное лицо бывшего полковника и бывшего зэка Зусмановича: "Вы что, не знаете? У них было заведено подбирать материалчик, на всякий случай, на каждого крупного начальника". Кто-то к кому-то подбирался на вершине власти, а другие люди, хотя к власти и не причастные, платили за это своей жизнью.

...И еще одна врачиха. Серое лицо, пристальные, умные глаза, тонкий голос:

— Все было очень просто. Я знаю множество рассказов пострадавших и не пострадавших. Все сходится. Вот, профессор Преображенский, кото-

рый был сначала привлечен как эксперт, но не захотел подписать лживую экспертизу. Тогда ему сказали: "Подпишите! Иначе вот эта самая рука, которая должна подписать — ее у вас не будет". Когда он повторно отказался, его арестовали. На другой день взяли и жену. А там дело пошло рутинным путем. Он сам потом говорил ассистентам: "Если бы вам давали каждый день только селедку и ни капли воды, а по ночам мешали спать, вы бы тоже подписали". Все очень просто. Я как-то читала роман Артура Кестлера о наших процессах. Наивная чушь. На Западе придумывали разные объяснения: гипноз, уколы, промывка мозгов, психология революционеров, понявших, что все они не без греха... До селедки Кестлер не додумался. Простая селедка и палка — больше ничего и не нужно; в них весь секрет признаний. А что касается психологии людей, запутанной идеологией, ложью, то и это выглядело иначе, чем представляют себе западные умники. Вот случай профессора Зеленина. Вы, наверное, хотите знать: тот ли это Зеленин, который изобрел "капли Зеленина"? Именно он. В пятьдесят втором он еще был жив. Впрочем, он еще и сейчас здравствует. Он рассказывал: "Я был совершенно спокоен. То, что мне предъявили, было столь нелепо, что я оставался спокойным. Я думал: Сталин во всем разберется". Вот и вся наша психология...

Это последнее объяснение казалось Вилковскому наиболее правильным, потому что другие пытались подвести под все случившееся какую-то разумную рациональную базу, следовательно, как-то оправдать зло. Да, да, и в этой загадке нет ничего загадочного. Если бы была поставлена задача, как сделать так, чтобы наибольшее количество невинных людей пострадало за вымышленные преступления, надо было бы только сделать то, что сделал Сталин, разумеется, из "высших

соображений”: надо было устроить тайные суды, тройки, ”особые совещания” и довести до сознания всех следователей, прокуроров, судей, что нет более высокого закона, чем те ”соображения”, о которых знают лишь ”наверху”, надо было, чтобы газеты и общественные организации оправдывали любые репрессии, не имея ни малейшей возможности вникать в суть дела. Вне этих условий, к которым добавлялась долголетняя привычка к насилию, не могли бы совершиться все те ужасы, которые совершились.

После смерти Сталина по Москве ходил рассказ о том, что ”заговор врачей-убийц” был задуман как предлог для выселения всех евреев на Север. Говорили, что в конце пятидесят второго года в редакцию ”Правды” стали вызывать известных советских евреев и предлагали им подписать письмо-признание, что евреи, мол, провинились перед советской властью. Революция сделала их полноправными, но в силу своей истории и национального характера они заплатили за это черной неблагодарностью. Тезис о вине еврейской нации был, конечно, украшен виньетками традиционной марксистской фразеологии. Все объяснялось тем, что евреи будто бы после революции остались нацией непродуктивной. Каждый еврей, даже если лично он ни в чем не виноват, не может не чувствовать своей ответственности за ”Джойнт” и другие еврейские организации, враждебные миру и социализму. Выход один: евреям надо войти в семью народов — осесть на землю. Им следует покинуть Москву и другие города и переселиться в Биробиджан или на Север. Словом, евреи сами должны были попросить о высылке и своем дальнейшем уничтожении.

— Все это правда, но не вся правда, — сказал однажды пожилой еврей с печальным лицом и очень темными скорбными глазами, носивший зимой

и летом кургузый неопределенного цвета пиджачок и обветшалые слоновьи брюки; человек не только умный, но и себе на уме, сумевший как-то избежать беды и даже катастрофы, обрушившейся на его друзей, не потеряв при этом ни совести, ни своего собственного лица. — Хотите, я добавлю еще несколько фактов, только фактов? Я хорошо помню письмо Сталина, которое зачитывали в среднеазиатских республиках; я сам его читал, я был связан с этими республиками, оно называлось: "О положении на Востоке". Я запомнил его еще и потому, что в нем я впервые встретил незнакомое мне имя — Насер. Сталин обрушивался на египетских офицеров-националистов, опирающихся на мусульманскую религию — он называл их фашистами. Поскольку и в СССР много мусульман, он считал этих арабских националистов опасными и советовал переселить с пограничной территории советских мусульман, особенно тех, кто связан с границей...

— Как интересно! Значит, нас ждало решение не только еврейского, но и мусульманского вопроса?

— Сталин всю жизнь интересовался национальным вопросом. Евреев он не любил давно, но понимал, что евреи — не калмыки, это мировой вопрос, и он не торопился, приглядывался, выжидал. Коварен был. Это черта восточного деспотизма: он иногда нарочно возвышал какого-нибудь человека, которого с самого начала собирался погубить. А решение национальной проблемы часто видел лишь в одном плане: переселение одних наций и поощрение других. Тут, впрочем, все сложно и запутанно, но мы же договорились: вспомним факты, только факты. Вот вам еще один: после войны на приеме в честь участников узбекской декады литературы и искусства Сталин произнес такой тост: "В народной

песне говорится: "За столом никто у нас не лишний..." Это неправильно, товарищи. Жизнь показала, что были у нас лишние за нашим социалистическим столом, и мы их попросили от стола. Может случиться, что найдутся еще и другие, которые не умеют вести себя за нашим столом, можете не сомневаться, что от них мы тоже избавимся... Выпьем за дружбу народов, товарищи!"

"Не подпишу!" — будто бы сказал Эренбург, когда ему показали письмо. "Но это личная инициатива товарища Сталина". — "Хорошо. Я подпишу послезавтра, а завтра вы передадите товарищу Сталину мое письмо". Эренбург написал коротенькое письмо, в котором упомянул про мирное и радикальное решение еврейского вопроса в социалистическом государстве: полную ассимиляцию евреев, их исчезновение, слияние с народами, среди которых они живут. Эренбург сообщал Сталину, что письмо в редакцию "Правды", которое ему предложили подписать, вызывает у него опасение потому, что такое письмо "может укрепить националистические тенденции". Кроме того, Эренбург осторожно намекал "вождю прогрессивного человечества", что письмо в "Правду", в котором видные деятели советской культуры, по происхождению евреи, сами подтверждают "еврейскую вину", может отрицательно повлиять на "мировое движение за мир", и "клеветники могут его использовать для своих низких целей", то есть заявить протест против сталинского погрома.

Впрочем, вся эта "диалектика" не помешала Эренбургу закончить свое письмо так: "Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти вопросы, и потому я осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом шаге, и я решаюсь Вас просить поручить кому-либо сообщить мне Ваше мнение о жела-

тельности моей подписи под таким документом. Если руководящие товарищи передадут мне, что опубликование документа и моя подпись будут полезны для защиты Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу 'письмо в редакцию'".

Эренбург умер, не подтвердив и не опровергнув эту историю.

...Он лежал на сцене Центрального дома литераторов. Гроб был объемистый, и тела Эренбурга почти не было видно, только серый, заостренный профиль как будто припорошенного пеплом лица среди ярких пятен живых цветов. Вокруг гроба стояли люди с черно-красными повязками на рукаве.

Народу было не слишком много. Милиция блокировала улицу Герцена с обеих сторон ЦДЛ. Даже членов Союза писателей не пропускали, от них требовали предъявления специальных пропусков, "приглашений" на похороны. Давиду Вилковскому все же удалось проникнуть туда, когда траурная церемония уже подходила к концу. Он еще успел услышать чей-то низкий голос, произносящий напыщенные, стертые слова. Он не стал к ним прислушиваться. С поразительной ясностью вспомнилось, как стоял в этом же зале, тоже в проходе, почти у самых дверей, в тот вечер, когда чествовали здесь Эренбурга по случаю его семидесятилетия. Тогда зал был переполнен, люди тесно забили все проходы, до отказа был заполнен вестибюль. Стоял и Вилковский, стиснутый толпой, обливаясь потом и тщетно пытаясь издали разглядеть лицо юбиляра. Даже его маленькая фигурка в сером костюме на фоне стола президиума, установленного на сцене, была плохо видна. Но голос отчетливо слышен благодаря мощным усилителям. Вилковский уже не помнил, что говорил тогда Эренбург, кроме того места из его речи, которая произвела на всех самое большое

впечатление: юбиляр сказал, что чувствует себя евреем, и привел слова Юлиана Тувима: "Я поляк, потому что мне нравится быть поляком. Это мое личное дело... Но если вы поляк, почему же вы пишете: "Мы — еврей"? Отвечу: "Из-за крови". Бывает двойкая кровь: та, что течет в жилах, и та, что течет из жил... Кровь евреев течет глубокими, широкими ручьями". Пока будет течь эта кровь, добавил Эренбург, я буду громко говорить: я еврей!

Громкие, красивые слова могут ли освободить от мучительного чувства неискупимой вины?

"Бродят Рахили, Хаимы, Лии, как прокаженные, полуживые. Горе, открылась старая рана. Мать мою звали по имени Хана", — писал в год начала войны с Гитлером Эренбург, принявший в юности католичество.

"Потому что у тебя беда, потому что на тебе звезда. Потому что твой отец другой, потому что у других покой", — писал он после Освенцима и Трешлипки.

О "заговоре врачей" и казни своих коллег из Еврейского антифашистского комитета он ничего не написал. В его мемуарах, опубликованных в последние годы жизни, рассказано множество интересных деталей его пестрой биографии. Всей правды он не рассказал. Самое поразительное то, что в воспоминаниях Эренбурга, написанных уже после смерти Сталина, чуть ли не на каждой странице встречаются слова и подмены, возникшие в сталинское время. Мемуары Эренбурга, несмотря на все опущения, довольно точно или, как выражаются критики-марксисты, объективно отражают жизнь Эренбурга, его взлеты и падения, иллюзии и разочарования, высокую страсть художника и трепетную слабость интеллигента, которому очень хотелось сподобиться, приобщиться к беспощадному веку, и это привело его не только к

безоглядному послушанию, капитуляции и пособничеству палачам, но и к заражению утонченной интеллигентской души грубой ложью.

В памяти каждого советского еврея, даже если он еще был тогда ребенком, сохранились, иногда против его воли, тяжелые воспоминания и ассоциации, как будто он и сам был участником тех печальных событий.

...Молодая красивая женщина с пышными рыжими волосами, веселая, задорная, с виду совершенно счастливая и довольная жизнью:

— Вы хотите, чтобы я сказала вам, помню ли я пятьдесят третий год? Мне исполнилось тогда пятнадцать лет, но то были самые сильные впечатления моей жизни. Отец был заместителем директора крупного завода на Урале, наша семья жила очень хорошо. Но когда это началось, в школе перестали со мной разговаривать. Я отнеслась к смерти Сталина, как все, ревела в три ручья. А мои соученики и соученицы говорили: "Она его отравила!". Когда собирали деньги на венок, мои деньги выбросили. До конца года никто со мной не разговаривал...

— Почему же — до конца года? Ведь четвертого апреля было сообщение, что еврейские врачи ни в чем не виноваты...

— Школьники его не приняли. Они говорили: "Если бы он был жив, врачей-убийц не выпустили бы". А потом они узнали, что я встречаюсь с одним мальчиком из другой школы, и устроили суд. Меня выставили перед всем классом, и классная руководительница сказала: "Ну-ка, давай отчет!". Я не захотела "давать отчет", и меня выгнали из класса. Дней десять я в школу не ходила, пока не узнала мама и не устроила там скандал. Но все равно мне пришлось перевестись в другую школу... — она задумывается и тихо продолжает: — Но, пожалуй, самое сильное впечатление про-

извел на меня случайно услышанный в те дни разговор рабочих на улице. Один, — я его до сих пор помню — лысый и красный, — кричал тенором на всю улицу: "Их всех надо перевешать на столбах!". И назвал фамилию моего отца... Вы думаете, что такое можно забыть?

... И еще один разговор с женщиной, лица которой он уже не помнил. Но ее короткий рассказ поразил его знакомым удивлением, старым, все еще не успокоившимся волнением:

— В январе пятьдесят третьего моей дочке было семь лет. Однажды она вернулась из школы хмурая, на себя не похожая, и уже на пороге сказала:

— Мама, мне нужно с тобой серьезно поговорить.

— Хорошо. Но сначала разденься.

— Мама, у меня нет сил раздеться. Нам нужно серьезно поговорить.

— Ладно. Сейчас поговорим.

Я раздела ее, накормила, потом сказала:

— Ну, а теперь давай поговорим.

— Закрой двери, мама.

Я закрыла дверь.

— Мама, у нас в школе есть одна девочка, Бася. Она мне очень нравится. Хоть она в другом классе, мы с ней часто гуляем по двору на переменах и разговариваем. Вот и сегодня мы с ней гуляли и разговаривали про Тома Сойера: какой он, этот Том — хороший или не очень? Мы и про Гека говорили, а потом Бася читала мне наизусть стихи. Но вдруг выбежали другие девочки и, увидев меня с Басей, закричали: "Почему ты с ней водишься? Оставь ее, она хочет нас всех отравить! Такие, как она, хотят нас всех отравить!". Бася убежала в слезах... Мама, я не понимаю — что же это происходит?

Я долго успокаивала свою малявку. Но как я

могла ей объяснить, что она тоже наполовину еврейка и, следовательно, тоже "хочет всех отравить"?

...Отпечатки в темных хранилищах подсознательного?.. Окаменевшая боль?.. Могут ли страдания давно умерших людей оживать в сознании живых?

"За то, что зной полуденный Эсфири, как горечь померанца, как мечту, мы сохранили и в холодном мире, где птицы застывают на лету. За то, что нами говорит тревога... что наших девушек отличен волос, не те глаза и выговор не тот, нас больше нет. Остался только холод. Трава кусается, и камень жжет".

Так писал Эренбург в одна тысяча девятьсот сорок четвертом году. Но еврейский поэт Антон де Монтеро, известный под прозвищем "Портной из Кордовы", еще в конце пятнадцатого века изображает себя человеком, не раз уже умершим и все же продолжающим жить:

"Но если вы меня приговорите, какую смерть еще вы мне дадите, которой я еще не претерпел?"

Другой поэт-марран²⁸ уже тогда знал, что не в смерти худшее наказание, а "память — худшая из казней".

Мучительное, до конца не раскрытое прошлое возникало вдоль знакомого Вилковскому пути на знакомую улицу даже из звука его собственных шагов. Прежде, чем вступить на Архипова, он вспомнил еще один разговор на тему: что осталось от тех дней?

— Прошло? Вы говорите — прошло?

Собеседник Вилковского, пожилой человек в темных очках, расхохотался, но сразу же резко оборвал свой смех и, подняв палец, заговорил как по писаному:

— Слушайте рассказ из истории евреев. Случилось это во Франции в конце девятнадцатого

столетия, во время "дела Дрейфуса"²⁹. Франция разделилась на два лагеря, и многие знаменитые французы, как, например, Золя, защищали Дрейфуса. А известные советские евреи, именно евреи, подписали письмо, в котором не только "врачи-отравители" еще до суда объявлялись виновными, но утверждалось, что каждый советский еврей несет за их преступление какую-то вину. Не было такого ни прежде, ни после. Вы думаете, что такое может пройти без последствий? Ни одна беда не проходит бесследно для народа, для любого народа. Если же для нас, советских евреев, ужасное дело врачей, этот невероятный душевный шок прошел без последствий, значит, нас попросту нет, мы не существуем. И вот, я вас спрашиваю: русские евреи существуют или их давно нет?

Этот разговор произошел в московской синагоге, в один из первых приходов Вилковского на улицу Архипова. Именно здесь он понял, что наступило другое время. Здесь зримо обнаружились последствия того времени, которое уже прошло.

VI

Как только он свернул с Маросейки на Архипова, ему показалось, что с противоположного конца улицы доносится какой-то смутный шум, в котором тонут резкие механические голоса. Что бы это могло быть? Вилковский слегка замедлил шаги и прислушался, но ничего понять не мог. В годы своей московской жизни он два раза приходил на эту улицу, но никакого шума не помнил. Может быть, у синагоги установили громкоговоритель? Во время его второго прихода на Архипова — это случилось, как и сегодня, в канун

Судного дня — кто-то из людей, стоявших перед зданием переполненной синагоги, спросил:

— Почему бы не установить здесь динамик, чтобы все слышали кантора?

И сразу же прозвучал чей-то насмешливый ответ:

— Хотите внести рационализаторское предложение? Здесь это не пройдет. Кто вам разрешит громкоговоритель на улице?

— А почему? — упорствовал первый голос.

— Почему, почему... — саркастически повторил второй. — Почему у нас в городке, где жили три тысячи евреев, было четыре синагоги, а в Москве сегодня триста тысяч евреев и осталась одна синагога. Почему?

Этот разговор Вилковский помнил ясно, хотя с тех пор прошло десять лет. А в первый раз он побывал в московской синагоге еще раньше, в морозное декабрьское утро того самого года, когда он летал в свой родной город и увидел то, что немногим дано видеть: прошлое и будущее вместе. Кто это видит, расплывается безысходной тоской, делящейся потом весь остаток его жизни. И Вилковский расплатился сполна. После возвращения в Москву к его тоске примешалось тогда и смутное чувство неисполненного долга, хотя непонятно было, что ему надлежит сделать, ведь изменить уже ничего нельзя. Это непонятное чувство мучило его до того дня, пока он не увидел на очередном листике своего настольного календаря, что наступило двадцатое декабря, и вспомнил слова встреченной на родине женщины, которую общая могила, поглотившая всю ее семью, не приняла: "Расстрелы начались двадцатого декабря, очередь евреев из нашего города наступила двадцать первого..."

После этого он уже не мог думать ни о чем другом. Ночь, последовавшая за этим, самая длинная

в году, тянулась для него целую вечность. Только под утро он погрузился в мертвый сон, а проснувшись, уже знал, что ему надлежит сделать. Он поспешно оделся и, не позавтракав, даже не выпив чаю, вышел на улицу. Он торопился выполнить свой долг. У мертвых нет желаний, но его отец и мать при жизни надеялись, что сын скажет по ним каддиш³⁰. Однажды отец даже назвал сына "мой каддиш" и объяснил, что благочестивыми поступками сын оказывает заступничество душе усопшего отца, подверженной мукам в аду, в течение двенадцати месяцев после смерти. Адом для отца и матери были последние месяцы их жизни и страшные обстоятельства смерти, но неверующий сын чувствовал, что он обязан выполнить их желание. Вот тогда-то Давид Вилковский и побывал впервые в московской синагоге. В то зимнее утро он тоже отправился на Архипова пешком и еще застал прихожан за утренней молитвой. Их было немного, большой синагогальный зал с высоким голубым потолком казался пустым. Один старик, закутанный в черно-белый полосатый талес, расхаживал вдоль стены и что-то напевал себе под нос, в точности, как это делали в местечковой синагоге, куда отец приводил маленького Давида. Разыскав служку, Вилковский спросил у него молитвенник, в котором есть каддиш. "А вы сами его скажете?" — спросил служка, тучный человек с любопытными темными глазами. "Да, я сам". Открыв молитвенник, он, однако, понял, что почти забыл еврейские буквы. В конце службы он подошел к амвону и с большим трудом прочитал молитву о мертвых. Он не понимал смысла слов и не чувствовал волнения. Синагога казалась ему не только пустой, но и нетопленной, холодной. Возможно, что это было внутреннее ощущение — все в нем застыло с утра.

Вернувшись домой, он позвонил на работу и

предупредил, чтобы его не ждали сегодня, он плохо себя чувствует. Потом повалился на кровать и долго лежал на спине, глядя в потолок. Вспомнив, что у него есть фотография родителей, он разыскал ее и укрепил на стене, над кроватью. Это была та самая фотография, о которой он думал, когда последний раз стоял у родительского дома, из которого жизнь ушла навсегда. Глядя теперь на постаревшие лица отца и матери — жидкая борода отца поседела, нос вытянулся, глаза запали, а лицо матери, хотя по-прежнему круглое и красивое, выражало печаль, — он вспоминал их такими, какими они были в годы его детства и позднее, когда он стал юношей. Сколько огорчений причинил он обоим из-за своего вечного духа противоречия. Я был бессердечным и глупым, думал он, глядя на фотографию. Много огорчений я принес им, и все из-за того, что называл моими идеями. Вместе со старой фотографией хранилась почтовая открытка, написанная матерью за несколько дней до начала войны. Когда он получил ее в Москве, город, из которого она была послана, уже заняли гитлеровцы. Он снова перечел открытку, написанную матерью за три дня до начала войны: она сообщала, что отец чувствует себя хорошо, и просила прислать из Москвы виды сельскохозяйственной выставки, а также комнатные туфли ее размера, которых никак не может достать. Открытка не обветшала, чернила не выцвели. Страшно было подумать, во что превратилась написавшая ее рука...

Время тянулось медленно, но голода он не чувствовал и решил не выходить из дому весь день. Два или три раза звонил телефон, но он не снял трубку. Сам он тоже за весь день никому не позвонил. Когда за окном стало темнеть, он ополоснул лицо над умывальником и вскипятил себе чай. Выпив первый стакан, он подумал: я сегодня

постился, как в Йом-Киппур. Может быть, в этом и состоит мой долг: сделать день двадцать первого декабря своим Судным днем. Что означает Йом-Киппур: Судный день? день искупления? день всепрощения? Накануне Йом-Киппура отец просил прощения у своих соседей за причиненные им обиды. Можно ли просить прощения у мертвых? Мой Йом-Киппур будет для меня днем памяти, суда и покаяния, слитых вместе. В сущности, это одно и то же. Разве память не вершит над душой самый неумолимый и бесстрастный суд?

Проводить день двадцать первого декабря в одиночестве, отказываясь от еды и всех привычных занятий, вошло у него в привычку. Это число было отмечено в календаре красными буквами: день рождения Сталина. Такое совпадение казалось Вилковскому символичным и только укрепило его решимость не отказываться от своего Судного дня. Думая об ужасном конце родителей, он чувствовал, что с этим он не примирился и не примирится, пока будет жив, хотя изменить ничего нельзя. Каждый год, держа в руках фотографию родителей и открытку, написанную рукой матери, он убеждался, что они не обветшали с годами, будто время не имело силы над этими бумажками. Зато все больше менялся он сам. Того, прежнего, еще молодого, полного иллюзий и надежд, того, кто установил для себя свой Йом-Киппур — двадцать первое декабря, — уже не было. Но и пожилой человек, каким он стал с годами, этого обычая не отменил.

Спускаясь вниз по узкой, извилистой и пологой улице Архипова, он с удивлением увидел, что навстречу ему ползет поток автомобилей; не доходя до конца улицы, машины сворачивали в переулок. Они шли с Солянки и, вместо того, чтобы на площади Ногина влиться в поток, идущий по проезду Серова к центру, делали небольшой, но лишней

круг через улицу Архипова. Вот почему он услышал шум, как только вступил на Архипова — это был гул уличного транспорта, к которому примешивались резкие механические крики и приказы, передаваемые через ручные динамики:

— Граждане, не мешайте уличному движению! Проходите на тротуары!

Перед зданием синагоги стояла большая толпа, запрудившая всю улицу, автомобили с трудом пробивали себе дорогу.

Тогда этого не было, подумал Давид Вилковский. Он подразумевал второе свое посещение московской синагоги, когда он пришел на эту улицу в канун Судного дня. Почти не замедляя шага, вошел в толпу, и его сразу же начали теснить и толкать люди, которых в свою очередь толкали и теснили милиционеры и дружинники, пытавшиеся расширить проход для транспорта. Вилковский представил себе Солянку и площадь Ногина, через которые ему столько раз приходилось проезжать; транспортный поток мог здесь появиться только потому, что его нарочно завернули из проезда Серова на параллельную улицу Архипова. Кто это сделал? Конечно же, ГАИ, милиция. Но почему? Чтобы заставить разойтись собравшуюся перед синагогой толпу?

Он стоял, прижатый к забору, как раз напротив здания синагоги. Ее узкий фасад с мощными желтыми колоннами не изменился. Вилковскому казалось, что и вокруг него стоит та самая толпа, которую он видел десять лет назад. Тогда он приехал сюда с одним из своих друзей, предложившим отправиться на Архипова и посмотреть, много ли еще в Москве евреев, помнящих Йом-Киппур. Вечер был холодный, мокрый, они долго бродили по слякотному тротуару, не делая никаких попыток проникнуть в переполненное здание синагоги: им было достаточно того, что происходило на

улице. Печальное зрелище: толпа, собравшаяся на Архипова, состояла сплошь из стариков и старух; они не встретили ни одного человека моложе пятидесяти. Сколько бескровных лиц с темными печальными глазами! Сколько тоски! Глядя на них, нетрудно было вообразить, как эти старики и старухи готовились к празднику, как надевали выходные костюмы, праздничные ботинки и шляпы, а когда стало темнеть, вышли из своих домов, где никто, кроме них, уже не помнит, не знает, что такое Иом-Киппур, внуки-полукровки, возможно, даже не знают, что бабушка или дед — евреи, и отправились в синагогу. И вот они стояли на улице Архипова перед старой московской синагогой и смотрели на ее освещенные окна, на распахнутые двери, откуда доносились слабые, сливающиеся в одно звуки. Они опоздали, служба уже началась, и ничего похожего на щемящую мелодию Кол-Нидре, которую несомненно помнили все собравшиеся перед московской синагогой, они тогда не услышали; только гнусавые возгласы и бормотанье. Люди стояли тогда отрешенно, одиноко, с неподвижными взглядами. Куда были обращены их остановившиеся глаза? Что видели они в сумраке осенней московской ночи? Крупные южные звезды украинского местечка времен детства, где вся жизнь замирала в тот час, когда в синагоге раздавались дивные звуки Кол-Нидре? Друг Вилковского сказал, что пора уходить — хватит, насмотрелись; но тут к ним протиснулся человек в добротном пальто и новой шляпе — знакомая фигура завсегда́тая кафе "Националь" — и шепеляво спросил: "А, и вы здесь? Ну, что вы скажете: живучи религиозные предрассудки". "Да, — ответил друг Вилковского. — Очень живучи. И я даже могу поручиться, что Кол-Нидре будет жить и дальше. Она уже многое и многих пережила. В том числе и товарища Сталина". Но когда они

покидали улицу Архипова, он же сказал: "Посмотри хорошенько на этих людей. Ты видишь последнее поколение русских евреев, других уже не будет. Следующее поколение уже состоит наполовину из полукровок или евреев, начисто отрицающих, что они евреи. Дети моих знакомых почти все записаны русскими, украинцами, поляками. У одного старого еврея из Белой Церкви внуки записаны цыганами. Эти люди готовы причислить себя к любой национальности, только не к евреям. Вот последние русские евреи!"

— Граждане, не мешайте уличному движению! Пропустите транспорт!

Раздраженные, лающие голоса, усиливаемые репродукторами, вернули Вилковского к действительности. "Последние русские евреи!" Он ошибся, подумал Давид Вилковский, услышав молодой смех: неподалеку от него стояла группа молодых людей в спортивных куртках, с ними были две девушки в брючных костюмах. Занятый воспоминаниями, он не сразу заметил, что нынешняя толпа не похожа на ту, которую они видели здесь десять лет назад. Все теперь стало иным. Он и тогда видел на Архипова милиционеров, их было трое, они стояли вместе и молча наблюдали за молчаливой печальной толпой. Теперь десятки милиционеров и дружинников выходили из себя, пытались внести порядок в тот беспорядок, который они же сами вызвали, завернув сюда транспорт с Солянки. Кто-то решил, что следует считать беспорядком само присутствие здесь большой толпы евреев.

Вилковский стал разглядывать молодых людей, стоявших поближе к нему. Трудно было узнать в них евреев; наряду с восточными лицами, тут были голубоглазые блондины, они обменивались шуточками и громко хохотали. Знают ли они, что сегодня Иом-Киппур, подумал Вилковский.

Во всяком случае, они пришли, а в прошлый раз я их здесь не видел.

— Освободите пространство! — раздраженно кричал старшина милиции, широкоскулый, налитый кровью служебного рвения, направив свой ручной громкоговоритель прямо в лица людей, стоявших тесно прижатыми друг к другу на узеньком тротуаре.

Чем больше всматривался Вилковский в окружающую его толпу, тем яснее становилось ему, что улица Архипова — теперь другой мир, не тот, который он видел в прошлый раз. Впрочем, улица не изменилась. И ночь была такой же сырой и холодной, как и десять лет назад. В темноте печально светились окна домов, а на горизонте, как и тогда, за невидимой рекой переливались огни высотного здания на Котельнической набережной.

— Освободите!.. Сойдите!.. Не мешайте прохожим!

— А где он тут видит прохожих? — спросила старушка в пальто и темной шали.

Она сказала это другой старухе, но один из милиционеров услышал и заорал:

— Толкуй мне тут! Сразу отведу!

— Куда отведешь? — с еще большим недоумением спросила старуха, и вокруг раздался громкий смех.

В узком проходе посередине улицы ползли автомобили, скрипя тормозами и обдавая толпу вонючим выхлопным газом. Между ними плыл какой-то автобус, набитый людьми, к его окнам прильнули удивленные и даже испуганные лица людей, не понимающих, что происходит: почему собралась толпа, а главное, почему с Солянки их завернули сюда, в людское месиво?

За спиной Вилковского кто-то сказал:

— Если евреи пришли в синагогу, так надо пу-

скать на них транспорт? Это же скандал!

— Борьба с религией...

— Ха! А вы когда-нибудь видели, как милиция охраняет мусульманские праздники? Мечеть в Выпозовом переулке знаете? Милиция закрывает проход автомашин даже на Второй и Третьей Мещанской, чтобы их не беспокоить.

— Тоже сравнили! Мусульманская религия — хорошая религия, от нее пахнет нефтью...

И опять дико кричали, переливаясь и сливаясь, голоса ручных динамиков:

— Граждане... Проходите... Освободите...

Вилковскому хотелось посмотреть, что делается в синагоге, но на каменных ступеньках входа тесно стояли люди. В конце концов ему все же удалось протиснуться вперед и проникнуть в синагогальный вестибюль, в пулеш, как говорили в местечке. Двери в большой зал были распахнуты настежь, и он увидел сияние люстр, синюю глазурь, позолоту, вязь древнееврейских письмен, украшающих синагогальные стены, балкон, где сидели женщины, темноликие старухи в очках и в чем-то черно-кружевном, напоминающем старинные шали. И восточную стену, мизрах³¹, где на возвышении перед амвоном покачивалась высокая фигура кантора³² в белом, а среди молящихся, на почетных местах, картинно стояли два белобородых старика, один в черной ермолке, другой в белой... Все это было похоже на сон, воспоминание детства. И каждый звук, каждый перелив молитвы, чередование страстной ее требовательности с жалобами и печалью тоже шли не от кантора и молящихся, а из глубины его души и памяти.

Здесь, в молитвенном зале, Вилковский видел не тех евреев, которых встречал в прошлый раз. Точнее, тут были не только они. Как и на улице, он увидел много молодых, даже очень молодых

людей, среди них совсем юных бородачей в маленьких ермолках, каким-то чудесным образом удерживавшихся на их буйных, давно не стриженных лохмах. Эти щегольские, почти символические ермолки, белые и черные, с вышитыми на них звездами Давида, так поразили Вилковского, что он уже не удивился, когда услышал, что юнцы переговариваются между собой на иврите. Как нашли они дорогу в старую московскую синагогу? Что их сюда привело? Древняя вера, о которой они, должно быть, и не слышали в родительском доме? Старинные еврейские традиции, идущие вразрез с их воспитанием, всем строем московской жизни? Кто они, эти юные, веселые и, судя по всему, вполне привыкшие к синагогальной атмосфере? Все же нашли они дорогу в старую московскую синагогу...

Как, впрочем, и ты сам, подумал Вилковский. Правда, я уже побывал здесь два раза, но в первый раз я пришел лишь для того, чтобы выполнить долг перед отцом и матерью, меня привела боль, а десять лет назад пришел скорей из любопытства. Теперь причина другая, совсем другая.

Причиной были как раз эти молодые люди в ермолках, и он готов был признаться, что еще на даче, когда впервые подумал, что если сегодня Иом-Киппур, то ему следовало бы съездить в синагогу, он хотел не только услышать Кол-Нидре, но и увидеть новых советских евреев — иначе он не мог их назвать, — тех, кто уезжает или борется за право уехать в Израиль. Он знал, что по субботам и другим еврейским праздникам их можно видеть в московской синагоге.

VII

Первого из этих новых евреев встретил он вскоре после Шестидневной войны на Рижском взморье.

Там, в Дубултах, где даже в жаркие месяцы дует прохладный ветер с севера, идут дожди, светит щадящее солнце, началось тем летом в писательском Доме творчества, состоявшем из нескольких ветхих коттеджей, строительство многоэтажного корпуса с большими окнами, лоджиями, плоской крышей, откуда открывался вид на пустынный морской залив, а с другой стороны на пойму реки Лиелупе с островами и плавнями. Рижский архитектор, проектировавший этот дом и наблюдавший за его строительством, открыто восторгался Израилем, рассказывал всем, кто хотел его слушать, что он уже дважды подавал заявление с просьбой разрешить ему туда уехать на постоянное жительство и дважды получал отказ. Архитектор был маленький и страшно худой человек лет сорока пяти со слегка побитым оспой лицом и петушиными глазами. О желании эмигрировать он говорил как о самой естественной вещи:

— Я стал сионистом уже в пятнадцать лет, еще в буржуазной Латвии. Разве я не прав? Еврейского государства тогда не было, теперь оно есть. А? Вы что-то сказали?

Нет, Вилковский ничего не сказал.

— Вы думаете, я один? — продолжал архитектор и небрежно добавил: — Три тысячи заявлений лежат в Рижском ОВИРе.

— А если вас не выпустят? — спросил Вилковский.

— Выпустят! — уверенно сказал архитектор. — Людей выгоняют с работы, но они не отказы-

ваются от своего намерения. Остановить движение не удастся, и как только они это поймут, нас выпустят. А? Что вы сказали?

Вилковский ничего не сказал. Но он вспомнил такой же умеренно теплый летний день 1948 года, когда он стоял здесь, почти на том же месте, и смотрел на те же сосны, песчаные дюны и бледно-голубую равнину ни капельки с тех пор не изменившегося Рижского залива, и слушал, как два известных еврейских поэта Ицик Фефер и Перец Маркиш³³, отдохавшие тогда в этом же писательском доме, говорили об Израиле. Обоих можно было часто видеть в парке или на берегу моря, прогуливающимися у песчаных дюн и все время о чем-то оживленно разговаривающими. Однажды, встретив Вилковского и одного из его друзей, Перец Маркиш остановился, пожал им руки и спросил на идише:

— Как поживают евреи?

Маркиш был высокий, крепкий мужчина с красивым скульптурным лицом и густыми, слегка курчавящимися, уже начинающими седеть черными волосами.

— Читали московские газеты? — спросил Фефер, маленький, щуплый, в толстых очках, похожий на серьезного еврейского мальчика.

— Нет, — сказал Вилковский. — А что случилось? Есть новости?

— Да, — сказал Фефер. — Хорошие новости. Израиль сумел мобилизовать сто тысяч евреев.

— Сто тысяч золотых евреев, — сказал Маркиш на идише. — Они воюют с армиями всех арабских государств.

— Пусть теперь кто-нибудь попробует утверждать, что евреи не умеют воевать, — сказал Фефер.

— А вы сомневались? — спросил друг Вилковского. — Разве советские евреи плохо воевали?

Увы, это не предотвратило Бабий Яр...

— Вот, вот, — сказал Маркиш. — Больше это не должно повториться.

— Израиль не одинок, — сказал Фефер. — Мы стоим за Израиль.

— Кто мы? — спросил Вилковский.

— Мы — это Советский Союз. Товарищ Сталин лично. Следите за газетами, скоро будут новости.

— Какие новости? — спросил Вилковский.

— Увидите, — сказал Фефер. — До конца вашего пребывания здесь будут новости. Вспомните мои слова.

Вилковский удивленно посмотрел на него:

— А вы разве уезжаете?

— Возможно, — многозначительно сказал Фефер и переглянулся с Маркишем.

— Да, — подтвердил Маркиш. — Вполне возможно, что мы уедем раньше срока. По вызову из Москвы. Вы понимаете?

— Нет, — сказал Вилковский. — Не понимаю.

— В Москве ждут посла нового государства, — сказал Фефер, понижая голос. — Его надо встретить. Еврейский антифашистский комитет должен сыграть свою роль.

Разговаривая, они вчетвером вышли к берегу и увидели хмурый Балтийский залив, песчаные дюны и чаек над белой, пенистой кромкой волн. На границе дюн, у высокой сосны стоял писатель Василий Гроссман, тоже отдохавший в то лето на Взморье. Фефер стал и ему говорить все то, что до этого говорил Вилковскому и его другу, но в конце добавил новую деталь: в Еврейский антифашистский комитет приходят письма от бывших фронтовиков-евреев, выражающих желание ехать добровольцами сражаться за Израиль. Гроссман слушал молча, спокойно, со свойственным ему выражением печального, усталого человека, ко-

того не так-то легко удивить и вывести из привычной медлительности. Но, услышав о письмах, он вскинул глаза на Фефера и быстро спросил:

— А что вы с ними делаете?

— С письмами? Немедленно отсылаем в ЦК! — ответил Фефер. — Отсылаем все до единого! — добавил он все тем же восторженно-взвинченным тоном.

Когда Фефер и Маркиш ушли, Гроссман вдруг сказал тихим, удивленным и вместе с тем уже каким-то безнадежно-печальным голосом:

— Вы представляете себе, куда эти письма попадают?

Несколько месяцев спустя, когда Фефера и Маркиша арестовали, Вилковский и его друг не раз вспоминали тот разговор на Рижском взморье, перебирая в уме все, что было сказано, ища объяснение арестам. В те годы для любого ареста находились объяснения, разумеется, уже после того, как о нем становилось известно, хотя накануне ни один нормально мыслящий человек не считал бы такой арест возможным. Но вот Гроссман, тот кое-что понимал... Василий Гроссман был одним из самых умных и проницательных людей, которых Давид Вилковский когда-либо встречал в своей жизни, он многое предсказал. Но свою собственную судьбу Гроссман не смог угадать. Пройдут годы, и Вилковский с горечью будет вспоминать, что и Гроссмана, который так рано понял многое из того, чего другие не понимали, не миновала горькая чаша... Но пока что Вилковский вспоминал Фефера и Маркиша. И все время задавал себе один и тот же вопрос. Разве восхищение Фефера и Маркиша государством Израиль противоречило их советскому патриотизму? Нет, еврейские советские писатели были убеждены, что их чувства не расходятся с политикой Сталина. Они лишь забывали, что политику Сталина мог

знать только Сталин. Они верили в идеи, в слова, в принципы, но не верили тому, что видели своими глазами. Они и не могли в это поверить, потому что не хотели, чтобы это оказалось правдой. Может быть, они ничего не знали? Нет, разговор Вилковского с Фефером и Маркишем на Рижском взморье состоялся после убийства Михоэlsa...

— Мы обязательно уедем, — сказал рижский архитектор после паузы. — Не спорьте!

Вилковский и не думал с ним спорить. Архитектор высказывал свои мысли так ясно и отчетливо, что видно было: у него нет никаких сомнений. Глядя на его упрямое лицо, на горящие от возбуждения глаза, Давид Вилковский все вспоминал тот далекий разговор, который случился почти на этом самом месте, и думал: так вот чем все кончилось? Фефер и Маркиш, всю жизнь послушные воле партии и Сталина, — убиты. Та же участь постигла старого большевика Лозовского, председателя Еврейского антифашистского комитета, наверное, никогда не придававшего значения своему еврейскому происхождению и своему имени-отчеству: Соломон Абрамович. Расстрелы еврейских деятелей сопровождалось закрытием еврейских газет; понятие "еврей" продолжало существовать лишь как отметка в паспорте, в анкете, как удобный предлог для бдительности и подозрительности. Неужели этим и были подготовлены причины для появления нового типа советского еврея?

Возвращение евреев на свою историческую родину называется "алия"³⁴, сказал рижский архитектор. Советская алия? Даже в сочетании двух этих слов было что-то неправдоподобное.

Вначале все это напоминало внезапную вспышку эпидемии, стремительно распространяющейся по всей стране. Вирус-передатчик, к кото-

рому были чувствительны только евреи (впрочем, далеко не все евреи), проник из Риги и Вильнюса в Минск, Черновцы, Кишинев, Одессу, почти одновременно объявился в Москве и Ленинграде, затем, совершив неожиданный огромный скачок, вдруг обнаружился в Тбилиси. Еще один резкий бросок на восток, и о нем заговорили в Ташкенте, в Бухаре, в Душанбе.

Может быть, не вирус, а идея? Или даже слово? "Вначале было слово". Новое слово, пришедшее издалека, но проникшее с непостижимой силой в души советских евреев? Между идеями и вирусами много схожего, думал Вилковский. Идеи тоже размножаются, эволюционируют, преобразовываются согласно законам естественного отбора, использующего соблазны преимуществ, которые новая идея предоставит (или только сулит предоставить?) отдельным людям или социальным категориям, группам. А если алия вовсе не связана с новой идеей, новым словом, сигналом, пришедшим из Сиона, а есть некая мутация старой идеи, давно блуждающей вокруг душ многих русских евреев и заставляющей их теперь по-новому мыслить, воображать, действовать?

— Как вы не понимаете, что другого выхода у евреев нет? — гремел тот рижский архитектор, твердо глядя на Вилковского своими темными, как вишенки, глазами.

— Но ведь Израиль тоже не выход, — отвечал Вилковский. И принимался доказывать, что проблемы советских евреев не могут быть решены путем эмиграции. В Советском Союзе почти три миллиона евреев, вместе с полукровками их значительно больше; говорят, что людей, состоящих в родстве с евреями, уже восемнадцать миллионов. Что же делать? Сколько из них захотят и смогут уехать, даже если эмиграция станет свободной? Нет, еврейский вопрос нельзя отделять

от других нерешенных вопросов.

— Меня интересуют только евреи, — перебивал архитектор. — Настоящие евреи.

— А кого вы считаете настоящими евреями? — спрашивал Вилковский.

— Тех, кто сами думают, что они евреи, и желают оставаться евреями. А что? Или вы скажете, что Михаил Львович еврей?

Михаил Львович был директором того писательского дома, где происходил этот разговор. С виду очень тихий человек лет под шестьдесят, с печальным лицом, о каких обычно говорят, что на нем запечатлены беды еврейского рассеяния; в его тоскливых глазах, которые он никогда не поднимал на собеседника, в его обращении, даже в звуке голоса было что-то унылое и тягостное, как будто он беспрестанно испытывал тайные мучения. При всем том он пользовался заслуженной репутацией чиновника, готового лизать ягодицы начальству и хамить остальным.

— Ну что ж, Михаил Львович еврей, — сказал Вилковский. — Этого у него отнять нельзя.

— А знаете, чем он хвастал не далее как два дня назад? Видали, говорит, как удачно я заселил Белый дом? Лучшую комнату я отдал Герою Советского Союза, в других двух комнатах живут два полковника МВД, на втором этаже — член-корреспондент Белорусской Академии наук и драматург Арбузов. И ни одного еврея!.. Bravo, говорю, вы осуществили идеал Гитлера: юденфрай!³⁵ Поздравляю!.. Ну да, говорит, буду я селить тут Израиль!

Люди, с которыми общался Вилковский в Москве, — журналисты, работники искусств, — вечно волновались слухами, вечно гадали о будущем и время от времени встречались в Домах творчества, которые при отсутствии гостиниц, пансиона-

тов, приличных кафе, а в недалеком прошлом — и отдельных квартир, служили не только этакой материальной привилегией творческих работников, но и предоставляли возможность свободного общения — но в узком кругу "своих".

Опять Дом творчества. Но в этот раз уже не на берегу моря, а в Подмоскowie, в сосновом лесу. Большой гипертонический круг — так называлась круговая аллея, по которой обычно прогуливались обитатели этого дома, вдыхая морозный воздух и любуясь крупными зимними звездами, сияющими среди сосен в темном небе. В ту зиму на этом круге с ироническим названием все меньше и меньше говорили о том, что "замзав Куницын сказал о Солженицыне". Было совершенно ясно, что автору "Одного дня Ивана Денисовича" не удастся больше опубликовать ни единой строчки на своей родине, а открытая им тема уже "исчерпана" и "не в фокусе". Зато появилась новая тема для разговоров, слухов, домыслов: еврейская алия.

— Слыхали? В Брюсселе собрался международный конгресс в защиту советских евреев. Но обсуждается положение только тех евреев, кто хочет уехать в Израиль.

— Вас это удивляет? Полагаете, что им следует заняться и вашими делишками? Разве вы считаете себя евреем?

— Я еврей, но что я не видел в Израиле? Евреев с пейсами, в ермолках и белых чулках? Не хочу я жить среди религиозных фанатиков и националистов.

— Можно подумать, что вы всю жизнь провели среди принципиальных интернационалистов. Вам никогда не говорили в глаза "жид"?

— Погодите. Вот я тоже не хочу никуда уезжать. В России живут свыше ста народностей, даже айсоры.

— А евреи — народ?

— Эвенки — народ! Чукчи — народ! А евреи нет?

— Но ведь мы не знаем ни еврейского языка, ни обычаев. Какие же мы евреи?

— А кто мы, по-вашему?

— Кто я — можно определить по моим книгам.

— А вы забыли, как вам объясняли, что вы портите русский язык? Боже, как легко мы все забываем! Вы забыли стишки Сережи Васильева? Гуревич за Сутыриным, Черняк за Гоффеншефером, Смутьсон за Кацнельсоном... Один проник в кино, один за горло прозу взял, другой прижал поэзию...

— Ну и пусть такие, как он, хотят, чтобы мы всегда чувствовали себя евреями. Мы им этого удовольствия не доставим. Пусть мне ставят в паспорт любую отметку — я остаюсь самим собой, вне всяких рубрик и отметок.

— Bravo! Это называется "авцэлухэс" — назло! За это как раз и бьют.

— Сотрудница одной редакции, простая женщина, мне на днях сказала: "У нас теперь много говорят о евреях. Есть три категории: полезные, бесполезные и вредные. Вы, Марк Моисеевич, были бесполезным, но стали вредным. Ваша задача: вновь стать бесполезным".

— Тише... Вот идет Сергей Островой.

→ Так он же сам еврей: Моня Фукс. Хоть пишет всю жизнь стишки о русских березках.

— Вот-вот. Вы хотите, чтобы Брюссельский конгресс волновался из-за Мони Фукса?

— Я хочу одно: уж коль скоро зарубежные евреи задумались о нашей судьбе, не мешало бы им посмотреть в глаза действительности. Один американский раввин недавно требовал, чтобы у советских евреев были школы на еврейском языке. А кто будет ходить в эти школы? Еврейские школы

могут появиться лишь в том случае, если евреев изолировать, загнать в гетто, переселить куда-нибудь в Биробиджан или за Полярный круг.

— В тридцатых годах у нас не было гетто, однако существовали еврейские школы, театры, газеты.

— Тише! Помолчите. Идет Шкерин.

— Он тоже еврей?

— Нет. Он антисемит. Однажды он тут написал жалобу на диетсестру и повара за то, что в меню появилось "жаркое кисло-сладкое" — псевдоним еврейского блюда "эсекфлейш". Этого не смогло стерпеть его честное русское сердце.

— Пустяки. В Коктебеле жил прошлым летом поэт, работник издательства "Советский писатель". Он ходил по поселку с толстой палкой и, не переставая, говорил про жидов. Полным-полно жидов, говорил он. Вот бежит собака — наверное, жидовская, понаехали жиды и привезли жидовских собак... Однажды он ударил собаку так, что переломил ей хребет. Вот какие пошли трубадуры прекрасного.

— Вот на днях пришел в столовую Васька Федоркин и увидел Циммермана, на лице которого написана, как говорится, вся история еврейских бед. И вдруг Васька впадает в сильнейшее возбуждение и, показывая на потолок, начинает кричать на всю столовую: "Они — такие-растакие!" и сует кулак в потолок, так что всем ясно, кого он имеет в виду: начальство, причем самое высокое. "Что же они мудруют? Появилась okazия избавиться от э т и х, сами хотят уезжать, а они не пускают. Почему не выпускают? Пусть едут все!" Тут он подскочил к Циммерману, обнял его за плечи: "Ты уезжаешь? Тогда ты мне лучший друг. Вам всем надо уезжать... А они — снова жест в сторону потолка — так их и так!"

— Разрешите мне сказать два слова в защиту

Васьки. Думаю, что в глубине души он, вероятно, человек хороший.

— А мы-то, дураки, не догадывались.

— Я не шучу. Когда такие, как Васька, сходятся за бутылкой, они говорят: "Ты меня уважаешь? Ты русский? Я тебя уважаю". Это значит: мы русские, славные ребята и друг друга уважаем. Но откуда же все гадости вокруг нас? Не иначе как евреи виноваты.

— Это почти по Фрейдю: евреи как воплощение собственной мерзости.

— Это скорее по Мише Светлову. Помните его эпиграмму на горбатого Смирнова? "Поэт горбат. Стихи его горбаты... А кто же виноват? Евреи виноваты".

— Что это — комплекс неполноценности? Я знаю одного молодого переводчика, который в упор говорит, что еврейский вопрос можно решить единственным путем — физическим уничтожением всех евреев.

— Он что, гитлеровец?

— Когда жил Гитлер, этот еще под стол пешком ходил. Нет, он сам додумался до "окончательного решения" еврейского вопроса. В Германии уже лет тридцать, как говорят и пишут о Гитлере в основном правду. У нас же кто из молодых знает, что такое эндлезунг, холокост?³⁶ Где книги, кинофильмы, исторические исследования по этому вопросу? Зато печатаются статьи и романы, в которых доказывается, что все связанное с евреями — зло. Уже Тора — это источник фашизма. Именно фашизма, империализма, а не чего-либо другого. Первые фашисты — это авторы Библии, а сегодня это сионисты и сионистствующие. Особенно хороши сочинения, в которых говорится, что если евреев когда-нибудь и убивали, то они сами виноваты, а скорее всего — это делали их соплеменники.

— Значит, в Брюсселе собрались не дураки! Надо уезжать.

— Совершенно верно.

— Что верно? Вот вы, например, уедете?

— Я ничего не умею делать, кроме как переводить стихи на русский язык. В Израиле это не нужно.

— Это нигде не нужно.

— Да, да. Он прав — нам некуда уезжать.

— Разве все советские евреи поэты и переводчики?

— И это верно. Но думаете, что всяким там завхозам, экономистам и даже инженерам будет легко приспособиться к проклятому капитализму, где надо дело делать, иначе тебя в два счета выгонят?

— Речь идет главным образом о детях. Моему внуку шесть лет. Недавно пришлось поместить его в больницу. На другой день приходит к нему мать и видит, что он чем-то страшно расстроен, лежит на своей койке, накрыв голову одеялом, и ни с кем не хочет разговаривать. С трудом ей удалось узнать, что с ним произошло. Когда он появился в палате, другие больные дети его спросили: "Ты кто?". Вместо того, чтобы назвать свое имя, он вдруг выпалил: "Я еврей". И сразу же нашлись пацаны, которые уже в свои шесть лет знали, что нехорошо быть евреем. И они начали его ругать и дразнить: "Ах ты, такой-сякой". Он испугался, а еще больше обиделся... Так что дети иногда лучше понимают то, чего мы с вами не хотим понять.

— А я скажу вам так: хватит с меня, что я участник трех войн и чудом остался жив. Не хочу я, чтобы мои дети воевали с арабами.

— А с китайцами?

— Ну, до этого еще далеко.

— Вы уверены? Можете поручиться?

И так далее — с множеством вариаций, умозак-

лючений и предположений, не имеющих никакого практического значения, потому что те, кто вели эти разговоры, все равно никуда не собирались уезжать.

Среди них было немало людей достойных, даровитых, способных судить о многих вещах умно и проницательно. Были среди них и такие, кто высказывал твердое убеждение, что положение советских евреев будет ухудшаться, а в случае каких-нибудь чрезвычайных внутренних или внешних событий колесо еврейской судьбы может повернуться вспять и опять приблизиться к тому опаснейшему положению, к которому оно неуклонно приближалось в начале пятидесятых годов, но тогда случилось нечто совершенно неожиданное, на что никто и не рассчитывал: малех амовес³⁷, метавшийся над Москвой и еле поспевавший за приговорами тайных судилищ, вдруг, без всякого решения ОСО или Военной коллегии Верховного Суда, проник без личного указания товарища Сталина на его дачу, не учуянный овчарками, не задев черными крылами сигнализацию, а когда покинул ее, бездыханный труп Бессмертного остался распростертым на полу спальни, готовый для бальзамирования, которое тоже не сделало тело нетленным, поскольку его вскоре вынесли из мавзолея и зарыли, как труп простого смертного, в сырую землю. Но практических выводов из своих мрачных прогнозов эти люди не делали. Они любили вспоминать двадцатые годы, сравнивать их с тридцатыми и сороковыми, оценивать, подсчитывать, в скольких организациях и учреждениях уже осуществлен "номерус клаузус" или даже "номерус нулус"³⁸, а в скольких действует пока негласный принцип так называемых "трех не": евреев на работу не принимать, уже работающих не увольнять, но и в должности не повышать. Разговоры эти раздражали Вилковского, как разговоры

больных о болезнях.

Алия — фикция, миф или новая реальность?

В мире, где жил Вилковский, с особенной легкостью отрицалась действительность, если только она мешала кому-то чувствовать себя правым. Так как евреи, которых он знал, понимали, что алия отразится и на их жизни, — хотели они этого или нет, они все же были евреями, и на них смотрели как на евреев, — многие из них попросту алию отрицали. И пока одни уезжали, а другим отказывали в визе, в подмосковном Доме творчества на большом гипертоническом круге время от времени шел все тот же старый, нескончаемый разговор, в котором собеседники никогда не соглашались друг с другом, потому что каждый из них всегда жил только в своем мире.

— Стойте, стойте! Зарубежным евреям простиительно рассуждать о свободе эмиграции, но не нам с вами. Не было у нас такой свободы и никогда не будет.

— Не скажите. У нас всегда начиналось с запретов: запрещали кибернетику, теорию Менделя, Кафку, рок-н-ролл, узкие брюки, шорты: на курортах мужчин в шортах уводили в милицию. Но Кафку давно напечатали, шорты и джинсы выпускает теперь госпромышленность.

— Ну, знаете, разрешение ходить в шортах не затрагивает основного принципа, который состоит в том именно, что вам разрешили так ходить. Разрешить можно не только шорты, но даже ходить голышом, если "компетентные инстанции" сочтут, что так надо. Но свобода эмиграции посягает на основной принцип. Разрешите евреям уезжать, и тут же появятся новые охотники: немцы, например. Потом украинцы.

— Сколько их будет, охотников? Народы в целом никуда не уезжают.

— Правильно. Народы ссылают, как это сделал

товарищ Сталин. Можно даже представить себе, что в какой-то момент он принял бы решение о высылке евреев в Израиль. Но это было бы р е ш е н и е, а не свобода для каждого желающего. Смекнули, в чем разница?

— Я слушаю вас и удивляюсь — неужели вы не видите, что эмиграция стала фактом?

— В самой крепкой плотине иногда появляется брешь. Но ее заделывают. Уже сейчас просматривается тенденция: кто очень хочет уехать, его то и не пускают, а того, кто не хочет уезжать, — именно его выгоняют в Израиль. И знаете ли вы, что, кроме характеристики с работы и разных справок, нужно еще согласие ближайших членов семьи? Муж за отъезд — жена не соглашается. Жена за отъезд — муж не соглашается. Сын хочет — мать или отец против. Родители хотят — дети не согласны... Чиновники из ОВИРа оказались тонкими знатоками человеческой психологии. Вокруг этих бумажек разыгрываются такие драмы, до которых ни один драматург не додумался.

— Ну и пусть. Но весь мир знает об этой проблеме, и мировое общественное мнение не допустит...

— Я думал, вы серьезный человек, а вы дитя. Мировое общественное мнение еще и не такое допускало. Ему объяснят, что нет больше желающих, например. Думаете, не поверят? Разве Сартр не написал однажды, после очередной поездки в Москву с соответствующими обедами в "Арагви", что советская интеллигенция не ездит на Запад, потому что она этого не хочет? Я с советскими говорил, написал Сартр, и они мне объяснили: они не хотят ездить, им неинтересно, они очень заняты дома.

— Теперь этим занимаются уже не западные интеллектуалы, не сартры, а евреи, у которых душа болит. Или вы отрицаете боль еврея за евреев?

— Нет. Еврейская боль существует. Но разве не существует и еврейская любовь к бизнесу? Есть евреи, которые и из боли умеют сделать бизнес. Вся еврейская филантропия построена на бизнесе. Нужно ли ездить в Америку, чтобы понять, что существует "биг бизнес" именно в филантропии? И сочувствие к нам тоже включено в этот бизнес. Думаете, что профессионально сочувствующие будут лучше Сартра? О, как мы еще наивны. Но главное, конечно, не это. Главное — никто не думает о последствиях. Я уезжаю, и точка. А те, кто остаются? Кто-то уедет, но кто-то останется, их всегда будет больше, им-то и будет худо. О них уже можно будет потом спокойно сказать: не наши люди. О, как легко мы все забываем. Я знал одного еврея, которого посадили в пятьдесят первом и спросили: "Вы признаетесь, что на пасху правили седе́р?"³⁹ — "Признаюсь". — "Значит, вы говорили "Ле-шана ха-баа бе-Ерушалаим" — В будущем году в Иерусалиме?" — "Говорил". — "Ну вот, значит, вы сионист. Десять лет лагерей строгого режима. Распишитесь, что ознакомились с приговором". Все.

— Вы бесконечно правы. В Израиль уедут несколько тысяч, не больше, а остальным станет хуже. Как раз из-за уехавших им станет хуже.

— Старо. Очень старо.

— Что именно?

— Ваши поиски новой причины еврейских бедствий с непременным желанием найти ее в самих евреях. А в сорок восьмом, когда никто еще не собирался в Израиль, в чем была причина объявления Еврейского антифашистского комитета шпионской организацией?

— В Сталине.

— Правильно. Тогда был Сталин. А во время войны был Гитлер. А до войны был еще кто-то. Словом, всегда находится кто-то или случается

что-то, не имеющее, в сущности, отношения к евреям и к их поведению. Зачем обязательно искать причину еврейских бед только в самих евреях?

Но, вероятно, в мире, в объективном, существующем вне всяких желаний мире, уже что-то произошло или в это время происходило — новое и необратимое, потому что, несмотря на все препятствия, приток заявлений в ОБИРы увеличивался.

”Первый Ленинградский самолетный процесс”. ”Второй самолетный процесс”. Два смертных приговора, две ”вышки” за намерение захватить самолет людьми, доведенными до отчаяния невозможностью эмигрировать легально. И полтора десятка ”обычных” приговоров по десять, восемь и пять лет за то же преступление.

Оказалось, что существует в России сила, с которой не может не считаться даже сверхсильная власть. И что есть закон перехода насилия в сопротивление; его всегда игнорируют те, кто верит, что насилие вечно и всеильно, хотя минимально элементарное знание истории могло бы им подсказать, что они ошибаются. Словно плотину прорвало. Чтобы ослабить давление, выпустили двадцать или даже тридцать тысяч человек. В следующем году уехало еще тридцать тысяч. Алия стала неоспоримым фактом. В молодости Вилковский жил в мире абстракций, превратившихся в мифы, теперь он все больше значения придавал фактам, голым фактам. ”Самолетные процессы” происходили где-то страшно далеко от среды, в которой он жил сам. Но после них он стал все чаще встречать людей, для которых алия была неотвратимым роком, судьбой.

Вот они, эти люди — несколько встретившихся на его жизненном пути образов.

Яков Штернберг.

Человек средних лет с очень мягкими и покорно-печальными глазами, с темными, заче-

санными назад волосами, небрежно одетый, робкий, несмотря на затаившуюся в нем энергию и страсть, с типично еврейской манерой разговаривать, пересыпая речь словечками и притчами из Библии и Талмуда. Он появился в Москве из Бухареста, где был очень известен как поэт, деятель культуры на идише, а еще больше как режиссер еврейского театра, на премьеры которого приходили даже румыны, не понимавшие ни слова по-еврейски, привлеченные необычностью его театральных представлений, которые открывали зрителю еврейский мир — самобытный, ни на что не похожий, даже несколько фантастический мир еврейского местечка, с его фанатичными хасидами и не менее фанатичными безбожниками, с его талмудистами, веселыми бедняками и мальчишками-бунтарями, рвавшимися прочь из местечкового гетто. Типичный интеллигент, глубоко преданный еврейской культуре, Штернберг свято верил, что когда-нибудь и где-нибудь должна восторжествовать Справедливость и для евреев. Румынские коммунисты убедили его, что это уже случилось в Советской России, так что когда в сороковом году Бессарабия стала советской, Яков Штернберг, родившийся в этом краю, покинул Бухарест и вернулся на "освобожденную родину", полный самых радужных надежд.

Война, эвакуация, развал еврейского театра, который Штернберг успел создать в Кишиневе, возвращение из эвакуации, но не в Кишинев, где делать ему было нечего, а в Москву, где он тоже вскоре оказался в духовном вакууме... Пережив гибель миллионов евреев от рук нацистов, распад связей, крушение восточноевропейской культуры на языке идиш, Штернберг раньше и острее многих еврейских писателей-москвичей, давно привыкших ко всякого рода жутким кампаниям, как к смене времен года, почувствовал приближение

особой беды, которая обрушится именно на евреев.

— Вы когда-нибудь слышали о докторе Бикеле? — спросил он Вилковского во время одной из случайных встреч в Москве в первые послевоенные годы. — Это был еврейский культурный деятель в Бухаресте тридцатых годов. Я часто его теперь вспоминаю. Настоящий ум — когда человек способен судить о вещах не только по личному опыту; не обязательно разбить себе лоб, чтобы понять, что перед тобой стена. Доктор Бикель был именно таким человеком. Знаете, почему он уехал из Бухареста? У него было прекрасное положение, и вдруг он стал готовиться к эмиграции в Соединенные Штаты. Все были поражены, в том числе и я. Помню, как он объяснял свое решение. Гитлер нависает над Европой, сказал он, а здесь, в Румынии, у нас одна защита — восточный сосед. Я люблю Россию, но этому грузину с низким лбом и усами я не верю. Где-то я прочитал, что один поэт получил там премию за стихи, воспевающие мальчика, который донес властям на собственного отца. Никто не убедит меня, что такой поступок сына достоин восхваления. Один этот факт ставит под сомнение все остальное... — Голос Штернберга замер на несколько мгновений, словно он подбирал дальнейшие слова. — Да, вот это, по-видимому, и было настоящим умом. Потому-то я часто вспоминаю Бикеля. Но, вероятно, поздно об этом думать... И бесполезно — нож времени не остановится.

Убийство Михоэлса. Арест Маркиша, Фефера, Квитко, Галкина, многих других. И неотвратимо наступил хмурый, зимний день, когда Вилковского разбудил утром телефонный звонок, и он услышал в трубке тихий, дрожащий голос жены Штернберга — Оттилии Григорьевны, голос все расширяющейся, все углубляющейся еврейско-со-

ветской беды: "Яков Моисеевич тяжело заболел. Понимаете?". Ну, конечно же, он сразу понял: "тяжело заболел" было тогда самым употребительным иносказанием, обозначающим исчезновение человека, его арест, конец.

Но и это прошло. Наступил пятьдесят третий год, пятое марта, четвертое апреля. Оттепель, эпоха "позднего реабилитанса". Яков Штернберг вернулся в Москву, как говорили тогда, "полностью реабилитированный", опустошенный, усталый, притихший.

— Вы знаете, что такое "тумэ"? — спросил он, сидя на кухне новой квартиры Вилковского, оборудованной финской мойкой из нержавеющей стали и белыми шкафчиками, казавшимися в ту пору москвичам, прожившим всю жизнь в коммунальных квартирах, верхом роскоши и комфорта; Штернберг попросил сварить ему кофе по-турецки, но к своей чашке не притронулся:

— Вы знаете, что означает "тумэ"?

— Нечистый, оскверненный?

— Да, приблизительно так, хотя смысл этого древнееврейского слова богаче. Мне бы хотелось написать книгу: "Их бин тумэ" — "Я осквернен". С тех пор, как я вернулся из заключения, я чувствую себя пропахшим грязью, скверной. Я безусловно не такой, как все остальные люди, я — тумэ...

Он придвинул к себе чашечку с горячим кофе. У него дрожали пальцы, он не решался поднести ее к губам. Так и не пригубив, продолжал:

— В лагере я считал себя как бы уже умершим. То, что я еще не стал разлагаться физически, не имело большого значения; наш лагерь был расположен на севере, в районе вечной мерзлоты, и я знал, что мое тело все равно не сгниет, черви его не съедят. На окружавших меня зэков я тоже смотрел, как на мертвых. Как удивлял меня один еврейский поэт, который и там продолжал писать

стихи; он даже нашел слушателей среди бандеровцев; лагерный мир — безумный мир. Однажды я сказал этому поэту: "Вы пишете то же самое, что писали на воле, но теперь все у вас наоборот". Он запустил грязные пальцы в свои черные курчавые волосы и наивно спросил: "А что тут плохого? Я переменял свои убеждения". Я сказал: "Если вы решили покаяться, то обязаны хоть некоторое время молчать. Разве вы не знаете, что у евреев "бал-чуво"⁴⁰ — "кающийся грешник" — обязан молчать?"

Он, наконец, пригубил из своей чашечки. Вилковский смотрел на его серое землистое лицо, на поредевшие, но все еще почти не тронутые сединой волосы, на глаза, в которых затаился туман усталости, какой-то даже потусторонности. Штернберг продолжал тихо, невыразительно:

— После освобождения из лагеря я вернулся в Москву. Стал по утрам гулять на Тверском бульваре — я жил рядом. Пришла весна, я видел чистое небо, зеленеющие деревья, но все это меня не радовало. Я думал словами Талмуда: "Я не имею права говорить, как красиво это дерево". Потом случилось чудо: я влюбился в женщину и стал опять писать стихи. Только о любви, ничего другого я писать не мог. И это тоже мучило меня. А где же все остальное? — спрашивал я себя. Где те мысли, чувства, что всегда волновали меня? Где остальные источники души моей? По ночам я продолжал слышать собачий лай — за лагерной оградой всегда лаяли сторожевые псы. Собачий лай, собачьи годы — как мне их забыть? Днем и ночью в лагерном воздухе стояла матерщина на всех знакомых и незнакомых мне языках. Помню одного начальника режима, человека с большими, толстыми ушами, который приходил иногда в барак в два, в три часа ночи. Он любил поговорить, а речь его состояла из сплошной похабной

матерщины. "Эй вы, мать вашу так перетак, в Бога отца и сына, Богородицу и всех святых угодников из календаря до гробовой доски, в будни и праздники не так и не переэтак". Заключенные обязаны были стоять смиренно у своих нар, а начальник матерился. Среди нас были пожилые люди, старики, среди них много верующих, которые часто молились, думали о душе и Боге. И вот они тоже вынуждены были слушать, как начальник режима на все лады склоняет похабные слова, бившие по их ушам, как палочные удары. Однажды я видел, как один из этих стариков слушал с широко раскрытыми глазами и по щекам его бежали слезы... Чувствую, что и для меня это даром не прошло, я до сих пор пропитан зловонной матерщиной. Она меня замарала. Где былая свежесть и чистота души моей? Где те нежные, чистые слова, которыми она была когда-то полна? Я — тумэ...

Он опять замолчал и молча допил свой кофе. Вилковский сказал:

— Довольно. Поговорим о другом.

— Да, конечно... Но и от таких разговоров мне уже не уйти. Что бы ни случилось в моей жизни, к каким бы мирным берегам ни прибила меня старость — лагеря мне уже не забыть. Вы, конечно, знаете легенду из Талмуда, помещенную в комментариях к псалмам: "Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть у меня отсохнут пальцы". Покидая родину, изгнанники говорили: "Как мы будем петь на чужбине сионские песни?". И чтобы не поддаваться искушению, отрезали себе пальцы. Меня унизили и осквернили. Пересохли источники души моей. Я тумэ... Чем мне жить дальше?

Они мало-помалу опять обнаружили, источники его души. И хлынула новая свежая струя, спасшая его от бесцельной скорби и опустошающей усталости, вселившая в него новые и новые

надежды, несмотря на муки памяти и неумолимое старение: Израиль! В начале шестидесятых годов Штернберг понял, ощутил всем своим существом, что только в Израиле он смог бы продолжать творческую работу. Вновь закипела его фантазия, удлинилось дыхание, появились новые замыслы, новые темы в стихах и прозе, о которых он рассказывал удивительно точно, тонко, с увлечением совсем молодого человека. Но иногда, во время таких разговоров, глаза его наполнялись слезами.

Потому что, несмотря на все планы, он не подавал документов на выезд в Израиль.

— Меня не выпустят, — говорил он устало и печально, притрагиваясь прозрачными пальцами к своей чашечке "тонкого", то есть слабого кофе, который он пил, когда бывал в гостях у Вилковского, пока не наступил день, и ему пришлось и от него отказаться, доктора запретили. — Нет, Желтый не допустит, чтобы мне дали визу... — Человека, который распоряжался единственным еврейским журналом, еще выходящим в Москве, Штернберг называл "Дер гэйлер" — Желтый; впрочем, так называли его и другие писатели, кому были дороги судьбы литературы на идише. — Вы не знаете, на что он способен! Это особый тип, их несколько таких в нашей литературе. Слыхали вы когда-нибудь о профессоре Ойслендере? Он работал с пылом еще в Евсекции⁴¹. Не был членом партии и, представьте, как раз после смерти Сталина стал считать себя самым правоверным. Такой же была и его жена. Она уже умерла. До самой смерти говорила, что Маркиша, Фефера и других еврейских писателей правильно расстреляли. А над ее гробом муж произнес речь, которая могла бы войти в хроники Шекспира: "Спи спокойно, дорогая Рухалэ! Твои враги уничтожены. Здесь стоят только твои друзья. Вот, рядом со мной стоит Арон". Ну и так далее... Нет,

вы этих людей не знаете. Они напишут куда надо, и меня не выпустят. Могут отобрать пенсию, мой последний источник существования. Желтый знает, как трудно мне живется, он все еще надеется меня купить. Ведь он судит о других по себе. Придется еще подождать, может быть, со временем с визами станет легче.

Но с визами не стало легче... Носившийся в воздухе вирус или идея — Вилковский все еще не знал, как это называть, — продолжал, однако, распространяться и вселился в людей, которых совершенно не интересовал Израиль. Среди них были и неевреи, одержимые идеей переменить предначертанную судьбу. Вилковский жадно всматривался и в тех, и в других. Он хотел понять, что между всеми этими людьми общего, есть ли во всем этом какая-нибудь закономерность. Закономерности не обнаружил, зато выслушал множество мнений, слухов, рассуждений, противоречивых рассказов, новелл. Печальные, лирические, драматические, а подчас и комические новеллы о тех, кто уехали, уезжают или собираются уезжать.

Мало кто был из них готов к часу выбора. Выбор предполагал победу над привычками, сформировавшимися за жизнь нескольких поколений. Свободный выбор может делать лишь свободный человек, который освободился от гипноза страха, от автоматизма мышления и поведения, навязанного окружающей средой. Кто решался на выезд, тот казался, на первый взгляд, таким человеком. Но это иллюзия. Люди, решившиеся уехать, делали это по очень разным причинам, "другая жизнь", которую они теперь выбирали, тоже представлялась им по-разному. В эмиграции из Советского Союза соединилось несоединимое: смелость и страх, вера и неверие, святость и корысть, высокие чувства и низкие, мелкие побуждения.

Удивительные происшествия, истории, драмы...

Однажды Вилковскому рассказали историю, случившуюся в Прибалтике с одной рижской еврейкой, которая прошла с латышской дивизией весь ее фронтовой путь. На войне она вступила в партию, а после войны ее приняли на работу в рижскую вечернюю газету. Все, как говорится, шло хорошо и прекрасно. Но двадцать лет спустя после окончания войны она вдруг узнает, что ее родная сестра, не успевшая эвакуироваться, когда пришли гитлеровцы, не была убита нацистами, а живет в Израиле. И хочет приехать в Ригу в туристическую поездку — тогда отношения с Израилем еще не были прерваны. Прекрасно. Однако те, кому надлежит все знать, узнали об этой истории, вызвали рижанку "куда надо" и спросили: "Приезжает ваша сестра?" — "Да". — "И вы собираетесь с ней встретиться?" — "Ну конечно". — "А вы понимаете, что это несовместимо с вашей работой в печати?" — "Нет, не понимаю. В моральном кодексе строителя коммунизма сказано: человек человеку брат. А брат брату не брат? Сестра своей родной сестре — не сестра?" — "Ну, как хотите, мы вас предупредили". Когда сестра приехала, они, конечно, виделись. Но рижская сестра о своих неприятностях ничего не рассказывала, думала, что все обойдется. Как только израильянка уехала, рижанку уволили с работы. Год она искала другую работу, но ее никуда не взяли. Конец истории: она отправилась "куда надо", положила на стол свой партбилет и подала на выезд в Израиль. На этот раз кодекс сработал: рижанка уже в Израиле.

— Слушайте. Если вы уж хотите знать все, то я скажу вам пару слов. Я уезжаю потому, что мою жену зовут Сарра. Что? Вам это непонятно? А вы вообразите себе такую картину. Иду я с женой по улице. Разве женщина может пройти мимо какой-нибудь очереди и не спросить, что дают? Стоит

ли стоять или товар уже кончается? Но я терпеть этого не могу и кричу: "Сарра, идем!". И что же вы думаете? Сразу же объявляется в очереди хулиган, который начинает меня передразнивать: "Са-р-р-р-а... Са-р-р-роч-ка". Я поддаюсь на провокацию, а ему только это и нужно, чтобы обозвать меня жидом. Слово за слово, скандал... Что я имею с этого? Испорченное настроение на весь день. И такое может случиться на каждой улице, на рынке, в автобусе и даже на курорте. Можете вообразить себе пляж в Сочи или в Гудаутах? Море, солнце и все прочие удовольствия. А моя жена любит торчать в воде по целому часу, хотя она после этого простужается. Я, конечно, зову ее, кричу: "Сарра, выходи из воды". И что же вы думаете? Сразу же обнаруживается хулиган и тоже кричит: "Са-р-р-ра, вылезай из воды". Опять поймали меня на той же провокации. Вот тебе солнце, море и все прочие удовольствия. Теперь вы поняли? Я хочу, наконец, жить в таком месте, где я смогу громко звать свою жену и никто не станет смеяться. Я это даже видел во сне: я иду по людной улице, потом еду в автобусе и громко говорю, зову, кричу: "Сарра!". И никто не смеется, никто не передразнивает меня, никто даже не оглядывается. Воображаете? Я хочу, чтобы это был не только сон. И вот — я уезжаю!

В другой раз Вилковский выслушал такой рассказ:

— Вот вам история про еврея, который не хотел ехать в Израиль. Это случилось в Кишиневе. Этот еврей не только не дал дочери разрешение, но даже устраивал ей скандалы и однажды разбил окна в ее квартире. О его прекрасном поведении прослышали в разных сферах и, вызвав в редакцию республиканской газеты, предложили написать статью: почему советским евреям не следует уезжать в Израиль. Он согласился. Написал. В редакции про-

читали и говорят: "Это не совсем то, что нам надо. Вы ничего не написали о разбойничьей политике израильских агрессоров. Не упомянули арабских детишек, которых убивают израильтяне. Но ничего — мы за вас допишем". Однако он был человек принципиальный: "Ничего вы за меня не допишете. И насчет арабских детишек — простите, но я там не был и этого не видел, а чего не видел сам, о том писать не буду". "Не будете? Значит, вы все-таки не наш человек?" Слово за слово, вышел скандал. Его вызвали на партбюро, исключили из партии, сняли с работы. Конец истории: он уже в Израиле.

— А вот другая история, так сказать, современная вариация на тему "Ромео и Джульетта". Московского Ромео зовут Сергей, но по отчеству Аронович, словом — еврей. Студент педагогического института, хотя трижды сдавал на мехмат университета, все три раза отвечал блестяще, у него с детства способности к математике, но все же проваливался, так сказать, по не зависящим от абитуриента обстоятельствам. Джульетту зовут Нонна Абрамовна, она студентка Института иностранных языков. Если уж говорить, так сказать, прямо, то никакой вражды между домами Сергея и Нонны в помине не было. Московские Монтекки — скромная семья врачей, а у Капулетти: отец — старый преподаватель марксизма-ленинизма, мать — общественница при домоуправлении, принимает участие в украшении избирательного участка накануне каждых выборов. Одним словом, любовь Сергея и Нонны вполне могла бы закончиться, так сказать, основанием здоровой советской семьи с перспективой на кооперативную двухкомнатную квартиру, которую оплатил бы отец невесты, и югославский мебельный гарнитур от родителей жениха. Вмешалось одно роковое "но"... Сергей как-то сходил на улицу

Архипова на Симхат-Тора⁴² и вдруг загорелся, понял, что он еврей, и жить ему нужно в Израиле и учиться в хайфском Технионе. Нонне эта идея тоже понравилась. Теперь представьте возбуждение ее отца, когда он узнал, что дочь ходит на семинар, где изучают не Маркса, а Тору, бывает в московской синагоге и напевает песенку про то, что родина начинается "с овирской скамьи"! Одним словом, он тут же решил расстроить брак дочери с сионистом и отправился за содействием в дом Монтеки, к скромному, мягкому, болезненному отцу Сергея, уверенный, что на того можно нажать и сделать своим союзником. "А как мы можем помешать им пожениться?" — наивно спросил отец Сергея. "Очень просто — заберем у них паспорта. Без паспортов они не смогут расписаться". "То есть как это — заберем? Вы хотите сказать — украдем? — растерянно спросил отец Сергея. — Э... э... боюсь, что я, так сказать, на такое не способен..." Придя домой, преподаватель марксизма стал писать заявления — сначала на работу отца Сергея, потом в институт, где учился Сергей, и даже на собственную дочь, в ее институт. Началась, так сказать, борьба. Кипят страсти у близких родственников с обеих сторон. Москва, однако, все же не средневековая Верона, и хотя отец Нонны, знаток Маркса—Энгельса, изъял у дочери паспорт, одним словом, украл, но помешать ей выйти замуж за Сергея не смог. Молодые поженились, и начался новый тур: родители отказались дать дочери согласие на выезд в Израиль. Но в институте, где преподавал стойкий враг сионизма, нашлись люди, вспомнившие поговорку про яблоко, которое падает недалеко от яблони: человек, не сумевший воспитать собственную дочь, не должен преподавать марксизм-ленинизм здоровой молодежи. Сергея арестовали и, кажется, будут судить за "распространение сионистской лите-

ратуры”, и говорят, это произошло не без участия тестя. Отец Сергея попал в больницу — инфаркт. Думаю, что и сам автор ”Ромео и Джульетты” не смог бы дальше ничего предугадать. Нельзя поручиться, что главный борец с сионизмом сам в конце концов не окажется в Израиле.

Вилковский жадно слушал и ничему не удивлялся. Тем временем алия расширялась вместе с репрессиями, протестами, демонстрациями, фольклором, анекдотами, частушками, особым сленгом, жаргонными метафорами.

”Подавант” — тот, кто подал документы на выезд.

”Отказник” — подавант, получивший отказ в визе.

”Подушечник” — уже имеет вызов, но еще не решается подавать, держит его пока ”под подушкой”.

”С чего начинается Родина” — песенка из советского детективного кинофильма, кто мог ожидать, что настанет день, когда она вызовет у анонимного московского еврея удивительные ассоциации?

С чего начинается Родина? С заветной овирской скамьи, с той самой анкеты, в которую ты впишешь приметы свои... А может, она начинается с весенней запевки скворца и с выдачи характеристики, которой не видно конца...

VIII

— Дай исцеление поблекшему листку, пощади прах и землю, — задумчиво пропел кантор, и ему ответило дружное бормотание молящихся. Потом голос кантора стал возвышаться, что-то

требовать, о чем-то умолять и, то сливаясь с ним, то перебивая, стали что-то требовать, о чем-то просить голоса молящихся.

У Давида Вилковского, все еще стоявшего в проходе московской синагоги между деревянными скамейками, на которых сидели закутанные в талесы прихожане, навертывались слезы на глаза от скорбного чувства родства с незнакомыми людьми, от синагогального воздуха, которым не дышал с детства. Но как и когда всосали этот воздух молодые люди в ермолках — московские школьники и студенты, воспитанные в пионерских отрядах и комсомольских организациях? — не переставал он думать, снова удивляясь, что поведение этих юношей, их жесты были те самые, еврейские, которые он помнил со времен далекого прошлого.

Вдруг кто-то положил сзади руку на его плечо, и он услышал тихий, чуть-чуть иронический голос:

— Вот где мы с вами встретились, Давид!

Обернувшись, Вилковский увидел старика с худым, серым лицом, светлыми смеющимися глазами и смеющимся ртом с тонко изогнутой верхней губой.

— Марк Давыдович! — воскликнул Вилковский. — Вы пришли в синагогу?

— А куда же мне идти? На партийные собрания меня уже давненько не зовут. Вот я и вспомнил молодость.

— Неужели вы посещали синагогу?

— А как же! — сказал старик и рассмеялся. — Вы, наверное, не знаете вот такие стишки: "Чувствую, верна моя дорога под полетом поднятых знамен... Если надобно — седую синагогу подпалю со всех сторон"? Михаил Светлов — одна тысяча девятьсот двадцать третий год. Я был тогда секретарем комсомольской ячейки. Синагогу мы не спалили, но набожным евреям от нас достава-

лось. Особенно в Иом-Киппур.

Вот тебе и новый еврей! — подумал Вилковский. Неужели тут много таких? Может, и старики, сидящие там, в мизрахе, были когда-то секретарями комсомольских ячеек? Вряд ли. Марк Давыдович вряд ли сегодня пришел сюда молиться. Почему же он пришел?

— А вы, Давид, посещали синагогу в молодости?

— Нет, — сказал Вилковский. — Но антирелигиозных походов мы тоже не устраивали. Я ведь жил не в Советском Союзе.

— Вы приехали на готовенькое, — сказал Марк Давыдович. — Вам не пришлось бороться с религиозным дурманом.

— Да, — сказал Вилковский. — Не пришлось...

Мне многого не пришлось делать, думал он, глядя на худое костлявое лицо Марка Давыдовича. Мне не пришлось сидеть, а его, беднягу, трижды арестовывали, в первый раз, кажется, в конце двадцатых. Теперь, впрочем, интереснее другое: почему он сюда пришел?

Словно угадав немой вопрос Вилковского, старик сказал:

— Мой сын позвонил мне и доложил, что сегодня Иом-Киппур. Он здесь, но я его еще не видел.

— А он верующий? — спросил Вилковский.

Старик опять рассмеялся:

— Разве молодость может обойтись без веры? Правда, теперь в моде уж не та вера, которой мы придерживались в двадцатых годах, придется прочесть вам еще одно стихотворение поэта нашей юности Светлова: "На восток гляжу я и теперь, но не к храму, не для плача... Я зрачок свой на восток навел... А затем, что знаю: мне с востока замаячил мой задумчивый, мой светлый комсомол". Вот и мой сын навел свой зрачок на

восток, но увидел там не то, что я видел в его годы. Ошибся Михаил Аркадьевич Светлов, не понял, не разглядел, что маячит впереди. И разве только он один ошибся?

...В первый раз Вилковский увидел Марка Давыдовича в квартире у одного из своих московских друзей вскоре после XX съезда партии. Его, как говорилось, трижды осуждали без суда, по ОСО⁴³, потом трижды реабилитировали по всем трем "делам", после чего он вскоре переехал в Москву, где Вилковский стал встречать его в Ленинской библиотеке. Зачем ему понадобилось сидеть в душном библиотечном зале и вдыхать газетную пыль? Что искал он в пожелтевших листах с поблекшими заголовками, утверждающими, опровергающими или предвещающими из дня в день, из года в год одно и то же, причем в совершенно идентичных выражениях?

— Я ищу начало своей тоски, — сказал он однажды Вилковскому, и его приветливое, обычно улыбающееся лицо сделалось угрюмым. — Сколько раз я слышал: не сделай я ошибки в двадцать седьмом году — и вся моя жизнь пошла бы по-иному. А вы знаете, какую ошибку я сделал? Однажды, на собрании, где прорабатывалась троцкистская оппозиция, я поднял руку за нее, за оппозицию. Неужели именно за это я провел потом полжизни в лагерях?

Это было время страстных, нескончаемых споров о Сталине, о "культе личности", о репрессиях и лагерях, обо всем том, что было десятилетиями скрыто, спрятано, зарыто на самом дне сознания, а также в архивных папках с грифом "Хранить вечно", символизирующим абсолютную уверенность палачей в своей ненаказуемости, убеждение, что доступ к этим материалам навсегда останется труднее, чем к погребенным на дне океана ве-

шественным доказательствам былых кораблекрушений.

Множество жертв недавно закончившейся сталинской эры, вернувшись из лагерей и ссылки, ходили по городу, внешне ничем не отличаясь от других пожилых людей. Встретившись со старыми знакомыми, которые, глядя на них, скрывали свое смущение и жалость бодрыми возгласами: "Сколько лет, сколько зим!", реабилитированные отвечали с наигранной шутливостью: "Семнадцать, ровно семнадцать!" и спешили поделиться своими планами, посоветоваться, как им начать новую жизнь — больше всего на свете им, по видимому, хотелось забыть о пережитом, поскорее зажить сначала, наверстать упущенные годы. Только единицы не примирились с перенесенными страданиями. На улицах, в учреждениях, иногда в театральном фойе происходили и удивительные встречи, во время которых один человек — худой, больной, с трясущимися руками и срывающимся голосом — пытался задавать какие-то вопросы другому — обычно здоровому, благополучному, а тот иногда бледнел и начинал что-то пищать о своей жене и детях или сам становился в позу обиженного: он действовал по приказу, на него крепко нажали, зачем обвинять именно его, слабого и беззащитного, который мог и сам пострадать? Ни к чему не придя, стороны расходились. Бывший доносчик бывал обычно убежден в своей правоте, ведь вся его жизнь, карьера, должность, квартира, дача были доказательством, что он действовал правильно, а если вкралась ошибка, так ведь это была ошибка не его, а начальства, государства, их и надо судить, а не нас, маленьких людей.

Жизнь шла своим чередом, временами даже начинало казаться, что ничего особенного не произошло: просто выяснились некоторые историче-

ские подробности о некоей эпохе, не имеющей прямого отношения к нынешнему дню. Когда кто-нибудь решался заговорить об ответственности за прошлое, на него набрасывались не только те, кому было что скрывать, но и многие честные люди: хватит об этом говорить! Что толку вспоминать старое? Марк Давыдович же принадлежал к тем бывшим зэкам, душа которых была навсегда отравлена тягостными ассоциациями, печальными вопросами. Он сделал то, что обычно делают люди, пытающиеся поглубже в чем-нибудь разобраться: он стал писать.

Однажды он показал Вилковскому свои тетради, предназначенные, как он говорил, для внуков: "Яблоко из рук деда". Не литературные красоты его интересовали, а, в первую очередь, факты. Первая его тетрадь начиналась эпитафией из Ленина о необходимости полной и правдивой информации, правда не должна зависеть от тех, кому она служит. Далее шел страшный рассказ о расстрелах в Воркуте тридцать седьмого года по приговорам "тройки" НКВД, утвержденным по списку в Москве; трое из казненных были товарищами Марка Давыдовича по комсомолу, а еще один — ближайшим, любимым другом. Все, что Марк Давыдович хотел рассказать внукам, было пронизано восторженностью и мукой. Его до сих пор приводили в умиление воспоминания о своей комсомольской юности, о "монастыре св. Иакова", как называл он комсомольский клуб двадцатых годов, потому что в нем царил атмосфера парижского монастыря, от которого получили свое название якобинцы. Любовью дышало всякое упоминание о товарищах тех лет — чистых, юных и смелых, готовых защищать коммунизм, не жалея жизни. Но каждое упоминание о близком человеке заканчивалось страшной справкой: одни погибли, облитые клеветой, их кости свалены в ямах, а ямы

нарочно затоптаны вровень с мерзлыми кочками тундры; другие не только не защищали первых, но сами толкали их в руки палачей. Особенно тяжким бременем были воспоминания о девушках-комсомолках, о женах, которые в юности шли на голод, на лишения, это о них писал комсомольский поэт Светлов: "Наши девушки, ремешком подпоясывая шинели, с песней падали под ножом, на высоких кострах горели". А через десять-пятнадцать лет... "иные из этих жен отказывались от нас и давали развод". Была среди них и жена Марка Давыдовича, типичная комсомолка двадцатых годов, секретарь комсомольской ячейки на швейной фабрике, вся устремленная в грядущее, в великое и светлое завтра. А когда грядущее наступило, она, придя однажды домой вечером первого декабря тридцать четвертого года и сбивчиво рассказав любимому товарищу молодости, теперь мужу и отцу ее ребенка, об убийстве Кирова, добавила: "Я уже сказала в райкоме партии, кто ты такой. Поэтому можешь с сегодняшнего дня не считать меня своей женой. И я не хочу, чтобы ты здесь жил. Завтра же ищи себе квартиру".

— Неужели она верила, что вы имеете хоть какое-нибудь косвенное отношение к убийству Кирова? — спросил Вилковский.

— Конечно, нет, — сказал Марк Давыдович. — Но ведь я уже был однажды арестован как троцкист...

Разговор этот происходил во дворе дома, где жил Вилковский. В том году, когда Марк Давыдович закончил свои тетради, опасение, что у стен могут быть уши, снова стало навязчивой идеей в московских интеллектуальных кругах, поэтому они вышли во двор, потом в переулок.

— Конечно, — продолжал Марк Давыдович, — она знала, что я ни в чем не виноват. Но в тот день, точнее в ту ночь, ее словно подменили, и она

все время к чему-то прислушивалась, вздрагивая при каждом автомобильном сигнале. Какого автомобиля она ждала? Я не стал откладывать свой уход на завтра — в полночь хлопнул дверью и ушел из дома навсегда.

— Воображаю, что вы пережили, — сказал Вилковский.

— Гораздо больше, чем вы воображаете. Разве может человек, не перенесший этого сам, представить эти вопли об убийцах, предателях, пособниках, крылатую фразу Горького: "Если враг не сдается, его уничтожают!" — причем считалось аксиомой, что тот, кого держат за шиворот, и есть несдающийся враг; крики: "Смерть троцкистским убийцам!" — еще до разбора дела, до предъявления малейшего доказательства. Никто не успел опомниться, как четырнадцать человек, обвиненных в убийстве Кирова, были расстреляны. Следствием руководил лично Сталин. Народу он предъявил одно "вещественное доказательство": труп Кирова.

В заключение своей исповеди Марк Давыдович писал: "Не напрасно ли пишешь свои тетради? Что толку? Разве не знаешь, что эхо отдается от гор, от скал, от твердых предметов, а от студня эхо не отдается. Зачем пишешь? Зачем мыслишь? Затем, что иначе не могу!"

Ах, Боже, подумал Вилковский, когда прочитал эти слова. Ах, черт! Это же традиционное самооправдание всех мучеников. Эти напечатанные на машинке "Эрика" страницы, их мог бы написать христианин первого века, живущий в пещере. В отличие от древних мучеников, у Марка Давыдовича даже нет утешения религии. Его юношеская вера, идеи, люди, события, друзья и даже собственная жена — все предали его, а он все ищет ответа на вопросы: почему? как это вышло? — и ответа не находит.

Он не был один. Появилось уже немало исповедей, воспоминаний, повестей, рассказывающих о том, как это было, но оставляющих без ответа вопрос, почему это случилось. Да, признавали авторы многих исповедей, мы видели трупы умерших от голода "несознательных" крестьян и даже сами отнимали у них хлеб. Да, мы молчали, когда на наших глазах арестовывали честных людей, но это потому, что мы верили: когда лес рубят — щепки летят, великая цель — светлое будущее человечества — оправдывает любые средства. Они не усомнились в мудрости поговорки про лес и щепки, пока сами не попали в разряд "щепок". Однако в случае Марка Давыдовича удивительным было другое: как мог такой добрый, милый и совершенно бескорыстный человек хоть на минуту поверить, что ради счастья будущего человечества можно безжалостно губить ныне живущих людей? Когда Вилковский верил в стройную теорию устройства счастливого общества, он все-таки жил в стране, где сторонники этой веры были гонимыми, а не гонителями. Но Марк Давыдович видел действительность этой теории... Он был еще одним воплощением той загадки, о которой Вилковский не переставая думал в годы своей второй жизни — почему все это случилось?

Рассказывая о своей жене, которая выставила его из дому, Марк Давыдович пришел к неожиданному выводу: почти все ее недостатки родились из ее же достоинств, свойственных поколению двадцатых годов. Любовь к партии и народу (что было для них одно и то же) стала привычной; преданность революции приняла характер религиозности, отучающей думать своим умом. Именно из замечательных качеств тех пламенных лет, записал он в своей исповеди, через довольно простые превращения вылупилась внутренняя готовность оправдать решительно все, вплоть до ареста со-

бственного мужа и расстрела ближайших товарищей.

— А может быть, и не было никаких превращений? — осторожно спросил Вилковский. — Может, замечательные качества вашего поколения не были уж столь замечательными? Ну что за качество: не думать своим умом?

— Нет! — решительно сказал старик. — Вера была необходима для победы революции. Верующий должен быть готов презреть свое и чужое страдание, когда того требует вера.

— Веры бывают разные, — пытался тогда возразить Вилковский. — Может быть, дело в самой вере, в ее догматах, в убеждении, что можно насильно устроить счастье людей? Ведь насилие понижает нравственный уровень человека. Может быть, человек, уверовавший в насилие, уже не может оставаться человеком?

— Толстой! — сказал Марк Давыдович и передернул плечами. — Наивная толстовская проповедь. Он, знаете, звал революционеров в келью. Они его не послушали.

— Правильно. В келью они не попали. Они попали в Магадан и на Воркуту.

— В идее нет ошибки. Если это признать, тогда мне останется не загубленная жизнь, не страдания, а просто ничто — пустота...

Значит, он не может перешагнуть через последний барьер, подумал тогда Вилковский. Он далеко ушел от своей жены, для которой всю жизнь непререкаемой истиной было то, что содержалось в сегодняшней газете, в последней директиве вышестоящих организаций. Но он остался где-то с нею рядом.

Но вот он пришел в синагогу. Стоя в проходе большого молитвенного зала, Марк Давыдович присматривался ко всем, кто проходил мимо, все еще надеясь, по-видимому, найти сына. А Давид

Вилковский все смотрел на старика и пытался угадать, изменилось ли его настроение за то время, что они не виделись, и — зачем он сюда пришел. Только чтоб повидать сына? Было нечто многозначительное в том, что они встретились в таком неожиданном месте. Означает ли это, что и Марк Давыдович перешагнул некую черту, что душа его уже не корчится в адском пламени сомнений, а обрела нечто положительное?

Марк Давыдович в синагоге — это, пожалуй, не меньший сюрприз, чем эти юные москвичи в ермолках, подумал Вилковский.

Хвала Тому, Кто рек — и возник мир! — с радостной торжественностью запел кантор, и хор молящихся подхватил эти слова, заглушив голос Марка Давыдовича, который что-то сказал Вилковскому, но тот его не расслышал.

— Что вы сказали? — переспросил Вилковский.

— Служба скоро кончится, и все потянутся к выходу. Хотите помочь мне разыскать сына? Я вас с ним познакомлю.

— Конечно, хочу. Мне интересно взглянуть на нового советского еврея.

— Это мы с вами новые евреи, — сказал старик и, наклонившись к уху Вилковского, продолжал слегка кричащим голосом: — Мой сын как еврей старше меня. Вполне серьезно. Не перестаю удивляться, как он угадывает то, чему его не учили. Мы с женой назвали его инициалами нашего любимого вождя — Вил, — думая, что он вырастет хорошим коммунистом. Мы ошиблись. И это не потому, что детей воспитывают не только родители — столь наивными мы не были. Но, оказывается, в человеке может вдруг проявиться то, чего лично он в своей жизни не видел. Вот, полюбуйтесь, — он скосил глаза на молодого человека в бархатной ермолке, пробивающегося мимо них в толпе. — Смотрите, как он носит ермолку.

Точно так носили их в хедере в дни моего детства! Вил — типичный представитель этой старой и новой формации русских евреев. У вас нет таких знакомых?

— Есть, — сказал Вилковский. — И даже не один. Но они очень разные.

— Нет, — сказал Марк Давыдович. — Они все евреи!

IX

...С чего начинается Родина? С участия в общей борьбе. С хороших и верных товарищей, что вызов прислали тебе.

Эту песенку распевала еврейская молодежь, собирающаяся у московской синагоги, особенно на Симхат-Тора, когда старенький, извилистый и горбатый московский переулок превращался в танцующую улицу. Вилковский впервые услышал ее от человека, который не только снабжал его сведениями о движении за алию, но и сам был удивительным примером, персонификацией новой реальности, расстроившей привычную картину окружающего мира.

”Жизнь человека, — писал Александр Владимирович в своей исповеди — пачке листов разного формата, исписанных от руки или на машинке, испещренных многочисленными сносками, поправками, подчистками, так что они производили впечатление старинной рукописи, извлеченной из какого-то пыльного архива, — жизнь человека имеет свою композицию, музыкальную форму, которая требует от исполнителя (а похоже, что человек — исполнитель, а не композитор) постоянного внимания и большой чуткости к замыслу,

к стилю произведения... Для меня главное — замысел, мелодия. С детства меня смущал сюжет: рыцарь падает с коня, и победитель, с кинжалом, приставленным к его горлу, спрашивает: "Сдаешься?". И мое ощущение невозможности сдать... Вечная борьба начал всегда была для меня непривлекательна, мне чужда эстетика борьбы между Дьяволом и Богом, извечное грехопадение. Я всегда ощущал, что у меня есть цель и обязанности... Как жить поколению, которое может выбирать догмы, мораль и традиции? Как жить людям, не получившим из прошлого ничего реального? Как понять все, что с нами случилось? Что будет? На чем сердце успокоится? Каждая жизнь — это ответ".

Жизнь автора этих строк была совсем непохожей на жизнь Якова Штернберга или на историю архитектора-сиониста из Риги, уже хотя бы потому, что он был совершенно русским евреем, одним из тех ассимилированных евреев, которые до зрелых лет и не думали о Сионе. Как пришел он к мысли уехать в Израиль? И что это было — мысль или вывод, обратившийся в чувство, захватившее человека целиком, так что переделать, изгнать или овладеть им было уже невозможно?

Подав заявление о выезде в Израиль, он, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией, человек благополучный и даже привилегированный по понятиям окружающей его среды, получил отказ, был уволен с работы и сразу попал в особую категорию граждан, живущих "в отказе", не имеющих определенных занятий, отданных под надзор участковых, которые распоряжались их дальнейшей судьбой в соответствии с известным указом о тунеядцах плюс с никому не известными и день ото дня меняющимися указаниями сверху. Но Александр Владимирович превратился в дичь еще более странной и небывалой

породы, чем обычные "отказники", поскольку затеял два совершенно неслыханных в советских условиях дела: семинар ученых, не получивших разрешения на выезд в Израиль, и рукописный журнал "Евреи в СССР".

Не отрываясь, смотрел Вилковский в темно-губое лицо Александра Владимировича, Саши, как называли его друзья, когда они изредка встречались у одного общего знакомого, на его слегка выдвинутый подбородок, на черные курчавящиеся волосы, слушал его спокойный голос, в котором звучала стройная и логическая концепция судьбы советских евреев.

— Поймите: я не осуждаю Россию или советское общество. Я просто констатирую факты. Таковы они, но мы другие. В наших бедах кого винить? Русский народ не хуже и отнюдь не тупее других, но он начал позднее. И вот я — зерно риса в гречневой каше — героически боролся, чтобы стать гречкой, но это не получилось, не могло получиться. С тех пор, как я себя помню, я даже в очереди не стоял спокойно, как все, и, замечая непорядки, громко заявлял об этом, после чего на меня набрасывались с руганью не только продавцы, но и граждане, те самые, кому я хотел помочь. Еще подростком я никак не мог заставить себя восторгаться гениальными высказываниями товарища Сталина. Кругом восхищались: "Ах, как мудро: товарищ Сталин сказал А!". Но я думал: ну и что из того, что товарищ Сталин сказал А? Разве это не первая буква алфавита, известная каждому школьнику! Но восхищаются академики, пишут оды поэты, пылают восторгом Эренбург, уж он-то все понимает, а я нет... И мне хотелось плакать. Вот таким я был мальчиком: особого рода и племени, немислимого с точки зрения большинства, горьким исключением.

— Кого вы считаете большинством? Ведь и рус-

ские не все одинаковы. Разве вы не встречали русских с таким же характером и образом мыслей?

— У них это не вытекает из особенностей народа. Почва, история вырастили в России другой тип. С молоком матери он впитывает: так надо! есть указание! есть мнение! Надо, Федя! Православие, Самодержавие, Народность и прикнувший к ним Шепилов... — в его высоком отчетливом голосе не было иронии. — Подавляющее большинство населения проявляет ангельскую кротость и доверие к правительству, которое отнюдь не обманывает народ, а лишь разделяет его верования и предрассудки. А наш еврейский нонконформизм, наши заботы народ воспринимает как насилие над своей природой.

В рукописном журнале "Евреи в СССР" больше всего поразил Вилковского раздел "Кто я?". Короткие исповеди, рассказы, мысли, философские куски, смех, слезы, мольба о помощи, крик души...

"Существуют разные степени "еврейства" — вплоть до "нееврейства включительно".

"Мало назвать себя евреем — необходимо понять, что это значит".

"Кто я? У меня жена узбечка!"

"Кто мы? Рабы".

Признание диссидентки Ларисы Богораз, прославившейся своей готовностью протестовать против всякой несправедливости:

"По крови я чистокровная еврейка. Но язык моего детства украинский. Первая услышанная мною сказка украинская. Только в школе я узнала, что я еврейка и что это нехорошо; но к тому времени я уже была дочерью "врага народа".

Размышления доктора медицины Любошица, который в свободное время писал статьи, не написанные докторами философии и социологии:

"Советский еврей является одновременно и объектом процесса выталкивания из среды, и субь-

ектом, отождествляющим себя со средой и пытающимся с ее позиций рационалистически анализировать этот процесс... И он думает: все из-за паспортной отметки; отметка в паспорте, вот кто подлинный еврей, а не он. И высказывания среды о "евреях" он относит не к себе, а к этой отметке. Отношение советского еврея к проблеме еврейства является "русским" отношением".

Логика чувств Ларисы Богораз:

"Вы хотите, чтобы я помнила всегда, что я еврейка; вы хотите, чтобы я во что бы то ни стало чувствовала себя еврейкой — так нет же! Это вы можете зачислить меня в ту или иную рубрику в зависимости от записи в паспорте — меня вы этим не спровоцируете. Я — это я, для меня — никаких рубрик!"

Доктор Любошиц:

"Наша главная задача — понять, что паспортное клеймо, изгойство, все эти "внешние" признаки являются лишь отражением и следствием фактора более изначального — принадлежности личности к еврейскому национальному типу".

"...Но я не ощущаю себя еврейкой! — упорно повторяла Лариса Богораз. — Мне привычны цвет, запах, шелест русской природы, как и русской речи, ритмы русского языка. Все остальное воспринимается как чужое. Даже Крым для меня — экзотика. Даже Мандельштам и Бродский кажутся не русскими поэтами; русская история затрагивает мое сердце. И при всем том — нет, я не русская. Я чужая сегодня в этой стране. Я человек без родины, без своей среды. Но я бы не хотела такой судьбы для своих детей и внуков".

И еще один известный диссидент — литератор Лев Копелев.

"Хранить вечно!" — книга-документ. Исповедь коммуниста, бывшего майора Советской Армии, которого во время войны арестовали в Восточной

Пруссии за то, что он будто бы проявлял симпатии к немцам-фашистам. А он был фанатичным служителем идеалов коммунизма и хотел быть принципиальным во всем и ко всем — даже к побежденному врагу.

Немецким военнопленным, уверявшим, что они настолько стыдятся кровавых дел гитлеровской армии, что охотно отказались бы от своей принадлежности к немецкому народу, майор Копелев говорил:

”Нельзя отречься от своей нации, как нельзя отречься от себя, выпрыгнуть из себя”.

Но тот же Лев Залманович Копелев, хоть ему частенько напоминали, что он еврей, а в Бабьем Яру расстреляли и его кровных, уверял себя и других:

”Я ненавижу фашистов, но не как еврей, а как советский человек. Как киевлянин и москвич, и прежде всего как коммунист”.

Он многое понял, признал и выразил в своей исповеди. И то, что высокая цель все же не может оправдать любые средства. И свое бестолковое плутание между понятиями ”объективное” и ”субъективное”. И другие противоречия, исковеркавшие души и жизни нескольких поколений. Только об одном он не задумался, во всяком случае, ничего об этом не сказал: какую роль сыграло в его судьбе то, что он еврей. Все-таки еврей. Неужели еврей, прекрасно понимающий, что ”нельзя отречься от своей нации, выпрыгнуть из себя”, мог думать, что его самого это никак не коснулось?

Читая рукописи, исповеди, статьи, выходившие в Самиздате, Вилковский понял всей душой: еврей есть загадка в мире, в котором была сделана самая решительная попытка поставить классовую общность над национальным идеалом и утвердить примат партии над личностью, национальностью

и народом. Но оказалось, что личность не до конца поддается гипнозу.

...Случалось, к Вилковскому заходил Александр Владимирович — спокойный, бодрый, неутомимый, в желтой нейлоновой куртке, к которой в зимние месяцы пристегивалась теплая подкладка, почти всегда без шапки, но с шерстяным шарфом, обмотанным вокруг шеи. Он садился в кресло и, положив на колени большой, туго набитый кожаный портфель, победно извлекал из него очередной номер сборника "Евреи в СССР" или какой-нибудь необычный материал для будущих номеров, раздобытый благодаря общению с разными людьми, порой странными и непонятно каким образом существующими, вопреки всем законам, укладу и строю московской жизни: диссиденты, религиозники, художники-абстракционисты; непризнанные поэты-новаторы, хиппи, йоги, последователи Вл. Соловьева, участники кружков парапсихологии и спиритизма. Весь этот пестрый, запутанный мир был, конечно, облеплен всякого рода примазавшимися, липовыми либералами, фарцовщиками, любителями старинных икон и валютных сертификатов и, конечно же, молодыми оперативниками и стукачами.

— Вот, новый руситский документ -- программа новейших юдофобов. Помещу ее в следующем сборнике...

Тут вдруг раздавался телефонный звонок и озобоченный женский голос спрашивал: "Саша у вас?"

По-видимому, Александр Владимирович с утра расписывал программу дня по часам, и его жена Нина следила по телефону, пришел ли он туда, куда намеревался прийти. Ведь никогда нельзя было знать заранее, не увяжутся ли за ним оперативники, не затолкают ли его в машину и не отвезут ли на очередную беседу-допрос, может

быть, даже на профилактическую отсидку, чтобы он как-нибудь не помешал детанту, особенно в дни приезда высоких представителей американского капитализма и империализма, готовых субсидировать строительство коммунизма на льготных условиях, довольствуясь семью процентами годовых. Об этих своих неприятностях Александр Владимирович рассказывал без всякой злобы или досады, видя в них лишь новое подтверждение своей основной идеи: таковы они, но мы другие, и наша жизнь здесь — анахронизм.

”Я никого не виню. Не понимают они нас, не понимают даже, что мы им не враги. Тут века истории. Разве в Святой Руси не бывало Святополка Окаянного и Ивана Грозного, стрелецких казней и тайной канцелярии, Павла Первого и Аракчеева? Что оказалось наиболее ценным в марксизме для русского духа? Замена свободы воли ”исторической необходимостью”. Конформизм и инертность русской истории и противостояние ей — здесь корень анти- и филосемитизма в России”.

С некоторым беспокойством следил Вилковский за тем, как Александр Владимирович извлекает из портфеля все новые статьи, материалы и рукописи Самиздата, как он листает свою объемистую записную книжку, в которой записаны сотни адресов и телефонов.

— Послушайте, вас же всегда могут остановить на улице и затащить в участок. Будьте поосторожнее.

— Мне нечего скрывать. Разве я подпольщик? — темно-карие, несколько печальные глаза Александра Владимировича вдруг повеселели: — Я слышал, что вы когда-то были коммунистом-подпольщиком? Значит, мы с вами начинали одинаково.

— Как это понимать? — спросил Вилковский.

— Буквально, — сказал Александр Владимирович. — Вы хотели построить социализм. Я же захотел его исправить, как только подрос и мне сказали, что социализм уже построен — это вот он и есть, то, что я вижу. Словом, оба мы евреи...

— Погодите. Я хотел свергнуть буржуазный порядок, а вы исправить социалистический...

— Разницы нет, — сказал Александр Владимирович, усмехаясь. — Вы сидели в тюрьме? Меня сажали дважды.

— Сколько же вам было лет?

— Мало. Но разве есть такой возраст, когда еврей слишком молод или слишком стар, чтобы не полезть в петлю из-за идеи или даже без всякой идеи, а только из-за горячего, накопившегося в мозгу и сердце, из-за неспособности жить спокойно, как все? Уже мои детские воспоминания наполнены "врагами народа", фашистами, гражданской войной в Испании. Потом была война с Гитлером. Все мы в школе были, конечно, марксистами. Но я принадлежал к тем, как говорят у нас, отдельным мальчишкам, кто замечал в окружающей жизни и то, что не полагалось замечать. И попался. Война кончилась, но продовольственные карточки, очень разные для разных категорий, еще были в ходу.

А тут еще открылись коммерческие магазины, где прилавки ломились от черной икры, колбас и сыров, стоивших баснословные деньги, но рабочий по-прежнему получал рублей четыреста в месяц, уборщица нашей школы — триста. И я видел людей, опухших от голода... Как это согласовать с Лениным? Вот тут-то мы и взялись по-настоящему за его сочинения, мы — шесть мальчиков и одна девочка — все, кроме одного, еврей, чему я тогда не придавал никакого значения. Мы стали изучать Ленина не за страх, а за совесть, заодно и стенограммы первых партийных съездов. Чте-

нием первоисточников не ограничились. Верные этим самым первоисточникам и, особенно, врожденному темпераменту и страсти, мы решили бороться с несправедливостью в традиционном духе марксизма-ленинизма — листовками. Тут нас постиг удар. Я, конечно, не исключал, что нас раскроют, и даже заранее обдумал, что я скажу следователю, а, главное, какой отклик все это вызовет среди честных советских граждан. Но они как раз меня и подвели. Не следователь, а честные советские граждане. Уже на первом допросе я увидел на столе следователя все наши листовки. Ну, может, штук пять не хватало, остальные все были там, в ГБ. "Полюбуйтесь, — сказал следователь. — Мы их не находили. Лояльные советские граждане сами принесли. Думаю, даже не дочитали до конца и тут же примчались к нам". Я был ошеломлен...

— Ганс Фаллада, — сказал Вилковский. — Роман "Каждый умирает в одиночку". Один берлинский столяр, Квангель его зовут, пишет открытки против Гитлера, а когда его, Квангеля, ловят, на столе полицейского комиссара он видит все свои открытки.

— Нет, — сказал Александр Владимирович. — Наши лояльные граждане вовсе не похожи на тех немецких обывателей, которые бежали в гестапо с крамольными открытками. И мы, авторы листовок, уж совсем не были похожи на немецкого столяра, борца-одиночку, описанного Фалладой, — я эту книгу читал. Ведь мы отнюдь не были противниками власти, системы, а только хотели ее исправить, усовершенствовать в духе идей ее же основателя. Не система виновата, а люди не всегда на уровне системы — вот к какому выводу мы пришли. Значит, нужно воспитывать людей. За это я и взялся уже после того, как меня выпустили из колонии. Теперь уже без листовок, а на вполне легальных началах. И... опять

попал в ГБ. Мы задумали поход против мещанства: статьи в стенгазетах, лекции с цитатами из Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина... А кончилось по-старому. Вот этот фатальный конец всякой общественной деятельности, возникающей не по команде сверху, а исключительно из добрых чувств и искреннего желания отдельных граждан помочь советской власти, многое объясняет в нашей жизни, но сам с трудом поддается объяснению. Что это такое? Люди хотят помочь власти, а она их сажает. Как это объяснить? Тут что еще удивительно? Легкость, с которой мои же товарищи по "движению" публично клеймили меня, но в то же время шептали с глазу на глаз: "Не дрейфь, Саша! Что поделаешь? Так надо!". Мне предлагали покаяться, намекая при этом, что совершенно безразлично, что я думаю, важно только, чтобы я публично "признал", "осознал", а там хоть начинай все сначала, но уж поосторожнее, старайся не попадаться. Вот оно — это самое: строжайшее соблюдение формулы, ритуала и вытекающее отсюда двоедушие, закладываемое уже в сердце школьника. "Что я? Я как все!" Или: "Все как один!" Но именно это противно еврейскому рационализму. Еврей часто возмущается не потому, что несправедливость коснулась его лично, а из принципа, и, что еще удивительнее, из-за того, что несправедливость противоречит официальной доктрине. Хваленый еврейский ум не может, не желает понять, что теория и практика все-таки вещи разные...

Однажды Вилковский поехал на электричке на похороны друга, умершего за городом. Поехали на эти похороны и Александр Владимирович с женой.

"О н и тоже здесь, — сказал он, когда все расселись в вагоне. — В тамбуре".

Выйдя в тамбур, Вилковский увидел двух мо-

лодых людей в корректных, выутюженных костюмах, в застегнутых, несмотря на жару, рубашках, даже при галстуках, абсолютно, конечно, трезвых. Какой прогресс в сравнении с несвежими апашками, грубыми сандалетами или суконными ботами и котиковыми шапками, сохранившимися в его памяти и кошмарных снах. И все же это были его старые знакомые, ничуть не постаревшие за прошедшие пятнадцать лет, с ничуть не изменившимся выражением тупости. Сыновья тех или попросту члены одной колонии термитов, где каждое поколение является точным повторением предыдущего?

...Вилковский еще тогда не знал, что изменился не только внешний облик "котиковых шапок", но и строго регламентированная схема их поведения, изменился железный порядок прошедших грозных лет, а поиски новых форм для старой работы могут привести к пугающе-нелепым и страшным последствиям.

Да, времена изменились, думал Вилковский, и ничего не изменилось: исчезли котиковые шапки, появились галстуки. Однако появились и такие люди, как Александр Владимирович, — в них, в этих людях, и выражена перемена. Смогут ли они хоть что-нибудь изменить в механизме, который не менялся никогда?

Однажды Александр Владимирович пригласил Вилковского придти к нему в воскресенье, когда у него на квартире собираются научные работники, которым отказано в визе в Израиль. Было зимнее утро. На просторной и людной улице в районе метро "Сокол" все магазины были открыты, вероятно, по случаю конца квартала; на одном углу стояла длинная очередь за апельсинами, на другом очередь топталась у желтой цистерны, на которой золотыми славянскими буквами было написано "квас", — словом, всюду бурно вершились

обычные, всем понятные процессы московской городской жизни. Но в большом девятиэтажном доме, в квартире 103, оказавшейся на третьем этаже, — Вилковский вошел без звонка в незапертую дверь, — происходило нечто в высшей степени далекое от того, что он видел на улице.

Сама по себе квартира была вполне обычной стандартной кооперативной квартирой постройки конца шестидесятых годов, с узкой прихожей, маленькой кухней и тремя небольшими и невысокими комнатами, обставленными самой необходимой мебелью в безликом современном стиле. Чувствовалось, что хозяева не придают значения домашнему уюту или не имеют времени о нем заботиться, хотя в прихожей была заготовлена целая коллекция тапочек и сандалий, чтобы гости могли оставить здесь свою обувь и не наследили на полу. Вилковский тоже надел тапочки.

На его приход никто не обратил внимания, потому что семинар уже начался. В самой большой комнате с настежь распахнутой дверью он увидел целое общество, человек пятнадцать мужчин, все, как показалось Вилковскому, не старше сорока лет. Комната чем-то напоминала класс, так как на самом видном месте висела грифельная доска, испещренная цифрами и формулами. На другой стене висел блеклый натюрморт без рамы, написанный маслом на картоне, изображающий рыбу; рядом с неприкрытой тахтой стоял немецкий импортный торшер, а в другом углу — большая этажерка с книгами. Люди тесно сидели на стульях, кухонных табуретках, на тахте и внимательно слушали молодого человека в очках, который что-то доказывал, стоя у доски, все время стирая или добавляя новые цифры к уже имеющимся расчетам и формулам. Докладчик был полный, почти толстый, красно-рыжий молодой человек, в его манере, в голосе, в игре глаз чувствовалась уве-

ренность человека, возбужденного своими знаниями, готового вступить в драку с каждым, кто в них усомнится. Он произносил длинные, видимо, отлично согласованные фразы, смысл которых Вилковский не понимал, хотя докладчик говорил по-русски. Александр Владимирович, сидящий на диване, приветливо кивнул Вилковскому и потеснился, освобождая место рядом с собой. Вилковский сел и снова прислушался, пытаясь понять, о чем же говорит человек у доски. Понятными были только отдельные слова: "излучение", "длина волны", "время колебания", "электрон". Наклоняясь к доске, чтобы записать новую формулу, докладчик слегка задерживал дыхание и, указывая полной лоснящейся рукой на колонку цифр и знаков, четко, раздельно говорил: "омега квадрат минус", "омега квадрат сигма", "эпсилон минус единица". Слушатели беззвучно повторяли за ним эти таинственные для Вилковского слова или прерывали его и задавали вопросы, на которые получали непонятные и даже бессмысленные с точки зрения несведущего в математике ответы: "Чем это определяется?" — "Это определяется соотношением неопределенностей". Но, слушая все это, Вилковский уже не думал ни о смысле слов, ни о науке. С удивлением и волнением рассматривал он ничем не примечательную комнату с гэдээровским торшером и натюрмортом московского любителя-модерниста — подzemелье времен испанской инквизиции, — и докторов наук, профессоров, глядящих на математические формулы семидесятых годов двадцатого века пылающими глазами марранов века шестнадцатого. Он ощущал их преданность призванию, их непреклонность. Эта грифельная доска была алтарем, у которого справлялся тайный молебен. Этих людей изгнали из институтов, лабораторий, научных кафедр, их лишили домашних телефонов,

к ним ходят участковые, требующие, чтобы они устраивались на работу — а принимают их только в дворники и чернорабочие, — но вере своей они не изменили. И вот приходят сюда, надевают рваные тапочки и усаживаются вокруг доски, чтобы ревностно и бескорыстно отправлять любимый культ. Вилковский подумал: какой великолепный символ связи времен — нынешнего, в коем эти ученые, насильно выброшенные из своего мира, добровольно собираются на московской квартире, чтобы служить науке, и времени марранов, или, как их называли, анусим — принужденных, жертв эпохи безудержного насилия над духом и плотью человека. Но ведь культ науки — это же не иудаизм средних веков, он не только не запрещен, но всячески поощряется, официально превозносится в Москве. Что же это такое, то, что здесь происходит? Неужели все дело в том, что, как и тогда, сегодня тоже существуют евреи и повторяется, повторяется еврейская судьба?

...Вилковский смотрел на лица сидевших вокруг него людей. Вот худое упрямое лицо с низким заросшим лбом и черными блестящими глазами; вот другое — темногубое, похожее на лицо негра; вот еще одно — рыжеватое, холеное, чуть-чуть улыбающееся лицо рафинированного интеллигента; и еще одно — очень простое, с толстыми губами и крючковатым носом, напоминающее местечкового еврея. Продолжая разговор на математическом языке, они иногда обмениваются шуточками и анекдотами, в которых чувствовалось их сегодняшнее печальное положение. Но они были не печальны, а полны любопытства, иронии, надежд. Александр Владимирович, подойдя к доске, сказал: "Пока мы тут боролись, три американских еврея доказали текучесть гелия-3. Сейчас я изложу сущность этих опытов". Другой вдруг спросил: "Почему Вайнштейн не смог защититься в Харь-

ковском институте?”. Третий ответил: “Потому что там на кафедре все евреи”. — “Афанасенко — еврей? Пупко — еврей?” — “Представьте, да. В Харькове, по официальной статистике, теперь вдвое меньше евреев, чем было пятнадцать лет назад. Куда они девались? Они на том же месте, но у них другие фамилии. Поэтому в институте так осторожны: если за тебя поручатся, что не уедешь, — можешь защищаться”. Четвертый сказал: “Вы слышали, какой разговор произошел на днях на мехмате? “Вы еврей?” — спросил профессор нового аспиранта. “Нет, — сказал тот, — я просто сегодня плохо выгляжу”.

Вилковский решил не дожидаться конца их ученой дискуссии и, выйдя в коридор, стал заглядывать в другие комнаты. Они мало чем отличались друг от друга. Главное занятие хозяев этой квартиры, их заботы и страсть выявлялись в книгах, сваленных на подоконниках и на полу; в доске для черчения; в старенькой пишущей машинке с заложеным листом. Даже на кухне, где единственная оригинальная вещь — старинный медный поднос с восточным орнаментом — скрашивала стандартную обстановку, ощущалось не только отсутствие интереса к быту, но и готовность хозяев в любую минуту, без всякого сожаления распрощаться с этой квартирой и с жизнью, которую они вели. Александр Владимирович и его жена, подумал Вилковский, наверное, испытывают ощущения пассажиров, сидящих на чемоданах на вокзале в ожидании объявления посадки на поезд. Он понимал: может оказаться, что поезда не будет вообще. Понимал и то, что Александр Владимирович тоже это понимает.

— Никто не знает будущего. Однако есть все основания предполагать, что наше будущее — это, увы, всего лишь полузабытое прошлое...

Разнообразны формы государственной борьбы

с частными хотениями и личными планами своих граждан. Многообразны ее формы, но есть одна неизблемая основная цель: добиться, чтобы каждый человек осознал невозможность сопротивления государству. Всемогущее и вездесущее государство не может отказаться от этой цели ради евреев. А евреи оказались на переднем крае борьбы, в которой их судьба была мерилom противоречий, не имеющих мирного исхода.

Все это станет ясным в будущем. В какой мере государство сможет терпеть изменение своей природы и неизменяемость людей, не желавших отказаться от своего стремления к свободе, — было вопросом будущего. А теперь, пока все это оставалось еще неясным, неопределенным, Александр Владимирович пригласил Вилковского на другой семинар, в котором участвовали уже не только ученые, и этот семинар оказался в чем-то даже удивительнее первого.

В этот раз они вместе доехали до станции метро "Щелковская", а оттуда пять остановок на автобусе, но потом еще долго искали нужный дом на улице, где все дома были пятиэтажными и казались совершенно одинаковыми. Но улица понравилась Вилковскому: вся в кустах и деревьях — ее, вероятно, прокладывали в старой подмосковной роще, может быть, даже в лесу. Когда они наконец нашли нужный дом и квартиру, дверь открыла пожилая женщина в синем тренировочном костюме. Квартира была однокомнатной, потолок в пятнах, обои старые, давно не менявшиеся, обстановка самая обыкновенная — все, что можно приобрести в московских магазинах без очереди: горка для посуды, круглый стол, простые полки, занимающие одну стену до самого потолка, но все хорошо убрано, удивительно чисто, приятно. И книги на полках были хорошие книги, все самое

лучшее, что можно было приобрести без особого блага: Толстой и Достоевский, Олеша и Василий Гроссман, Хемингуэй и Сент-Экзюпери...

Когда они пришли, в комнате уже сидело довольно много народу. В отличие от семинара ученых, здесь были женщины. В прихожей все время раздавались звонки. Выходившая открывать дверь хозяйка после каждого звонка возвращалась с новыми гостями, среди них Вилковский узнал несколько человек, которых он видел на семинаре ученых. Поговорив с хозяйкой, он узнал, что и лектор сегодняшнего семинара — человек с ученой степенью, его ждут с минуты на минуту.

Он был кандидатом физико-математических наук. Но Давиду Вилковскому показалось, что в комнату вошел воспитанник талмудистской семинарии — иешивы, — которой в Москве, конечно, не существовало. Это был рыжий, с бескровным, прозрачным лицом, с темными глубокими глазами, даже с пейсами, в бархатной ермолке, но чисто выбритый еврей, что несколько отличало его от типичных ешиботников⁴⁴, которых Вилковский видел когда-то в молодости. А когда этот ешиботник — кандидат физико-математических наук — заговорил, Давиду Вилковскому показалось, что он слышит голос и интонации своего меламеда, от которого когда-то убежал в придунайском селе. Сжалось сердце, почувствовалось, что комната заполнилась печальными тенями, как в смутном и горьком сне о далеком прошлом. Давно забытые слова, услышанные в раннем детстве, ожили в мозгу, воскресли старые, забытые чувства. Кандидат физико-математических наук с великолепным знанием дела объяснял, что такое Галаха, что содержит Мишна, когда возник Шулхан Арух, что такое тфиллин, и рассказывал, что мезузу — эмблему еврейской веры, свиток, на котором записаны слова "Шма, Исраэль"⁴⁵ — при-

крепляют к дверному косяку у входа в каждый еврейский дом...

Вилковский смотрел на лектора, на его худые, нервные руки с коротко обрезанными ногтями, на аскетически-бледное лицо и близорукие красные глаза ламдена из бет-ха-мидраша, привыкшего засиживаться по ночам над закапанной свечами страницей Талмуда. Откуда у него эти знания? Кто дал ему исчерпывающее понятие о букве и духе старинных законов, о догматах древней веры, ее нетерпимости и чрезмерности, страсти и благородстве? Как мог вообще возникнуть такой духовный тип в городе, где уже полвека нет никаких религиозных школ, где, казалось, все знания, связанные с иудаизмом и еврейской религией, забыты навсегда? К тому же этот молодой человек прошел через университет, научную кафедру... Потом Вилковский стал смотреть на слушателей необычной лекции: вот сидят два человека, которых он безусловно видел на семинаре ученых; там они с увлечением обсуждали проблемы дипольного излучения и вопрос о том, почему ядро может испускать излучение больше себя самого, а теперь они сидят тут, внимательные, заинтересованные, и слушают, что раскаяние еврея — тшува — действительно, если содержит не только замаливание грехов прошлого, но и обет не делать ничего подобного в будущем, и что начало мудрости — страх Господний. А чуть подальше, у полки с книгами, юноша с длинными волосами и девушка в очках, похожие на студентов, пришедших сюда прямо с занятий или с какого-нибудь собрания, где они слушали все то, что привыкли слышать с детства — одинаковые слова, готовые мысли, готовые мыслительные блоки. А теперь они сидят тут, молодые, любопытные, с блестящими глазами, впервые сегодня узнав, что еврейское учение о жизни и еврейские законы провозглашены не на

съезде, а на горе Синай⁴⁶ четыре тысячи лет тому назад и с тех пор уже не менялись. С какой наивной требовательностью девушка вдруг спросила: "Меня как историка интересуют истоки этих преданий: что именно произошло на самом деле на горе Синай?". А лектор, кандидат наук, которого в университете учили все подвергать анализу, мягко и наставительно ответил: "Религиозные предания не поддаются историческому анализу" — и перешел к другим, потрясающе новым для этой девушки вещам, событиям и движению мысли, тоже не поддающимся ни исчислению, ни эксперименту: что такое каббала, как возник хасидизм, кто был Иосеф Каро, что написал Маймонида, как прожил свою жизнь Виленский гаон, какие предания остались от кроткого, бесконечно трогательного в своей любви к людям рабби Бешта⁴⁷.

Когда он кончил свой экскурс, посыпались, как после любой лекции, вопросы слушателей, и оказалось, что здесь есть люди, которые уже многое знают обо всем, что рассказывал лектор. Их интересовали вполне практические сведения: порядок чередования молитв, тексты, праздничные обычаи, обряды. Как могли все они, мало чем отличавшиеся от любых других людей, выросших в Москве, приобрести веру и ощущение своей связи с древними обрядами и традициями? Это что — отголосок знаний и чувств, с которыми они родились? Или вера пришла вместе с осознанием своего еврейства, ощущением его?

Давиду Вилковскому запомнилась эта ночь. Он вернулся домой с одним из последних поездов метро. Все, что он видел, когда ехал к дому, — расхристанного гуляку, с татуировкой на груди и на руках, тускло освещенные заснеженные улицы, дворничиху, лениво колушающую сугроб у подъезда дома, — все было страшно далеко, чуждо тому, что произошло в этот вечер в однокомнат-

ной квартире в районе Щелковского метро... Он долго не мог заснуть, думая о том, что видел на семинаре, вспоминал лица участников, их слова, взгляды. Что-то радостное было в том чувстве, которое они возбудили в нем, и он старался его сохранить. Он спрашивал себя: что случилось со мной? Ничего. Может быть, я понял, что не надо искать далеко то, что дано человеку от рождения?

...С чего начинается Родина?.. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать. И с внешности нашей, которую у нас никому не отнять.

Х

На улице Вилковского оглушил знакомый крик и рев:

— Не мешайте транспорту! Проходите быстрее! Не останавливайтесь!

Теперь, когда служба в синагоге кончилась, лающие голоса репродукторов стали еще более настойчивыми, в рядах милиционеров и дружинников произошла какая-то перестройка, и они приступили к операции, цель которой, видимо, состояла в том, чтобы в кратчайший срок очистить улицу. Взявшись за руки, милиционеры рассекали толпу и, захватывая как бы в тиски целые группы людей, направляли их то в один, то в другой конец улицы Архипова, не давая никому задержаться перед синагогой ни одной лишней минуты. Все это, разумеется, вызвало новую толкотню и давку, потому что многим из тех, кого теснили в сторону Маросейки, нужно было совсем не туда, а другие не хотели уходить, не разыскав своих близких. "Проходите!.. Быстрее!.. Не удержи-

вайтесь!” — угрожающе кричали милиционеры. Ревели все репродукторы, крик и рык заполнили улицу Архипова, шум был такой, что в ушах звенело.

Давиду Вилковскому и Марку Давыдовичу удалось некоторое время задержаться на каменных ступеньках синагоги. Здесь милиционерам помогал некий человек в фетровой шляпе, вероятно, синагогальный служка, который суетился, размахивал руками и кричал: ”Все!.. Все кончилось!.. Расходитесь!” Пока Марк Давыдович искал глазами своего сына, Вилковский наблюдал за действиями милиции; с высоты хорошо видно было, что делается на улице, и он вскоре понял, что тут работают специалисты, вероятно, особая бригада, обученная для разгона демонстраций... которых в Москве не бывает, добавил он про себя. Где же они обучались этой технике? Неужели кто-то ездил перенимать опыт у французских ажанов или лондонских бобби, которым приходится постоянно воевать с демонстрантами и забастовщиками? Моя милиция бережет меня впрок — она готова к разгону демонстраций и собраний, не назначенных по разнарядкам райкомов, и это умение пригодилось. Как всегда, евреи первые.

Вилковскому не пришлось долго предаваться размышлениям. Позади него что-то стряслось, и стоявшие там люди буквально обвалились на тех, кто, как и он сам, находились на более низких ступеньках. Вилковский чуть не распластался на тротуаре, но было слишком тесно, и кто-то подхватил его. Оглянувшись, он понял, что произошло: милиционеры и дружинники проникли на площадку, отделяющую вход в синагогу от колонн и ступенек ее фасада, и, взявшись за руки, теснили и сбрасывали вниз людей, стоявших на ступеньках. Марк Давыдович куда-то исчез, искать его было поздно, потому что Вилковский оказался

в середине небольшой группы, окруженной плотным кольцом милиционеров, которые повели всю группу к Солянке. Ему так и не удалось выяснить, что стало с Марком Давыдовичем, он боялся, что старика сбили с ног.

Когда группу, в которой был и Вилковский, повели к Солянке, цепь милиционеров внезапно разомкнулась. И тут снова что-то произошло, люди стали спотыкаться и падать. Все это сначала выглядело как-то странно, почти нереально, пока он не почувствовал, что кто-то схватил его сзади и грубо толкнул вперед на стоявшую в двух шагах старую женщину. Он полетел вместе с ней на тротуар. Старуха громко заплакала, и все вдруг обрело реальность. Вскочив на ноги и чувствуя, как у него перехватило дыхание от возмущения, он ринулся назад в толпу милиционеров и, увидев высокого, крепенького лейтенанта, подскочил к нему с криком:

— Что вы делаете?

Лейтенант посмотрел на него недвижимыми, как будто чуть-чуть усмехающимися глазами.

— Как ваша фамилия? — спросил Вилковский.

— Фамилия? — переспросил лейтенант, тут он действительно усмехнулся и, слегка обернувшись, подал кому-то знак рукой.

На спину Вилковского обрушились чьи-то кулаки. Он поднял руки, чтобы защитить голову, но в тот же миг почувствовал страшный удар в ногу, нанесенный сзади носком сапога. Все, что произошло дальше, он не помнил и очнулся уже в автобусе. Один из находившихся рядом, парень с очень смуглым лицом и курчавыми черными волосами, помог ему сесть. Он был в берете и, может быть, оттого напомнил Вилковскому портреты Че Гевары, хотя был намного моложе кубинца и безо всяких признаков революционной бороды.

У меня немножко мутится в голове, подумал Вилковский. Он стал ощупывать ногу и с радостью убедился, что штанина суха, сапог не разодрал кожу до крови. Кроме задержанных — их было человек шесть-восемь, — в автобусе сидело еще примерно столько же милиционеров. Вилковский вдруг ощутил резкий толчок, машина тронулась с места и стала набирать скорость. Он все еще не мог придти в себя, теперь уже не от возмущения и боли в ноге, а скорее от удивления. Вот тебе и Кол-Нидре, в милиции ты ее не услышишь... Он был доволен, что сумел пошутить про себя, и стал приглядываться к товарищам по несчастью.

Вскоре стало понятно, что задержанные вместе с ним на улице Архипова знают друг друга и что сегодняшнее происшествие не вызывает у них удивления; похоже на то, что и езда в милицеском автобусе им не в диковину. Не очень-то стесняясь милиционеров, они громко разговаривали между собой и даже обменивались шуточками.

— Как вы думаете — куда нас везут?

— В участок. Куда же еще?

— В вытрезвитель! Есть спецвытрезвитель для трезвых евреев: женский вытрезвитель номер восемь, у Киевского вокзала.

— Самый шикарный?

— Не обольщайся, Леня. Есть и тюремные камеры того же назначения.

— Точно. Я сам сидел в такой камере; на стенах — следы магендавидов.

— Работа Алика Когана. По этой части мастер.

Он, оказывается, попал в компанию тех самых евреев, с которыми и хотел познакомиться. Правда, не при таких обстоятельствах — но теперь уже поздно жалеть. Разговоры в автобусе велись в бодром, шутовском тоне, и Вилковский вскоре сам почувствовал прилив бодрости. Может быть,

он ощущал всего лишь нервный подъем, но это сочеталось еще с каким-то странным чувством удовлетворения. Самым странным было то, что казалось, будто он испытывает знакомое, напоминающее что-то далекое, не совсем забытое. Ну, как я сразу не догадался? Это чувство товарищества. Оно приходит, когда тебе угрожает опасность, но ты не одинок, и с тобой будет то же самое, что и с другими, ты одно целое с ними. А главное, ты сам этого хотел, тебе не в чем себя упрекнуть.

Автобус замедлил ход, сделал разворот, остановился. Два милиционера сошли и плотно закрыли за собой дверцы.

— Вытрезвитель! — торжествующе сказал тот из задержанных, кто пророчил это с самого начала. — Что я вам говорил?

— Уверен?

— Я следил за дорогой. Мы на Калининской набережной, сейчас увидите. Здесь мы встретим знакомых.

— Думаешь, тебя запомнили?

— Думаю, сюда обязательно пожалует кто-нибудь из ОВИРа. Или сотрудники других отделов и учреждений, занимающихся евреями.

— Прекрати болтовню, Лева!

— Что я сказал?

— Все равно, лучше помалкивай.

Тут снова открылись дверцы, два милиционера стали у выхода, один сказал:

— Давайте выходить. Только по порядку. По одному.

— Куда? — спросил тот, кто уверял, что знает, куда их привезли.

— Сейчас увидите, — сказал милиционер.

— Почему нас задержали?

— Ничего не знаю, — сказал милиционер. —

Выходите!

Давид Вилковский вышел из автобуса послед-

ним. Он увидел приземистый кирпичный дом и забор, освещенный тусклым фонарем. Улица была тиха и пустынна, но с другого ее конца слышался гул машин, мчащихся по магистрали. Возможно, шум доносился с моста через Москва-реку, но Вилковский не стал оглядываться и проверять свое предположение — в сущности, не имело никакого значения, в какой район города их привезли. Милиционеры провели его через двор мимо свалки, открыли обитую железом дверь, и он оказался в длинном коридоре, освещенном мертвенным неоновым светом. Вилковский вдохнул воздух коридора — застоялый кислый дух, смешанный с запахом дезинфекции, и подумал, что этот запах ничуть не изменился с тех самых пор, как он узнал его много лет назад в другом городе, даже в другой стране, не говоря о совершенно других обстоятельствах. И вот, такой же запах здесь, в Москве! Похоже, однако, что здесь и в самом деле не милицейский участок, а вытрезвитель, потому что к креозоту примешивался другой запах, напоминавший вонь несмытой блевотины. В конце коридора промелькнула фигура в белом халате, а из открытой двери одной из комнат, возможно, приемной, явно несло табаком и винным перегаром — запахом пьяниц.

”Сюда, во вторую!” — скомандовал маленький старшина милиционерам, которые вели Вилковского, и открыл дверь.

Вилковский увидел комнату с голыми стенами и зарешеченным окном, несколько железных, ничем не прикрытых коек с ржавыми проволочными сетками, стены были выкрашены масляной краской, но пол оказался весь в подозрительных пятнах. И хотя, по-видимому, здесь недавно убирали, даже мыли пол, все же запах давнего пота и давней блевотины сохранился, как обычно сохраняются запахи давних мук и горестей в тюрьмах, поли-

цейских участках и больницах. Единственная лампочка, висевшая над дверью в проволочной сетке, давала не так уж много света, но все же здесь было светлей, чем в автобусе, и Вилковский впервые внимательно посмотрел на людей, задержанных вместе с ним на улице Архипова. Один из них, маленький, невзрачный молодой человек, был похож на щуплого подростка; он был в мятом пиджаке и такой же рубашке с расстегнутым воротом, в пузырящихся брюках и стоптанных башмаках; его давно не стриженные волосы не были даже расчесаны. На соседней койке сидели еще два молодых человека, оба бородатые. И подросток в берете, который в автобусе показался Вилковскому чем-то похожим на Гевару, был здесь, стоял у окна.

Все сидевшие на койках тоже внимательно оглядели Вилковского, один из бородачей спросил:

— Вас взяли у выхода из синагоги?

— Нет, — ответил Вилковский. — Немного подалее, на углу Архипова и Солянки.

— Значит, вы тоже нарушили свободу движения транспорта?

— Когда меня сбили с ног, я пробовал протестовать. А вы?

— Ну, мы все давно отпетые нарушители. Кроме, пожалуй, вот этого молодого человека.

Он показал на подростка, стоявшего у окна, и улыбнулся ему.

— В таком случае, вы наверное знаете, что нас ожидает? — спросил Вилковский.

— Нет. Вот это как раз неизвестно. Заранее не угадаешь.

— Почему не угадаешь, Рафа? — возразил щуплый молодой человек в мятом пиджаке. У того, кого он назвал Рафой, в темной козлиной бородке была седая прядь; одет он был в куцый пиджак, в мятую рубашку без галстука.

— Вас задержали впервые? — обратился Лева к Вилковскому.

— Да.

— А вы давно в отказе?

— Что? — сказал Вилковский.

Тот, кого назвали Рафой, рассмеялся:

— Лева убежден, что все люди, во всяком случае, все евреи в курсе дел, волнующих его самого. В отказе — это те, кому отказано в визе в Израиль.

— Нет, — сказал Вилковский. — Я не отказник и даже не подавант. И не подушечник, — добавил он с улыбкой.

— О, вы уже владеете словарем? Не миновать вам ходить в подавантах, а может, и в отказниках, чего я вам, конечно, не желаю...

— С вами все в порядке, — сказал Лева. — Отделаетесь штрафом, больше пятнадцати рублей с вас не возьмут. Нам, старым отказникам, нарушителям-рецидивистам, могут вклеить по пятнадцати суток ареста.

— Не будем заниматься прогнозированием, — сказал Рафаил. — Алгоритм составить нельзя.

— Можно, — сказал Лева.

— Ну, хорошо, — сказал Рафаил. — Почему же ты не предвидел, что станешь отказником?

— Когда я подавал документы в ОВИР, они не так широко толковали понятие секретности.

— Вот как! — сказал Рафаил. У него был высокий, отчетливый голос. — А разве ты не знал физиков и математиков, имевших "допуск" к так называемым секретам, которым дали визы, в то время как Рубина, специалиста по древней китайской философии, все еще не выпускают? Какие секреты социализма может выдать Рубин израильским агрессорам — изречения Конфуция и Лао-Дзы?

— По-твоему, в отказах нет закономерностей?

— Одна закономерность есть, и состоит она как раз в отсутствии закономерностей.

— Слепой случай?

— Да. Но как особое свойство бюрократической машины, которую не понять тому, кто с нею не сталкивался. Однажды во Львове один старый интеллигент, поляк, точно рассказал мне о самой страшной особенности сталинских лет. Он говорил: "Проше пана, никто не мог разуместь, по каким критериям энкаведешники лапают — то есть хватают — людей. Ну, добже, если бы арестовали только бывших членов буржуазных партий или другую категорию, ну, скажем, блондинов, тогда, по крайней мере, брюнеты были бы спокойны. Но нет. Сегодня берут блондинов, завтра брюнетов, потом рыжих, потом и вовсе лысых — теж враги. Так что всех, проше пана, страх хватае. Все дрожат". Понятно? Сегодня получает отказ в визе физик, завтра гитарист, послезавтра футболист, а заодно специалист по китайской философии, ну и так далее. Таким образом, ни один человек, который собирается подать заявление на выезд, не может быть уверенным, что его выпустят. Вот она, логика и закономерность...

— Ужасная логика!

Это сказал человек, который все время молчал. Бледное тонкое лицо в обрамлении рыжей кудлатой бородки, тонких усов и длинных каштановых волос, спадающих на лоб, делало его похожим на Христа со стандартной олеографии. Одет он был небрежно, но с оттенком артистичности: толстый синий свитер, цветная рубашка с открытым воротом, джинсы и башмаки на толстой подошве: на коленях лежала черная нейлоновая куртка.

Присматриваясь к задержанным, Вилковский поймал себя на том, что ищет общее в их облике, жестах, внешнее выражение их единой идеи. Этот маленький, спокойный, но, видимо, очень решительный Лева, этот тихий и, кажется, наивный

Леня и этот Рафаил, носящий неприметную на-
смешливую маску на лице, окажутся они похожи-
ми на Александра Владимировича?

XI

*...С чего начинается Родина? Со многих смер-
тельных утрат. Возможно, с предательства ро-
дины, в котором тебя обвинят. А может, она
начинается с того, что ты начал копить, с той
тысячи рз, за которую здесь можно свободу ку-
пить.*

— Начните с генотипа еврея, — сказал однажды
Александр Владимирович, — и многое станет вам
ясным. Вам будет легче понять, что такое наша
алия...

Но Вилковский уже и без того кое-что понимал,
рассматривая Александра Владимировича, его на-
пряженно-собранное лицо человека, решительно
идущего к своей цели, бесстрашного и вместе с
тем легко ранимого и печального.

Однажды Вилковский его спросил:

— А когда вы, собственно, пришли к мысли
уехать в Израиль?

— В шестьдесят восьмом...

— После Чехословакии?

— Да.

— Ясно... В вашем сердце всегда преобладала
очень знакомая мне мечта о разумном устройстве
жизни. После того, как она растворилась в детской
колонии, вместо нее осталась тоска, но не смире-
ние, не успокоение. Заняться собственной жизнью,
собственными делами — это не для вас. Даже на-
ука надолго не заполнила место, занятое прежде

мечтой. Кстати, как вы пришли к науке-то после листовок?

— Это началось со следователя Госбезопасности, полковника Смирнова. Он вызвал моих родителей и предостерег их, чтобы они не позволили мне учиться в гуманитарном вузе, а только в техническом, подальше от идеологии, иначе я снова попаду к ним.

— Так, так, — сказал Вилковский, теперь уже с усмешкой. — Умный полковник! Как будто математика, техника, кибернетика могут защитить, избавить человека от мечты! Даже если она лопадется, как пузырь, при первом соприкосновении с действительностью, все равно остается вечно возрождающаяся ностальгия. Когда случилась эта история с Чехословакией, которая потрясла особенно сильно тех, кто когда-либо веровал в мечту, а вы не могли ничего сделать, даже сказать об этом вслух, просто выкрикнуть свое несогласие, но и смириться со случившимся тоже не могли, и не ради чехов, до которых вам скорей всего дела нет, вы же никогда их в глаза не видели, но по собственному врожденному влечению к мечте, вот тогда-то вы и вспомнили, что родились евреем, и сразу же решили: ладно, за все, что здесь делается, я не в ответе, потому что произошла ошибочка — я заблудился, вернее, мои предки заблудились, и мне здесь вообще не место! Я другой, я еврей, и вот я уезжаю...

— Я всегда был евреем, — сказал Александр Владимирович, — но я просто этого не знал. Ведь именно то, что я начинал с мечты, как вы ее называете, есть лучшее доказательство, что я еврей по духу.

— Берегитесь! — сказал Вилковский. — Как бы вы не пришли к аргументации Гитлера.

— А он здесь при чем?

— При том, что от него, впрочем, не только

от него, пошло убеждение, что коммунизм и еврейство нерасторжимо связаны; социализм, коммунизм — еврейская идея и еврейская затея; идея родилась еще в древней Иудее, во времена пророков. С точки зрения одних — это похвально для евреев, другие, наоборот, считают, что это как раз доказывает опасность еврейского духа.

— А вы отрицаете?

— Что?

— Еврейский дух, еврейский национальный тип?

— Нет.

— Значит, вы отрицаете, что происходит выталкивание этого типа из русской среды?

— Нет, и этого я не отрицаю.

— Так о чем же мы, черт побери, спорим?

— Все о том же, о первопричинах еврейских бед. По-вашему, причина того, что произошло и происходит с русскими евреями, лишь в противоположности еврейского типа русскому, русской истории, русскому развитию. Это совпадает с точкой зрения юдофобов. Мнения, что русские — хорошие, а евреи — плохие, или наоборот: евреи — сильные, активные, а русские — слабые, инертные, не нуждаются в свободе, — принципиально ничем не отличаются друг от друга. Оба ведут к Гитлеру.

— Может быть, его-то оставим в покое?

— Невозможно. Есть общая черта, объединяющая испокон веков всех антисемитов: убеждение, что еврейский тип чужд и враждебен другим нациям. Вы пришли к убеждению, что еврейский тип чужд России. Но любой русский антисемит может резонно спросить: а почему ваша нация оказалась чуждой Франции, Германии, Испании, причем в самые разные века? Почему всюду и всегда существовал антисемитизм? Значит, в нем, в евреях, есть что-то глубоко чуждое и опасное

для народов, для самых разных народов. Именно так рассуждал, например, Достоевский. Протяните руку, писал он, к какой хотите первой, лежащей подле вас газете: непременно что-нибудь найдете о евреях и непременно одно и то же, все одни и те же подвиги! Разумеется, добавлял Федор Михайлович, мне ответят, что все обуреваемы ненавистью, а потому все лгут. И он с этим даже соглашался, ведь он был человеком неглупым: да, может случиться, что все до единого лгут и обуреваемы такой ненавистью, но с чего-нибудь да взялась же эта ненависть, ведь что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть? И с другого конца, но он приходил к тому же выводу: причина в нем, в еврее. Значит, единственно правильное, ну не правильное, а во всяком случае логическое решение, окончательное решение как раз и предложил Гитлер: в огонь! в газ!

— Послушайте: помимо рассуждений и теорий существует практика, реальность...

— Прекрасно! — воскликнул Вилковский. — Вот, например, моя практика, моя жизнь. В тридцатых годах, когда я был студентом, во многих странах считалось, что "юдео-коммунисты" есть главная сила, толкающая людей к социализму и коммунизму. Но вот, благодаря неожиданному повороту истории, я оказался гражданином первой социалистической страны. И уже через несколько лет, открывая по утрам газету, я читал статьи и фельетоны о безродных космополитах, которые все, за редким исключением, оказались евреями. И сегодня меня убеждают, что я главный враг социализма, все по той же старой причине — потому что я сионист, еврей. В молодости мне говорили, что я коммунист лишь потому, что я еврей. А теперь по той же причине я стал врагом коммунизма. Что же я за странный и невозможный человек?

— Ничего странного, — сказал Александр Владимирович. — Вы и есть еврей. В любых условиях вы склонны осуждать, критиковать.

— Но если это так, значит, из нас двоих только я еврей.

— Почему? — удивился Александр Владимирович.

— Потому что если нонконформизм — это, по-вашему, главный атрибут еврея, то вы, став сионистом, его теряете.

— Но разве плохо, что евреи создали, наконец, свое государство?

— Плохо то, что это государство, не успев возникнуть, уже стало евреем среди государств. Очага, убежища, где евреи могут жить, как все, — нет.

— Не будь на Ближнем Востоке нефти, все сложилось бы иначе.

— Может быть. Но что такое нефть? Горючее или орудие рока? вспомните, что Моше-рабейну⁴⁸, когда вывел народ из Египта, остановился в том месте, где, как теперь выяснилось, есть нефть. Но его посланцы отправились в разведку и, не дойдя до территории нынешнего Ирака — и там есть нефть, — избрали ту единственную полосу земли, где нефти нет. Что все это значит? Рок уже тогда готовил евреев к тому, чтобы они из народа Книги превратились в воинов, а возрожденный Израиль стал новой Спартой?

— А что вы скажете о подвигах наших евреев, которые получили выездные визы? Они требуют, чтобы им преподнесли все готовенькое, русская новая алия уже многих разочаровала в Израиле.

— У них короткая память, у этих разочарованных. Попробуйте представить Израиль без русских евреев. Без них не было бы Трумпельдора⁴⁹ и халуцианского движения⁵⁰. Израиль без русских евреев — это Израиль без Бен-Гуриона, Бен-Цви, Шарета, Эшкола, Голды Меир, Рутенберга, кото-

рый электрифицировал страну. Без Дизенгофа и Усышкина — строителей ее первых городов, без Бялика, без Ахад-ха-Ама⁵¹.

— Нынешняя алия из России не похожа на первые волны.

— А русский колхозник похож на русского мужика, которого описал Толстой? В России ничего не произошло за последние шестьдесят лет?

— Но многие из наших евреев, которые уже выехали, ищут свою историческую родину в Бруклине, страну обетованную в Канаде или Австралии, даже Германия им кажется подходящей новой родиной, память о Бабьем Яре их не смущает. Хотите послушать, что пишет человек, который все это видел своими глазами? Вот его письмо. Слушайте: "В Вене и Риме сидят московские и ленинградские кандидаты разных наук, которые очень нужны в Израиле, и пишут меланхолические письма о том, как им тяжело жить среди публики, собравшейся в эмигрантских пунктах. Что это за публика, я могу подтвердить, сам там был и ощутил полузабытое чувство, которое испытал когда-то в исправительно-трудовом лагере. В Остии, под Римом, я встречал жуликов, что вывозят мебель из домов, которые сдали им на время итальянцы. Все они легко получили в России выездные визы, их даже поощряли. Но что делают в Остии высококолобые интеллигенты, которые уверяли, что они борются за свободу личности? Теперь они заняты поисками страны, где будет сытнее желудку, а не личности. И наша эмиграция потихоньку превращается в миграцию. ХИАС⁵² добывает им визы, "Джойнт" оплачивает билеты на самолет... Все это так печально и неожиданно, что и писать об этом не хочется".

— Напишите автору письма, чтобы он прочитал Пасхальную хаггаду⁵³. Там все есть. Даже про желудки сказано почти как у него. Бывшие еги-

петские рабы затосковали по горшкам с мясом, которые у них будто бы были в Египте. Что тут удивительного и неожиданного? Психология русских евреев отражает историю их жизни, их исковерканную душу. В России существует пьеса, которую написал русский драматург Чириков. Она написана еще до первой русской революции, называлась "Еврей". Действие происходило во время погрома в русском губернском городе. Там, в старой пьесе, встречаются такие реплики: "Требуют креститься — крестись! Богатей — тогда и тебе будут кланяться. Вот и вся логика жизни!". В той же пьесе еврей-рабочий говорит: "Кто понял, почему один человек грызет другого человека, — тот уже не русский, не поляк, не жид. Он просто человек. Разве Маркс и Бебель — жида? Разве они немцы?". И есть в пьесе молодой меламед Нахман, измученный жизнью и чахоткой, но верующий, что "когда-нибудь и мы придем домой", и тогда он отдохнет. В этой пьесе, кончающейся сценой погрома, Нахман говорит евреям-революционерам: "Дождитесь, пока придет Маркс и поведет в обетованную землю! Только смотрите: не позабыл бы он захватить евреев. Когда поведет всех людей в обетованную землю, кого он позабудет? Жидов он позабудет!". Что ж, подтвердилось это пророчество или не подтвердилось? Кандидатов и докторов наук пока считают "секретносителями", но вот опыт евреев в строительстве социализма, их партийные дела никого не интересуют, их легко выпускают из мира, который они строили, утверждали, защищали. И сегодня в Иерусалим возвращаются люди, которые никогда о нем не думали в чаду своих партсобраний. Возвращаются те, кому он мог только померещиться в пламени северного сияния, когда их вели по тундре под охраной овчарок.

— Да, странная алия, — согласился Александр

Владимирович. — На днях один счастливчик, получивший разрешение, рассказывал: прихожу в голландское посольство за визой в Израиль. Боже, что я вижу! Люди в узбекских ватных халатах и тюбетейках — вероятно, бухарские евреи. Старики в черкесках, кажется, горские евреи, таджикские евреи. Пахло какими-то азиатскими запахами, раздавались возгласы на каких-то непонятных наречиях. А вы что думали? — спросил я его. Все евреи физики или математики и живут в Москве и Ленинграде? Вы бы еще больше удивились, если бы смогли проникнуть в черепные коробки кандидатов на отъезд. Среди них есть махинаторы, спасающиеся от тюрьмы, люди с закваской старой одесской Молдаванки, люди, которые убегают от жен и семей. А сколько среди них неудачников и бездарностей, думающих, что здесь им не дали проявить талантов, зато уж там они себя покажут! Но основная суть нашей алии — ее душевная стойкость, жажда свободы, гордость, упорство. Все это можно найти у самых разных, у самых простых евреев, чьим участием и сотворилась советская алия. Зачем говорить лишь о пене, лишь о накипи, которые неизбежны в подобных случаях? Вы бываете у синагоги на улице Архипова?

”Хроника улицы Архипова”. Наблюдения. Зарисовки. Разговоры. Типы... Записи из блокнота Давида Вилковского, сделанные возле синагоги на улице Архипова.

Однажды он познакомился с одним ”отказником” из Минска, бывшим полковником Красной Армии. Полковник советской армии — сионист?

...Немолод, коренаст, с сильными мускулами вокруг рта, с волевым подбородком и густыми бровями. От всей его наружности, движений, звука

голоса, взгляда веяло силой и решительностью.

— Совершенно верно, — сказал он после первых слов, — я верующий еврей.

— Как вы пришли к вере? — спросил Вилковский.

— Рациональным путем. Впрочем, я думаю, это неизбежно для каждого еврея, если он только не станет глушить в себе голос разума. Взять хотя бы моего отца. До революции он был балаголой⁵⁴ в белорусском местечке, потом стал рабочим-коммунистом. Таким рабочим и таким коммунистом, что дошел до должности директора небольшого завода. Но вот наступил пятьдесят третий год. Когда на заводе собрался митинг, и мой отец тоже захотел выступить, сказать о своем возмущении врачами-убийцами, он ведь свято верил в каждую газетную строчку, его согнали с трибуны криками: "Всех жидов истребить надо! Все вы одинаковы!". Я тогда отдыхал в военном санатории на Кавказе. Возвращаясь в свою часть, послал отцу телеграмму, и мы встретились в Орше, на вокзале. Отца трудно было узнать: "Что же это такое делается, сынок? Вот ты грамотнее меня, дослужился до полковника, ты должен мне объяснить: что происходит? Ведь я этот завод построил, каждый кирпич прошел через мои руки. Где же они, труды мои? Где вся наша работа, наши идеи, наша правда? Почему мы опять пришли к ненависти к жидам? Объясни!". Вот так... А что я мог ему объяснить? Кто мне объяснит, почему за неделю до этого в столовой военного санатория один капитан, глядя мне в лицо, сказал: "Где вы были во время войны? В Ташкенте?". Я побелел и схватил графин, стоявший на столе. До сих пор с ужасом думаю, что я мог бы его тогда убить, если бы у меня силой не отобрали графин. А ведь тот капитан видел орденские ленточки на моем кителе и нашивки за ранения и не мог не понимать, что я

прошел всю войну: я начал ее штурманом на боевых самолетах и кончил комиссаром эскадрильи под Берлином. Но такие, как тот капитан, и наградам на груди евреев придумали объяснение: дескать, политика у нас такая — награждать представителей всех наций. Но я доскажу про отца. С завода его сняли, и хотя после смерти Сталина восстановили, но уже не на прежней должности. Он пенсионер, и в своем местечке именно он собирает у себя на дому миньян⁵⁵. Так-то... Каждый еврей доходит когда-нибудь до кульминационной точки, каждый в отдельности и народ в целом. И тогда побеждает вера. Я рационалист, но признаю, что тут есть что-то провиденциальное...

— Погодите, — сказал Вилковский. — Ведь провиденциальное — это мистическое. Как же вы можете давать этому рациональное объяснение?

— А вы посмотрите на меня и на факты моей жизни. Почему даже ученые с мировым именем заявляют, что они религиозны? Они лучше других знают, что есть нечто такое, чего мы не видим, о чем знать не можем — нет не только дверей, но даже щелочки, чтобы заглянуть в тот недоступный мир. Что есть жизнь? Слепой механизм сохранения случайностей? Эволюция случайна, потому что случайны мутации, и все, что есть, могло бы и не быть, все разнообразие жизни на земле, включая человека, есть результат слепого случая. Но скажите — как может живой человек, который чувствует в душе любовь и жалость, существовать с этим знанием? И вот, я чисто рациональным путем прихожу к выводу, что нужно мне, мне просто необходимо верить во что-то высшее, невидимое и недоступное моему разуму, нечто выше моего разума и его суду не подлежащее. Нелогично и парадоксально? Так я же еврей, а разве история евреев не парадоксальна? Евреи существуют, вопреки всякой логике. В истории евреев все

чудо, все провиденциально. Если хотите знать, то история евреев — лучшее доказательство, что Бог существует, другого и не надо...

— А как вы пришли к решению уехать в Израиль? Вы, конечно, жили хорошо?

— Что значит — хорошо? Материально — очень хорошо. Но вот пришел в наш институт новый начальник и объявил: "Всех евреев выгоню!". Раньше я бы не обратил на него внимания, немало я таких навидался, никто из них не усвоил, что евреи — особый случай. Помните, как один бессмертный товарищ умер, как только приступил к расправе с евреями? Но вернемся к фактам сегодняшнего дня. Возьмем мой родной город — Минск. Каждый день — новый знак. То некий поэт Лужанин, кстати, депутат белорусского Верховного Совета, печатает стишки про "хорьков", читай "жидков", то выясняется, что знаменитая белорусская партизанка Маша Брускина по отчеству не Владимировна, а Вульфовна, значит, ей памятник не поставят. Тут как раз вызывает секретарь райкома и предлагает выступить против сионизма. Вы человек заслуженный, хорошо воевали, старый член партии, вам и нужно выступить. Согласен, говорю, но выступать надо не против сионизма, а против антисемитизма. Сионизм нам не мешает, а вот антисемитизм отравляет атмосферу... Так все и началось. Я и раньше не мог думать одно, а говорить другое... Подав бумаги в ОВИР, я думал: теперь дело сделано и кончено, а на самом деле все только начиналось. Меня стали таскать на собрания и прорабатывать, воспитывать. На расширенном бюро института я им прочитал лекцию о сионизме. Многие мне потом жали руку по углам, но там, на собрании, исключили единогласно. На бюро райкома кто-то из молодых крикнул: "Это же лицемер!". Покажитесь, сказал я ему, дайте на вас посмотреть. Ведь если б я

не вернулся в часть, не кончив курс лечения в госпитале, и не сел за штурвал самолета, вы бы здесь сегодня, пожалуй, не сидели. Другой меня спросил: вы всерьез считаете, что у нас есть антисемитизм? А вы сомневаетесь? Но вот товарищ такой-то заявил, что у нас нет антисемитизма. И называет одного высокопоставленного товарища. Для него нет, говорю, а вот для меня есть... Ну, знаете! — тут все они развели руками, дескать, я пропащий человек. В самом деле пропащий — называю вещи своими именами. Последний разговор был у меня с военными старичками в военкомате. Вызвали меня туда на расправу, на собрание генералов и полковников в отставке. Я как раз болел, имел бюллетень, но военком по телефону гаркнул: "Ваша явка обязательна — это приказ!". Что ж, отправился я на собрание с температурой. А там старички разыгрались вволю: один требует меня заклеить, другой разжаловать и отдать под суд. Я стал им объяснять свою точку зрения. Встает генерал: "Он нам будет лекции читать? Пусть отвечает на вопросы!" — "Если не дадите мне говорить, я уйду. Вы же сами меня вызвали, так выслушайте". Вот так мы и обменивались любезностями, пока не затронули один щекотливый вопросик, и тут я опять поступил грубо, назвал все своим именем, и получился скандал. Один полковник спросил: "Что ж, выходит, если мы придем в Израиль, ты будешь в нас стрелять?" — "А зачем, говорю, вы придете в Израиль? Что вам там нужно? Мало у вас земли, что ли? А придете — буду стрелять! Израильская армия сюда не придет, за это я вам ручаюсь". Вот так! Представляете, что после этого было? Так закончился мой с ними последний разговор. Впрочем, вру. Последний разговор состоялся совсем недавно. Меня давно уже исключили из партии, вытурили с работы, разжаловали, лишили пенсии. Но визы не

давали. А тут вызывают в одну организацию, которой поручено наблюдать, так сказать, за тишиной, чтобы никто не пикнул, даже если его душат. Так вот, они меня вызывают и говорят: мы вас отдадим под суд, если не прекратите агитировать за отъезд в Израиль. Ну знаете, говорю я, вы не по адресу обращаетесь. Ко мне приходят только те, кто уже решился, кого вы уже сагитировали, убедили, мне уже не в чем их убеждать... Вот это и был мой последний разговор.

Другой пожилой человек, с седой щетиной на грубоватом лице. Вилковский так и не узнал, кем он был. Человек в синем плаще и синей шляпе говорил в синагоге с необыкновенной энергией, со страстью, не стесняясь, что могут услышать посторонние:

— Вы скажите мне лучше, когда мы, наконец, что-то пойдем? Шесть миллионов убили в последнюю войну, и мы ничего не поняли. Сколько еще должно быть загублено жизнью, чтобы мы поняли? Должен же быть какой-нибудь предел! Я вас спрашиваю, где предел?

— В том-то и беда: заранее евреи предела не чувствуют.

— Ну, хорошо. Сами они не чувствуют. Но ведь им об этом говорят, напоминают. Сколько можно напоминать? Расскажу вам историю, которая случилась со мной прошлой зимой. Приезжаю в Донецк. Вечером захожу в ресторан при гостинице поужинать, места все заняты — выходной день. Вдруг вижу — сидит за отдельным столиком человек со звездой Героя социалистического труда на лацкане пиджака. Смуглый такой, скуластый, как будто углем припорошенный, сразу видно — шахтер. Он замечает, что я ищу место, и говорит: "Садись. Я здесь хозяин". Хорошо. Благодарю, сажусь за его стол. Слово за слово, поговорили мы о Киеве, о Москве, и вдруг

он говорит: "Аркадий Райкин — замечательный актер, я его уважаю. И ведь неплохо ему живется у нас, народного получил, слава хоть куда. А все-таки не утерпел: переправил в Израиль миллион двести тысяч". — "Откуда, спрашиваю, вы знаете?" — "Ну как, откуда! Видишь, кто я?" И показывает на звезду. "Между прочим, говорю, я тоже еврей!" — "Ты еврей?" — "Да, говорю, чистый еврей. Так вот, говорю, хотя деньги Аркадия Райкина я не считал, не думаю, чтобы у него были миллионы. Но думаю, и нет, не думаю, а твердо знаю, что за границу у нас и десятку не вывезешь без разрешения. А тут миллион. Это же мешок денег! Как он мог его переправить, да еще в Израиль?" — "А все-таки нет дыма без огня. Слух пошел, значит, что-то было". — "О евреях и не такие слухи ходят. Если хочешь послушать, я тебе тоже кое-что расскажу про евреев". Хорошо. И начинаю ему рассказывать свою биографию: кто я, как и где воевал, сколько у меня ранений, какие награды. Потом рассказал ему, как убили мою мать и троих братьев. А в конце говорю: "Давай теперь рассудим по-человечески, если хочешь, по-христиански". — "Ну хорошо, — сказал он. — Я веру уважаю". — "Так вот, — говорю, — ты мне ответь на один вопрос. Только не сразу — подумай. Я тебя торопить не стану, вечер еще только начинается. Сначала хорошенько подумай, а потом отвечай". — "Ладно, — говорит. — Какой вопрос?" — "Вот, — говорю, ты себе представь, вообрази такую ситуацию: две тысячи лет тому назад Россию уничтожили, разгромили, и народ русский рассеяли по свету. И мучили его, мордовали, а он все же сохранился, и не забыли русские, кто они есть, что они русские люди. И вдруг, вот ты, один из этих русских, узнаешь: воскресла Россия! Опять существует русская страна, государство. Что бы ты сделал? Не отвечай сразу — подумай". — "Да

тут и думать нечего, — сказал он. — Я бы на карачках приполз назад, в Россию”. А вы говорите, русские не понимают. Вы им только объясните...

Но были другие евреи, которых он тоже много раз видел. И вот евреи, как бы взаимно исключавшие друг друга, оказались в поле зрения Вилковского рядом, и ничего он не мог с этим поделать. Первый из этих антиподов был Цезарь Золотарь.

Этого блатмейстера, стяжателя, тайного доносчика, избравшего своим поприщем литературу, Вилковский встречал на пляже на Рижском взморье, где тот сидел в оранжевых трусах на заграничной махровой простыне и все время говорил, говорил, говорил, как будто боясь, что его могут оборвать и не дадут что-то сказать. У него было обрюзгшее, немного отечное лицо с тускло блестящими водянистыми глазами и высокий нахальный голос, которым он заглушал внутреннюю неуверенность, а быть может, глубоко упрямый в душе страх.

— Ездил я недавно в Лондон, знаете ли, на футбол, — верещал Золотарь. — Имел с собой только сто десять долларов, но вышел из положения. Я ведь стреляный воробей, везу с собой кипятильник и чемодан с продуктами, так что на еду не пришлось тратить шиллинги, покупал только хлеб — двадцать пенсов! В Лондоне еда дорогая: двадцать пять шиллингов может стоить обед в приличном ресторане, и столько же — пара туфель. Я выбрал туфли. А что вы бы выбрали?

Звали его в родном украинском городе Виннице Цудиком, но в Москве он подписывался опереточным именем Цезарь. Однажды ему крупно повезло: влиятельный сталинский чиновник, подставной академик, должно быть, потому, что жил с актрисой, игравшей главную роль в ”нужном” спектакле по пьесе Цезаря, рекомендовал ее к по-

становке по всей стране, после чего автор разбогател, или, как говорят драматурги, унес кассу. С тех пор прошло много лет, и сочинитель некогда нужной, но давно забытой комедии непрерывно рыскал по задворкам литературы, вынюхивая, чем и где можно поживиться, довольствуясь взамен того крупного куша множеством мелких кусочков. Приезжая на Рижское взморье, Цезарь разоблачался, снимая шведский костюм, голландскую рубашку, парижский галстук и прочие принадлежности туалета, добытые путем унижительной экономии во время своих заграничных поездок, и, оставшись в одних итальянских или французских трусах, начинал вслед за телом обнажать душу. Он болтал на пляже, не умолкая ни на минуту, рассказывал о делах, гонорарах, связях, заграничных путешествиях, засыпал слушателей сведениями о лондонских ценах в шиллингах и пенсах, сравнивал их с ценами в других городах и других странах, обнаруживая обширные познания в обменном курсе валют и ценах не только в Европе, но и в Японии, Америке, даже в некоторых африканских странах. Невозможно было понять: зачем ему нужны все эти кофточки, курточки, сумочки? Детей у него не было, а состарившаяся жена не выезжала из своей подмосковной дачи. Что он делает с этими заграничными шмотками? Складывает их в сундуки? А потом время от времени посыпает нафталином?

Покончив с рассказом об удачных покупках в лондонских универмагах, Цезарь переходил к успехам друзей, занимающих недоступные ему как еврею должности. С особым завистливым восхищением говорил он об одном юдофобе, громадной, безобразной скотине.

— Все-таки Толя хороший человек, — так намекал он на свои близкие отношения с литературным сановником. — В Лондоне у него была

подотчетная тысяча фунтов, и он никогда не отказывал, если к нему обращались с просьбой одолжить несколько шиллингов. И не раз оказывал протекцию евреям...

— Вам, что ли? — спросил один из слушателей.
— Помню, помню...

Давид Вилковский тоже помнил. 13 января 1953 года, в зловещий день опубликования в московских газетах сообщения об аресте группы еврейских врачей, "убийц в белых халатах", была напечатана хвалебная рецензия на пьесу еврея, подписанная сановником, который, возможно, упорнее остальных старался изгнать евреев из литературной жизни. Автором пьески как раз и был человек, разглагольствовавший нынче на пляже.

— Вы бы рассказали, как изобразили в своей пьесе еврейку-шпионку, — заметил другой слушатель.

— Знаю, знаю, откуда вы это взяли, — без смущения ответил Цезарь. — На худсовете одна актриса спросила: "Анна Григорьевна у вас задумана как еврейка? Она все время говорит у вас еврейскими речениями". Эта актриса, знаете ли, родом из Средней Азии, тоже мне нашлась специалистка по еврейским речениям.

— А вы-то специалист?

— Я? С чего вы взяли? Из всего еврейского я помню только слово "латкес"⁵⁶. Их делала бабушка зимой. Ее убили немцы...

Он на секунду пригорюнился, но сразу же встрепенулся и стал рассказывать, как во время войны в румынском городе Ботошани один богатый еврей пригласил двух советских офицеров на еврейский обед с фаршированной рыбой. Одним из этих офицеров был Цезарь.

— О, если бы я умел разговаривать по-еврейски! — верещал он. — Я бы у этого еврея раздобыл парочку отрезков, у него, знаете ли, был мануфак-

турный магазин... Но я ни слова не понимаю по-еврейски и никогда не писал на еврейские темы...

Но вскоре Золотарь стал писать на эти темы, и от новой его продукции так пахло, что Вилковского просто тошнило.

Взглянув однажды на международную страницу "Литературной газеты", Вилковский обнаружил статейку драматурга с Рижского взморья: "Что я видел в Мюнхене". Он, разумеется, прорвался в Мюнхен и писал, как в дни трагедии, случившейся с израильскими спортсменами, будто бы слышал в пресс-центре олимпиады разговоры о том, что виноваты в преступлении не террористы, а израильтяне, которые почти что сами себя расстреляли. Виновато израильское правительство, сыгравшее некую "чудовищную провокационную роль".

Встретив через пару дней знакомого журналиста из иностранного отдела "Литературной газеты", Вилковский поздравил его с мерзкой статейкой, но тот стал отнекиваться, мол, редакция здесь ни при чем:

— Мы этому Цезарю ничего не заказывали. Он сам принес свое сочинение. Напечатали потому, что написано на нужную тему. Понимаете?

— Очень хорошо понимаю, — сказал Вилковский. — А как насчет христианских младенцев, чья кровь идет в мацу, — это пока не стало нужной темой?

— Я вижу, Давид, вы совершенно неосведомленный человек, — ехидно парировал тот. — Вы не слышали, что одна газета в Дагестане напечатала именно такой материалчик? Правда, там евреи лишь покупали, притом мусульманскую кровь, для мацы. Все равно им хотели устроить процесс, но в Москве вовремя узнали и прекратили самодеятельность. Что касается олимпиады, заметка "Что я видел в Мюнхене", доложу я вам, не идет

ни в какое сравнение с передачей нашего телевидения. Вы смотрели?

— Нет.

— Тогда вы просто обитаете на Луне, — иронически сказал журналист. — В дни мюнхенской трагедии наше телевидение передало об этом целый репортаж. В нем было все: кадры, снятые в олимпийской деревне, на аэродроме, где произошло убийство, полицейские машины, выстрелы, траурный митинг на олимпийском стадионе, выступление немецкого президента, траурные флаги, траурные марши, словом, все, все, все! Только маленькую деталь забыли: за всю передачу не было сказано, кто убийцы и кто жертвы. Понимаете? Не было произнесено ни слово "арабы", ни слово "израильтяне". Кто-то кого-то убил... Кровавый инцидент. Усе. Так что вы зря обижаетесь на заметку, обвиняющую израильское правительство, в ней все же сказано, с кем именно случилось "происшествие".

— Большое вам спасибо, — сказал Вилковский. — Передайте мою благодарность редакции и автору. Буду ждать с нетерпением новых материалов на нужную тему.

Ждать пришлось недолго. Автор нужного материала "Что я видел в Мюнхене" смекнул, что на такой нужной теме можно еще не раз хорошо заработать, и выхлопотал себе командировку в Вену, где скопилось несколько десятков евреев, не прижившихся в Израиле и желавших вернуться назад в Советский Союз. То, что он напечатал потом об этих евреях, и как изложил их рассказы о причинах своего разочарования Израилем, с невероятной силой раскрывало прежде всего глупость и, главное, чудовищное бесстыдство этого человека. Однако это было лишь началом или, как говорится, разведкой темы. Коварная особенность евреев жить в разных странах оказалась

очень полезной для нашего московского борца с сионизмом. За Веной последовали командировки в Антверпен, Брюссель и Амстердам...

Он стал уже не просто обыкновенным выездным товарищем, которого выездные комиссии не вычеркивают из списка лиц, пользующихся высшей привилегией граждан социалистической страны — возможностью съездить в страну капиталистическую. Отовариваясь и расставаясь со своими мизерными долларами и центами, он в то же время вынюхивал, выспрашивал у приказчиков лавочек дешевых товаров, не знают ли они, где можно раздобыть и какой-нибудь припахивающий материал о местных сионистах или друзьях Израиля. Свои похождения на толкучках Вены и Роттердама он расписывал в неумирающем стиле следователей и прокуроров "по особо важным делам". Любое выражение симпатии зарубежных евреев к Израилю и еврейству подавалось с таким видом, будто это и есть доказательство, что главный раввин Бельгии — опасный заговорщик, а некий антверпенский коммерсант, пославший своих детей учиться в Израиль, хочет превратить всех евреев, где бы они ни жили, в "экстерриториальных" и двойных "подданных". Запах, которым разило от его писаний, был настолько резок, что его нельзя было не учуять, — это был запах провокаций, возбуждавших ненависть к евреям. Каждая статья этого еврея, готового на все, лишь бы раздобыть еще одну заграничную курточку или твидовый отрез, была бальзамом для душ антисемитов.

Вилковский прежде не связывал характеры и поступки людей с их национальностью, но теперь ему все чаще казалось, что связь все-таки есть. Неужто демоны и страсти евреев скрыты в их генах? Столетиями продолжавшиеся бедствия, преследования усилили их душевное упорство и жизнеспособность, но они могли стать и причиной слепоты,

эгоизма, лакейства. Вот этот Золотарь, он, может, родился таким?

Золотарь не был одинок... Пока он разъезжал по Европе и, по мере освобождения чемодана от консервированных галет и копченой колбасы, заполнял его бюстгальтерами или японскими зонтиками, другой стяжатель, пожалуй, еще более нахальный, владеющий русским языком в объеме жаргона базарных торговек с Молдаванки, член секции прозы московского отделения Союза писателей, уже настроил антиссионистский "роман" или целую серию романов, так сказать, широкое художественное полотно, которое можно было сбывать в целом и по частям, по мере надобности разных издательств в этой остроактуальной теме.

Он был родом из южнобессарабского городка Болград — почти земляк Вилковского. Внешностью напоминал сутенера из малохудожественных фильмов: маленькая плешивая голова с залезанными и набриллиантенными остатками волос, костяной нос, тоненькие и сильно нафабранные усики над злым крупным ртом, пронзительные маленькие глаза. Внушительного размера живот придавал его фигуре вид тумбы, посаженной на короткие ножки.

Вилковский хорошо помнил тот вечер, когда он раскрыл литературный журнал, уже лежа в постели перед сном — в это время он обычно просматривал литературу, которая могла заменить снотворное, — и увидел знакомое имя... Он уже имел представление о возможностях этого человека и был уверен, что уже на третьей странице нового сочинения о Палестине 30-х годов благополучно уснет.

Однако он ошибся. Хотя роман, конечно же, имел весьма отдаленное отношение к литературе, он с первых страниц поразил Вилковского некоторыми деталями и жаргонными словечками, яс-

но показывающими, что автор мучительно выковыривает из своей памяти еврейские слова, термины, понятия, которые он когда-то знал. И делает это с единственной целью: изобразить сионистов бандитами и уголовниками, ненавидящими свой народ, называющими его промеж своих "наши еврейчики" или даже "паршивые еврейчики".

...Упала лампа, стоявшая на столе у кровати, когда Вилковский повернулся и задел шнур. Поставив лампу на место, он отложил журнал и закрыл глаза. И сразу же представил себе беленые мелом домики, сады, улицы бедного городка, с часовыми мастерскими, аптеками, парикмахерскими и киосками, где продавали, наверное, табак и семечки, газеты и газированную воду — продавали серолицые, заросшие, нищие евреи. И неужели в таком городке вырос тот еврейский мальчик, которого мама ласково звала Хаймолэ или Ицикл, а отец водил в синагогу, где, слушая стенания и плач старых евреев, он впитал в себя навсегда такие слова, как "мешиберех", "миньен", "бал-чуво", "кохен", чтобы через тридцать лет, превратившись в грузного самца с большим животом и клоунскими усиками, вспомнить о своем детстве, родном городе, о родителях и еврейском местечковом жаргоне с единственной целью: придать достоверность чудовищным измышлениям о "переговорах" сионистов с "доктором Геббельсом" и "духовном родстве" евреев с Гитлером, с тем самым Гитлером, который, используя аналогичные книги, подготовил своих солдат к "окончательному решению еврейского вопроса", к истреблению миллионов евреев, в том числе евреев Болграда, а среди них, возможно, и отца, матери или братьев этого Хаймолэ? И теперь именно он, бывший еврейский мальчик, превратившийся в члена Союза писателей, решил поживиться, хапнуть го-

норар, крупно заработать на придумывании нового варианта старой лжи, новых мифов, возбуждающих старую ненависть у невежественных и одураченных людей к евреям?

Какие качественные и количественные изменения понадобились, чтобы еврейский мальчик из Болграда превратился в провокатора и лжеца, автора романа о земле обетованной? Может, предатель с русским псевдонимом гнезвился в мальчике Хаймолэ уже с рождения, где-то в самых тайных клетках его существа, в генах, в генотипе? В том генотипе, о котором с таким восхищением говорили евреи противоположного склада, такие, как Александр Владимирович и активисты советской алии?

Всего же поразительнее было то, что все эти люди существовали вместе, рядом: Александр Владимирович и бывший Хаймолэ, старый военный летчик и писатель-золотарь. Благородные, честные, храбрые и подлые, изворотливые, трусливые — все они были евреями, и от этого нельзя было уйти никуда. И не мог уйти Вилковский от мыслей, что в их столь разном поведении проявляется влияние одного и того же исторического процесса, одного общественного механизма.

А другим результатом все тех же общественных процессов, еще никем по-настоящему не понятых и не исследованных, Вилковский считал новых антисемитов, которых он наблюдал в эти годы своей второй, новой жизни. Чем они отличались от традиционного типа русского черносотенца?

Однажды Александр Владимирович принес ему статью, ходившую по рукам в руситском Самиздате: "Критические замечания русского человека о русском патриотическом журнале "Вече".

"Россия еще в 1917 году отвернулась от одной из двух (православие и католицизм) форм реформированного иудаизма — православия. Христи-

анство вообще, а православие в частности, были созданы для стирания всего самобытного и национального, для превращения всех, кто их исповедует, в безродных космополитов. Православие сыграло в России роль Иуды-предателя... Православие и ислам — дочерние предприятия от иудаизма — призваны держать в повиновении перед высшей расой или народом, избранным Богом (т.е. евреями), всех остальных. Гои же, согласно Ветхому завету, должны стать рабами евреев, по их расчетам, к 2000 году... Великая заслуга русского народа, что в 1917 году он покончил с православием и заменил его коммунизмом”.

— Здесь, конечно, тоже антисемитизм, — сказал Александр Владимирович, переворачивая страницу, — но совсем не тот, к которому мы привыкли. Это политическая программа, превосходящая все, что когда-либо было придумано юдофобами в России. Поразительно и то, что автор выдает себя за принципиального защитника советской власти. Слушайте:

”Ведь если скинуть большевиков, к власти придут сионисты и только сионисты, у них деньги и агентура... Представьте, что будет, если премьером будет Сахаров с Солженицыным, Высоцким, Райкиным, Якиром, Даниэлем и прочими в правительстве. Вас с вашим журналом выбросят, как выжатый лимон, куда-нибудь в Магадан и не ближе, если не сразу в газовую камеру... Международный сионистский концерн сосредоточил сейчас в своих руках 80 процентов всего капитала всего несоциалистического мира. Это страшнее фашистской чумы. Если они победят — это смерть всем, в первую очередь русским, которых они окрестили зоологическими антисемитами и поставили целью физическое уничтожение всех поголовно... Так же, как во время Великой Отечественной войны, мы должны сейчас объединиться

для борьбы с сионизмом... Отношение к сионизму — та лакмусовая бумажка, которая выявляет патриотизм или предательство. Середины нет! Кто не с нами — тот против нас! Кто не против сионизма во всех его проявлениях — тот против русских, против всего честного, что есть на земле... Из всех проблем, стоящих перед русским народом, главным звеном является борьба с сионистским засильем. Ухватившись за это звено, можно вытянуть всю цепь. Если это не сделать, сионисты к 2000 году уничтожат русский народ физически вместе со всеми его проблемами”.

— Бред параноика! — вырвалось у Вилковского. — Это писал какой-то сумасшедший, какой-то новый Крушеван⁵⁷.

Но самое ужасное заключалось в том, что это писал вовсе не Крушеван, а юдофоб новейшей формации, и Вилковский это хорошо понимал. Было совершенно очевидно для каждого советского человека, что его обороты речи взяты из конспектов прослушанных лекций по марксизму-ленинизму. Словечки, формулировки из Ленина он точно использовал для пропаганды идей Гитлера... Нет, и в этом, пожалуй, нет ничего удивительного, подумал Вилковский: после Гитлера и Сталина, Гиммлера и Берии, Гейдриха и Абакумова в мозгу этого автора все перемешалось, сплавилось: формулировки конспектов, по которым он сдавал диамат, и стереотипы черносотенцев, социализм и тезисы Геббельса о еврейском капитале...

Тем временем Александр Владимирович продолжал чтение:

”Журналу ”Вече” следовало бы ориентироваться на честных партийных, советских, военных работников, патриотически настроенных деятелей культуры и искусства... публиковать материалы о выпадах сионистов против честных советских

людей и людей других национальностей, материалы о взяточничестве и разврате сионистствующих, материалы об их сборищах у синагоги, о захвате жилого фонда в городах, задавать органам прокуратуры вопросы — на какие деньги сионистствующие приобретают автомашины, дачи, задавать вопросы, почему в том или ином учреждении 90 или 70 процентов евреев, требовать процентного отношения по отношению к местному населению при поступлении в вузы...”

Все это Вилковский слышал в юности от польских и литовских фашистов, считавших социализм делом евреев. И вот настал день, когда идеи румынских железногвардейцев⁵⁸ кто-то выдает за чистейший социализм!

— Давайте разберемся! — сказал Александр Владимирович, закончив чтение. — Как же это все объясняется?

— Думаю, законами театра.

— Не понимаю...

— Вы сами рассказывали, что еще в школе от вас требовали покаяться в своих политических грехах, но при этом никого не интересовало, что вы думаете, лишь бы вы сказали все, что полагается, публично.

— Так.

— Но ведь это и есть основной закон театра: важно лишь то, что актер произносит на сцене; никому дела нет до того, что он лично думает или говорит за кулисами. В обществе, объявленном правильным, контролируется лишь то, что печатается или говорится публично, вслух. Но слова, произносимые публично в условиях, когда все вынуждены говорить одно и то же, лишаются первоначального смысла, они со временем приобретают смысл другой, тайный. Перед нами театр: всюду разгуливают маски и произносят слова-маски, под которыми каждый подразумевает нечто

другое, свое. Крушевану, например, маска была не нужна, он пользовался простыми словами: евреи, жида! Теперь время другое. Надо говорить "сионист", подразумевая еврея. Или "космополит", или "антипатриот", или "безродный"... Но сорвите маску с того, кто громче всех кричит о сионистской опасности, и вы обнаружите Крушевана. А еще чаще обнаружите рожи бездарностей, видящих в юдофобстве средство, чтобы расчистить себе путь к хорошей должности, к власти...

— Неужели евреи еще мешают кому-то продвинуться на теплое местечко?

— А неужели польскому генералу Мочару⁵⁹ мешали евреи, когда он поднял шумиху о сионистской опасности? Мочар метил не в Моше Даяна, а во Владислава Гомулку, и снимал он не парочку евреев, занимавших второстепенные посты, а немало чистокровных поляков, заменяя их своими людьми. Игра масок! Автор статьи, которую вы прочитали, ополчается ведь не только против сионистов, но и против сионистствующих. А вот сионистствующим можно объявить кого угодно — даже патриарха всея Руси. Простая игра, которую инстинктивно понимает любой проходимец. Не может же он, невежда, бездарь, где бы он ни работал, в банно-прачечном тресте или в Академии наук, требовать, чтобы его повышали по службе, пока не будет признано, что есть люди хуже его. А они, оказывается, есть: сионисты. Может случиться, что там, где он работает, евреев нет, ну что ж, разве нельзя обнаружить сионистствующих? Вся игра.

— Смешно...

— Увы, печально. Юдофобы сегодня превращаются в некое масонство, пронизывающее всю жизнь. Им даже не нужно, как некогда масонам, встречаться в ложах и обмениваться тайными знаками. Они встречаются на партийных собраниях,

говорят вслух то же самое, что говорят все, но безошибочно узнают друг друга, их связывает самая сильная в мире связь: биологическая. Антисемиты, фашисты всегда и везде люди одной породы. Я ведь наблюдал их в разных странах — уверяю вас, они всюду одинаковы. Они даже внешне похожи и не случайно домогаются правительственной защиты от еврейской опасности: бездарность, невежество, глупость действительно нуждаются в защите. Если не уничтожить евреев, немцы сами сделаются евреями или рабами евреев, кричали нацисты. Нацист, живущий в Советском Союзе, пугает гибелью социализма. Вот он, современный театр, и куда там Беккету или Ионеско! Это ложь, подмена, патология души, впитавшей в себя дух старых русских бесов и украсившей его фразеологией революции! Какой маскарад! Какие костюмы! И они действуют не только на нашей сцене. Сорвите маску с лица какого-нибудь палестинского марксиста, и вы увидите физиономию иерусалимского муфтия⁶⁰. Загляните под маску левого, ультралевого юнца наших дней, и вдруг обнаружится морда ээсовского заплечных дел мастера по "окончательному решению еврейского вопроса". Вот такая захватывающая пьеска разыгрывается на глазах всего мира.

Александр Владимирович спокойно выслушал тираду Вилковсого и, улыбнувшись, спросил:

— И какие же выводы вы делаете из этого всего?

— Какие я могу сделать выводы? Ведь то, о чем я говорю, продолжается не год и не два. На протяжении веков антисемиты, как, впрочем, и некоторые евреи, предлагают евреям исчезнуть с лица земли. Разница лишь в средствах, одни предлагают ассимиляцию, другие — огонь и газ. "Странный народец", назвал когда-то Ренан⁶¹ евреев, уверяя, что лучшие люди — евреи, но худшие

— тоже евреи. С этим народцем надо что-то делать.

— В наше время осталось только два пути, — согласился Александр Владимирович, — один ведет в Израиль, другой — в Освенцим. Третьего нет.

— Нет? Да по нему-то и плетется большинство евреев. Винить их трудно, такова человеческая природа, нелегко человеку освободиться от привычки, рутины, страха перед переменной судьбы.

— Но вот вы другой человек, — сказал Александр Владимирович. — Не так-то уж вы приспособились...

— Как знать! — сказал Вилковский с усмешкой, но сразу же нахмурился: — Мой случай — особый. Я в пути...

В его голосе была горечь. Александр Владимирович, совсем того не желая, коснулся его больного места. Вилковский не мог не понимать, что его рутинное существование выглядит для людей, знающих его мысли, мучительным, бессмысленным. Иногда он и сам так думал, но, вспоминая, каким он был на протяжении долгих лет и как переменялся, чувствовал, что нынешнее существование, очевидно, и подобает ему, оно не совсем бесплодно, он и в самом деле уже в пути.

XII

В камере вытрезвителя неожиданно открылась дверь, и на пороге возникла фигура пожилого майора в милицейской форме, который потребовал у всех паспорта. У подростка в берете паспорта не было, он смущенно сказал, что ему только что исполнилось шестнадцать лет. На все вопросы

майор отвечал, что он ничего не знает, как только разберутся, немедленно оповестит задержанных. Но после его ухода послышался шум, хлопанье дверьми, потом снова открылась дверь: два милиционера со списком в руках стали вызывать задержанных и переводить их в другие камеры.

— Что это? — спросил Вилковский Леву, у которого, по-видимому, был большой опыт в подобных местах.

— Да ничего, — ответил тот. — Переселение может значить, что они работают, проявляют активность, что, может, им некуда девать остальных задержанных...

— Лева опять прогнозирует? — спросил Рафаил.

— Нет, — сказал Лева. — Пытаюсь установить закономерности.

— Ты бы лучше рассказал, что произошло у вас во время последней отсидки. Что там было?

— Много чего, — сказал Лева.

— Расскажи и нам.

— Не следует этого рассказывать здесь, — сказал Лева. — Не следует нагонять на людей страху.

— Неужели ты думаешь, что после двух лет хождения в ОВИР можно испугать человека каким-то рассказом?

— Здесь есть люди, которые ничего такого не знают, — ответил Лева.

Разговор на минуту оборвался. Потом Лева сказал:

— Ну, хорошо. Я изложу все как было. А если не понравится, можете меня остановить.

— Долго ты еще будешь собираться? — спросил Рафаил. — Я в жизни не видел такого капризного рассказчика. Любая примадонна уже давно бы приступила к делу.

— Ладно, приступаю, — сказал Лева, скрестив на груди свои маленькие, худые руки. — Значит,

вы хотите узнать, за что мы получили по пятнадцать суток! Нет, это не точно: вы хотите узнать, что произошло за пятнадцать суток ареста? Задержали нас за сидение у прокуратуры с жалобой на ОВИР. Мы требовали, чтобы нас принял генеральный прокурор или его заместитель. Нас не приняли. И хотя мы выбрали место для сидения в тупике, в скверике, что у Института Маркса-Энгельса-Ленина, нас обвинили, что мы мешаем уличному движению. Мы знали, что это незаконно — разве есть закон, запрещающий жаловаться прокурору? Но не очень удивились, когда судья, выслушав свидетелей — тех самых милиционеров, которые нас задержали, — углубился в бумаги и, не глядя на нас, пробубнил: "На основании статьи... параграфа... пятнадцать суток заключения!". Сначала мы долго ждали в участке: наши пятнадцать суток где-то согласовывались и утверждались. Сама процедура суда заняла мало времени, но все равно нас отвезли только к вечеру в дом предварительного заключения. Водворение в тюрьму, отбирание личных вещей, потом шмон, проведенный по классическим правилам, с заглядыванием в задний проход, — все в точности как описано в классических сочинениях, например у Солженицына, — заняли полных четыре часа. Так что только к полуночи нас, наконец, поместили в камеру. Началось с того, что всех нас, восемь человек, поместили в узенькую камеру, примерно два с половиной метра на пять, со стальными нарами, так называемыми "шконками", в два яруса. Это стальные трубы, к которым приварили стальные полосы, на них кладутся деревянные щиты для спанья. Но щитов нам не дали. Вот с этого все и началось. Нам не дали не только спальных принадлежностей, полагающихся по тюремному уставу, но также мыла и полотенца. А своего у нас не было. Отправляясь в прокуратуру подавать

жалобу, мы не догадывались, что, задумав такое подрывное действие, следует запастись всем необходимым для тюрьмы. Так что у нас с самого начала начались пререкания с надзирателями. Один из них был рослый, с вдавленным носом и тяжелым подбородком, Алик сразу его определил как "тип, склонный к насилию, особенно опасный в подпитии". В трезвом виде он тоже был не сахар. На все наши требования он отвечал: "Не положено!"

— Дайте нам хотя бы один кусок мыла и одно полотенце.

— Не положено! У вас должно быть свое, от родственников.

— Они же не знают, где мы. Позвоните им, что мы в тюрьме. Когда узнают — принесут.

— Не положено!

— Позовите дежурного по тюрьме.

Тут он озлился и перешел к тому языку, который был ему свойствен от природы:

— Пошли вы все на х..., жидовские морды!

Когда он ушел, мы не успокоились и стали стучать в дверь, требовать дежурного по тюрьме. Мы стучали кулаками, но никто не откликнулся, словно тюрьма вымерла и никого, кроме нас, в ней нет. Так мы стучали минут десять, пока руки не заболели, тогда мы стали стучать в дверь ногами. И тут дверь сама распахнулась! Нет, не распахнулась, а выпала, потому что выскочил косяк. Нам и в голову не приходило, что можно так просто выбить тюремную дверь, по правде говоря, я до сих пор не понимаю, как это случилось.

Ошеломило это прежде всего нас самих. Никто не сделал ни шага, чтобы выйти из камеры, мы сразу поняли, что такое чепе нам даром не пройдет, хотя и не представляли себе, что именно нас ждет. Только Алик сказал: "Ребята, будем держаться!". И началось... Мы слышали свистки,

крики, потом топот сапог, опять крики, затем в нашу камеру ввалились человек тридцать надзирателей и стали нас лупить, хватать и вытаскивать в коридор. На каждого наваливалось по три-четыре человека, и не успели мы опомниться, как нам выкрутили руки назад, надели на всех наручники и поволокли куда-то по коридору. Все это сопровождалось дикими криками — ну просто ад крошечный: глухие удары, ругань и выкрики: "Мы вам покажем, как двери выламывать, жидовские морды!".

— Погоди, — сказал молодой человек в синем свитере. — Все кричали "жидовские морды"? Ты не заметил?

— Нет, Леня, не заметил. А какая тебе разница?

— Можете считать меня наивным, — сказал Леня, — но каждый раз, когда я слышу, что молодые люди, учившиеся в школах, где на самом почетном месте висят портреты Маркса и приветствия неграм, индейцам и прочим угнетенным народам...

— В самом деле, наивно. Как будто ты не родился в России. Как будто лозунги и отвлеченные понятия могут перевесить то, что унаследовано и произвольно идет из глубин истории.

— Не в истории дело, — сказал Рафаил. — Существует определенный человеческий тип, генотип, как принято теперь говорить.

— Постойте, — перебил Леня. — Не отложить ли нам разговор о биологии на потом? Продолжай, Лева.

— Продолжаю, — сказал Лева. — На чем я остановился? Да, нас поволокли по коридору с криками, руганью и побоями. От чего мы больше всего мучились — от наручников. Нет, не от самих наручников, а от того, как они были надеты. Американцы надевают их на руки, протянутые вперед, а нам скрутили руки назад, и наручники сразу за-

тянулись до кости...

— Правильно, — сказал Рафаил.

— Что правильно?

— Правильно, что американские наручники у нас надевают так, как ни одному американцу в голову бы не пришло. Пример сочетания американской деловитости и русского размаха.

— Я могу лишь засвидетельствовать, что такой способ надевания самозатягивающихся наручников приводит к страшной боли. А тут еще нас подталкивали тумаками, ударами сапог. Били, правда, только по телу, а не по лицу и голове, чтобы не оставлять слишком бросающихся в глаза следов. И вот так нас волокли по каким-то коридорам, лестницам, переходам и все молотили кулаками и пинали ногами с криками "жидовские морды". А другие надзиратели орал: "Сталина на вас нет! Он бы вас давно всех к стенке!".

— Что знают молодые вертухаи о Сталине? Они же не жили в его время.

— Главное, что связано с его именем, они знают.

— Продолжай, Лева, иначе никогда не кончишь. Итак, вас повели в этих усовершенствованных американских наручниках...

— Закрепленных по-русски, — вставил Рафаил.

— Да, закрепленных на руки, выкрученные назад. Ну, дальше.

— Дальше нас всех затолкали в боксы. Бетонные пеналы метр на метр, в них можно сидеть только упершись коленями в дверь, а она вся в железных шипах. И, разумеется, в боксе нет вентиляции и дышать нечем. А тут еще невыносимая боль от наручников. Пот начал заливать глаза, я терял сознание и понимал, что могу лишиться руки. Рискуя новыми побоями, стал стучать в дверь. Пусть они избьют меня, лишь бы не чувствовать больше мук от наручников. Они услышали мой

стук и вытащили меня из бокса.

— Ну что, жидовская морда, опять захотел в зубы?

Я сказал им про наручники. Один из них посмотрел и говорит:

— Погляди-ка, Васька, мы неправильно их надели.

— Чаво? — спросил Васька.

Но и он вынужден был признать, что наручники надеты неправильно, наискосок, и потому, затянувшись, сразу же врезались ребром в кость руки. Принесли ключи, однако замок заело, ключ его не брал...

— Вот-вот, — сказал Рафаил. — Американская техника в руках Васьки подвела. Что же они сделали?

— Принесли инструменты, взломали замок, потом надели на меня другие наручники, и стало как-то терпимее.

— Ну, чего тебе еще надо, гад! — сказал Васька и сильно ударил меня в грудь.

Потом меня опять заперли в бокс, но я уже чувствовал себя счастливым. Потом нас вытащили из боксов и опять погнали по коридорам и привели в какое-то помещение, где сидел фельдшер в белом халате.

— А ну, скидай рубашку! — скомандовал он.

Видимо, было решено посмотреть, не остались ли на теле следы побоев.

— Как скидать? — говорю. — В наручниках?

— Сними с него наручники! — говорит фельдшер.

Он осмотрел меня, и я услышал, как он докладывает Ваське, что больших кровоподтеков нет, остальные заживут. К утру выяснилось, что Женю Цыпина ударили по почкам. Позднее мы узнали, что это называется травматический нефрит, но пока что Женя лежал на шконках, как бревно, без

ухода и медицинской помощи. У остальных онемели большие пальцы на руках, наручники пережали нервы. И у всех остались ранки с запекшейся кровью.

Когда наступила вторая ночь, нам опять не дали лежаков, и мы легли на шконки. Так мы и спали на шконках четырнадцать ночей из пятнадцати. Это только так говорится "спали", а на самом деле никто спать не мог, на железе холодно, сразу начинаешь дрожать, мучиться и мечтать о рассвете. Но выхода не было. Пол бетонный, только на столе, если поджать ноги, можно соснуть часок. А стол у нас был один. Пытку бессонницы многие переносили хуже, чем побои и наручники. Но это не все. Полотенца и мыло нам выдали только на седьмые сутки. На работу ни разу не выводили. Осужденных на пятнадцать суток, если они работают, кормят каждый день. А так как мы не работали, нас кормили через день по рациону карцера: кирзовая каша, баланда из кислой капусты, два кусочка сахара и четыреста граммов хлеба; в тот день, когда не кормят, дают только пайку хлеба. И ни одной прогулки за все пятнадцать дней. Зато трижды нас отправляли в баню. Нет, не потому, что они уж очень беспокоились за чистоту, а оттого, что в наше отсутствие они успевали стереть Маген-Давиды⁶², которые мы царапали на стенах. Так они боялись еврейских букв и звезд Давида, что можно было подумать, будто это магические знаки, обладающие волшебной силой.

Лева замолчал. Лицо его не выражало ни возмущения, ни печали, а только непреклонное и непреодолимое терпение. И на лицах слушателей, как казалось Вилковскому, очень разных лицах, застыло одинаковое хмуро-решительное и вместе с тем как бы мечтательное выражение, как у людей, исполненных непоколебимой веры во что-то, ради чего стоит принести любую жертву.

— А как же с избиением? — спросил Рафаил.
— Вы не протестовали?

— Это другая история, — откликнулся Лева.
— Примерно через два дня вдруг приносят в камеру несколько экземпляров журнала "Смена". Алик сразу сказал: "Ребята, это неспроста!". И точно: через час отпирают двери, и в камеру входит полковник, высокий, сухощавый, с длинным подбородком — начальник следственных изоляторов московских тюрем.

— Ну? — говорит он. — Что тут у вас случилось?

Мы рассказали.

— Так, — говорит полковник. И опять: — Так, так, так. Ясно! — А потом: — Ну как вам можно давать доски, если вы этими самыми досками вышибаете двери?

И все. Мы поняли, что дело было представлено начальству именно в таком виде: мы вышибли дверь досками. Теми самыми, из-за которых все началось. Досками, которых нам не дали. Визит полковника все же имел одно последствие: журналы "Смена" остались в камере. Из четырех журналов мы сделали нечто вроде подстилки, и у нас появилось еще одно спальное место на полу.

На другой день выяснилось, что это было прелюдией к появлению прокурора по надзору. Тот был в штатском, тоже высокий и тощий, очень спокойный и очень недоверчивый. Он нас выслушал, покачал головой и сказал:

— Это невозможно!

— Что невозможно?

— Чтобы вас избили. Это незаконно!

Мы тут же показали ему свои кровоподтеки и рубцы. Он покачал головой и сел на другого конька:

— Ладно. Вы должны быть снисходительны.

— Что? — говорю. — Почему мы должны быть

снисходительны? К кому мы должны быть снисходительны?

— К надзирателям, — говорит он. — Они же необразованные, а вы все с высшим образованием.

— Вот как! — вскричал Алик. — Необразованным полагается избивать образованных?

— Ну ладно, ладно. Все же вы не должны быть слишком строгими к этим людям.

Когда мы рассказали ему про наручники, он снова проявил крайнее недоверие.

— А разве существуют такие наручники?

Мы предложили ему спросить вертухая, который стоял у двери. Прокурор позвал его в камеру и спросил:

— У вас разве есть самозатягивающиеся наручники?

Попался курносый старшина, с лицом, как лопата, который не понял намека:

— Так точно, товарищ начальник, есть!

— Что? — переспросил прокурор.

— Наручники!

— Правильно, — сказал прокурор. — Простые наручники.

— И простые, и самозатягивающиеся, — доложил старшина.

— Я почти кончил, — сказал Лева. — Остается лишь последний день заключения, он тоже стоил нам здоровья. Ведь мы до самого последнего дня не знали, что нас ожидает. После ухода прокурора нам стали внушать мысль, что мы будем судимы за сопротивление и чуть ли не бунт в тюрьме — сто девяностая статья, часть вторая; вот отсидим пятнадцать суток, и нас сразу же переведут в другие камеры, для подсудимых. Так что мы не очень-то ждали освобождения, хотя и делали зарубки на стене, чтобы вести счет дням. Но наступил последний день, и нас все же перевели в перепускную камеру. Оттуда, между прочим, виден

корпус, в котором содержатся женщины с маленькими детьми. Стоя у зарешеченного окна, мы видели нечесанные женские головы, расстегнутые на груди блузки и слышали страшную ругань. Эти женщины выглядели безобразнее опустившихся мужчин, а их ругань была непристойнее всего, что я когда-либо слышал в жизни. И еще я видел нечто такое, чего лучше бы мне не видеть...

— Что-нибудь страшное? — спросил Леня.

— Нет. Я видел ребенка, голенького мальчику, ему было годика два, не больше. Он стоял там на подоконнике, вцепившись ручонками в решетку, и ловил косые лучи солнца, все пытался их поймать. Белый, ужасно белый младенец, который, может, и солнца еще никогда не видел, пытается поймать из-за решетки сверкающий лучик. Ничего особенного в этом мальчишке не было, а у меня он до сих пор не выходит из головы. Эти пятнадцать суток каждый из нас запомнил на всю жизнь: все мы ослабли, у всех выпали пломбы из зубов. Так что это были самые плохие две недели в моей жизни, если не считать еще одной недели...

— А когда была эта другая неделя? — спросил Леня.

— Летом, когда состоялась встреча на высшем уровне в Америке.

— Ну, это мы все пережили, — сказал Лева. — Мы все, можно сказать, принимали в ней участие. Надо бы международникам, которые все обсуждают разрядку, поговорить и с нами. За нами только следили и задерживали, так сказать, превентивно, чтобы помешать нам устроить какую-нибудь демонстрацию. Когда я выходил из дому по утрам, они меня уже ждали в автомашине, у подъезда, и кричали: "Давай, Лева, сюда, к нам!". Деваться некуда, я садился к ним в машину, и они отвозили меня в какой-нибудь участок. Там происходило следующее: я сидел на табурете, а

передо мной, за столом, усаживался кто-нибудь из них и углублялся в "Спортивную газету", изучал таблицы розыгрышей. А если не в газету, то в книжку. Я подметил, один раз это было сочинение Ардаматского — он пишет о хороших провокаторах, восхваляет провокацию "для пользы дела". В другой раз это был Юлиан Семенов — он пишет про шпионов. Вот, в этом и заключалась вся операция: в чтении Ардаматского и Юлиана Семенова для них и потерянные дни, ярость и бессилие — для меня. Иногда со мной сидели по два-три человека, и тогда я невольно слышал их содержательные разговоры. Пошепчутся, потом громко: "А Затирухин?" — "Затирухин не вмешивается". — "А Смертюков?" — "Смертюков — разрешил". — "Да что ты! Значит, с пяти часов — гуляй не хочу!". Нет, это не все. Однажды мне попались двое, которые решили произвести на меня впечатление, показать, что они не лыком шиты, понимают культуру, собирают книги, "Жизнь замечательных людей"; они жаловались, что трудно их достать, надо иметь знакомства в книжных магазинах. Вот так я и проводил время до вечерних огней, когда они звонили начальству и спрашивали: "Уже можно?". Разрешение прекратить "операцию" давалось только после наступления темноты. А утром все начиналось сначала. Все было весело, если б не было так грустно. Когда я совсем не выходил из дому, чтобы не торчать в участке, они вваливались в мою квартиру, чтобы проверить, не сбежал ли я. Однажды я так и сделал — ушел от них через окно котельной во двор, а оттуда на улицу. Вечером, когда я возвращался, поджидавший меня ангел плюнул мне в лицо. А на другой день меня, так сказать, официально предостерегли: будешь от нас уходить, покалечим, сломаем ногу или что-нибудь поважнее. Я все присматривался к ним: ненавидят они нас?

Пожалуй, нет. Мы им безразличны? Нет, и в этом я не уверен. Среди мальчиков, с которыми я имел дело, был один шустряк, блондинчик с утиным носом и хитрой улыбочкой. Однажды, оставшись со мной наедине, он вдруг завел такой разговор: "Вы надеетесь там разбогатеть?" — спрашивает. "Где там?" — "В Израиле". "Как? — говорю. — Разбогатеть в Израиле?" — "Ага! Вы бы и нам написали, как там устроились. Это интересно". — "Куда написать?" — "Я оставлю вам адресок. Мне очень хочется узнать". Тут я сплеховал и говорю: "Узнаете!" — "Как?" — спрашивает. "Я напишу родственникам, и ваше учреждение узнает". "Ну зачем вы так!" — говорит он, и я чувствую, что он обиделся. Этот шустренький решил, что я ловкач, и даже как бы мне завидовал.

— Таких умных сколько угодно среди высокоумной интеллигенции, — откомментировал Рафаил. — Вам, евреям, говорят, хорошо: вы можете уехать! Правильно, говорю я, нам очень хорошо. У нас, как известно, преимущества, нам дают иногда сроки за это желание уехать. У кого еще, кроме евреев, такие привилегии?

— Перегибаете, Рафа, — сказал Леня. — Сажают ведь не только евреев. Дело тут не в евреях.

— Дело именно в евреях, — сказал Рафаил.

Сейчас все начнется сначала, подумал Вилковский, вспоминая разговоры с Александром Владимировичем. "Подаванты" и "отказники" больше всего удивляли его неизменной готовностью спорить о России, о ее прошлом, ее будущем, хотя их как будто это не должно интересовать — они ведь собирались уехать навсегда.

ХІІІ

*Стало скучно в нашем крае, не с кем ласы поточить. Все уехали в Израиль, ностальгией — сплин лечить*⁶³.

...Нет, нет, далеко не все уехали. Яков Штернберг все еще мучился сомнениями и документов на выезд не подавал. Он был прикован к старому страху, как каторжник к тяжелому ядру. Его приводила в ужас мысль, что он опять может оказаться лицом к лицу с той жестокой грубой силой, которая однажды уже навалилась на него всей своей тяжестью, но не задавила до конца.

Однажды Яков Штернберг пришел к Вилковскому в необычно ранний утренний час, без предварительного телефонного звонка, бледный и потерянный. Услыхав его трудное дыхание, Вилковский спросил:

— Что с вами? Вы заболели?

— Я не спал ночь, — ответил Штернберг, отдышавшись. — Вчера вечером мне под большим секретом сообщили, что в радиопередаче на Израиль под каким-то воззванием, клеймящим так называемую израильскую агрессию, стояла и моя фамилия. Это, наверно, дело рук Рабиновича — есть такой журналист с репутацией доносчика, работающий в АПН. Что же мне теперь делать? Что я могу сделать?

— Подайте документы на выезд, — сказал Вилковский. — Это вы можете сделать.

— Меня не выпустят... Желтый не допустит... Я хотел бы поехать в нынешнем году в Бухарест, навестить брата. Он мне уже прислал вызов, но говорят, что поездки к родственникам тоже осложнились. О, эти наши выездные дела! Я не могу понять, почему мне, старику, нельзя запро-

сто съездить к родному брату, тоже старику, живущему в соседней, и как пишут в газетах, социалистической стране. Кому это мешает? Но, может быть, все же разрешат. Съезжу в Бухарест, вернусь и напишу письмо: отпустите меня умирать в Израиль. Вы читали поэму Гейне об Иегуде Галеви⁶⁴, как он отправился навестить гробницу Рахили⁶⁵? Помните, что говорил Толстой, когда ушел из дому? А стихи Бунина, написанные перед уходом из жизни? У каждого человека есть основание требовать, чтобы его отпустили на старости лет туда, куда влечет его душа...

Вилковский слушал его с жалостью. Ну разве виноват этот уже очень старый человек, что он все еще помнит весь ужас той ночи, когда его вытащили из постели и привезли в зловещий дом, где после вождения по безрадостно-серым коридорам и запираения в глухие боксы, похожие на стоячие гробы, его бросили в камеру с задраенным окном и оставили до утра размышлять о преступлениях, в которых он не был виноват ни слухом, ни духом? "Моя первая ночь после ареста, — как-то говорил он Вилковскому, — была тяжелее, чем все последующие годы заключения. Одна ночь, но рассчитана на то, чтобы к утру у вас начались галлюцинации. А затем последовал первый допрос, и мой следователь — коротышка с брюшком, ни дать ни взять фигура из альбома Гросса — забегал вокруг меня с криком: "Ага! Наконец-то ты попался! А ну-ка, рассказывай о своих преступных действиях!". Я ничего не понимал: почему попался? какие преступные действия?" Они пребывали с ним всегда, эти жуткие картины, не тускнеющие с годами, торжествующие над всеми остальными воспоминаниями его жизни. Когда он рассказывал о них, лицо его мертвело, лишалось всякого выражения, голос становился вялым и безжизненным...

Отдел виз и регистрации иностранцев, для краткости именуемый ОВИР, этот железно-ржавый механизм, пребывавший в течение десятилетий в полном оцепенении, заработал. И стал вводить ошеломляющие нововведения: например, плату за образование. По неведению или желая выслужиться перед высшим начальством, кто-то предположил, что у каждого еврея, особенно у желающих уехать в Израиль, спрятано золото под половицей. Инспектора ОВИРа вооружились счетами и, посмеиваясь в глаза изумленным кандидатам на отъезд, подсчитывали, во сколько им обойдется выездная виза. У каждого человека была своя цена. Врач должен был уплатить семь тысяч, даже в том случае, если он получил образование лет тридцать тому назад и с тех пор многократно отработал затраченные на него деньги. Инженер — восемь тысяч. Доктор наук стоил уже от двенадцати до шестнадцати тысяч... И Оттилия Григорьевна, жена Якова Штернберга, ходила в ОВИР узнавать, сколько она стоит; у нее был диплом об окончании консерватории. Оказалось — десять тысяч.

В то лето в Москве стояла необыкновенная жара. Где-то в области начались торфяные пожары, и дым достиг города, окутывая его удушливой пеленой. В один из таких дней Вилковский навестил Штернберга. Тот жил в городе, деваться ему было некуда. Он сидел за столом, на котором были разложены конверты и бумаги: по-видимому, писал письма. В комнате было душно, шторы задернуты, окно наглухо затворено — считалось, что так лучше, потому что на дворе, даже в тени, термометр показывал почти сорок градусов по Цельсию.

— Вы когда-нибудь видели еврейскую оперетту "Бумажные дети"? — спросил Штернберг своего гостя.

— Нет, — сказал Вилковский. — Что это такое?

— Старинная оперетта про еврейских родителей, которые остались в местечке, а дети, разъехавшиеся по всему миру, изредка шлют им письма и фотографии. Таков нынче и я. У меня по всему свету рассеяны бумажные дети, мои бывшие друзья. Я не видел их десятки лет, они пишут мне иногда, и я им тоже пишу. Но между нами есть некто, кто бдит, чтобы бумажки, которыми мы обмениваемся, не содержали ничего недозволенного. Не дай Бог, если он обнаружит в письме стихи — ведь это может подорвать мощь нашей сверхдержавы! Поэтому стихи вымарываются или письмо не доходит. Я недавно отправил Ошаровичу в Израиль одиннадцать лирических стихотворений; я написал их неожиданно, в несколько дней из души вылилось. И получил от него такое письмо: "По рассеянности вы, очевидно, забыли вложить стихи в конверт. Пришла только ваша записка". Я понял...

Был среди знакомых Вилковского поэт, собравшийся уезжать, хотя ему этого и не хотелось. Он заранее переживал тоску расставания с друзьями и ностальгию по стране своей души, прекрасно понимая, что будет тосковать даже по ее так называемой идеологической борьбе, по проработкам, учиняемым время от времени чиновниками для отчетности и жуликами для того, чтобы удержаться на поверхности и затоптать своих естественных врагов — талантливых писателей. Однако не подать на выезд он не мог. Он был весь в плену воображения, рисуящего ему будущее только в виде уже знакомой пропасти российского прошлого.

Были и другие евреи, поэты и непоэты, одинаково уверяющие себя и других, что они вполне стали русскими, литовцами, молдаванами, даже узбеками. Вилковский знал одного еврея, уверяв-

шего, что он может жить только в Крыму, а именно в Коктебеле, там он испытывает ощущение, что уже когда-то был на этом райском берегу, наверное, его пращур обитал именно здесь. И знал другого, который, изучая Африку, до того проникся ее духом, что стал не на шутку мнить себя негром и уверял, что ему хотелось бы уехать туда и зажить негритянской жизнью, пленявшей его образностью мышления, огромной мощью сферы подсознательного и великой способностью творить искусство. Еврейских интеллигентов, принявших христианство, было так много, что это уже вызывало некоторое беспокойство, даже раздражение, у иерархов православной церкви. В старой России крещеные евреи растворялись в христианской массе, окончательно переставали быть евреями, никто о них не думал. Теперь, однако, и в купели евреям не удавалось смыть свое клеймо, но те, кто в нее окунались, этого не понимали. И уже был среди них один, рыжебородый, очень активный, очень разносторонний, который стал одновременно и еврейским активистом, и деятелем движения за демократическое обновление русского национального духа, а также теоретиком и зачинателем совсем особого движения иудеохристиан, евреев, продолжающих оставаться евреями и после принятия христианства, для чего им не следовало ходить в церковь, а молиться Христу в особом отделении синагоги... Этот неистово пылкий реформатор был, кажется, чистым, искренним человеком, но в искренность других новых христиан Вилковский не мог верить, он видел их суетливость, их тайную печаль и тайный расчет: отмежеваться хоть как-то от своего еврейства, вызывавшего в них тоску.

Можно было совсем запутаться в лабиринте историй, происшествий, судеб евреев, не любящих свое еврейство, среди которых алия вызывала, од-

нако, волнение и восторг. Вообще-то, как заметил Вилковский, эти люди делились на интеллектуалов и дельцов. Интеллектуалы мечтали о свободе творчества, дельцы жаждали свободы предпринимательства.

В кафе "Националь" он часто встречал одного бывшего организатора промартелей, вынужденного уйти на покой, которого все звали запросто Изя: узкогрудый, но толстый, обрюзгший, всегда печальный; у него был вид человека, уже ни на что хорошее не надеющегося. Он пил кофе-гляссе и говорил как заведенный всегда одно и то же: о бесхозяйственности, царящей всюду, везде, во всем.

— Вы знаете, для меня прогулка по Москве — одно мучение. Ну что за киоски, что за торговля, разве так можно торговать? Одно расстройство. Сколько упущенных возможностей! Вы думаете, я жажду заработать? Бог с ним, с заработком, для меня важнее идея, дело, у меня душа болит, когда вижу эту казенную лень. Вчера я вошел в новую идею: не нужно ни капитала, ни орудий производства, даже помещения не нужно, достаточно фанерной будки, нескольких тряпок, щеток и двух ведер. Я бы поставил такую будку где-нибудь на пустыре, нанял двух гоев и повесил объявление: "Мойка автомашин". Представляете, какая очередь выстроилась бы у моей будки? В Москве же негде помыть частную автомашину.

— В чем же дело? Действуйте!

— Вы смеетесь! А разрешение? Кто разрешит?

— Уезжайте в Израиль.

— Вы опять смеетесь. Разве в Израиле мало евреев? Кому там нужны мои идеи? Если уж уезжать, надо пробираться в Америку. О, если бы я попал в Америку!

— А в Америке нужны твои идеи? — спрашивал другой бывший делец, человек "запакованный",

то есть надежно спрятавший свои деньги и потихоньку их тративший. — В Америке нужно иметь доллары, а не идеи. Здесь, по крайней мере, каждый начальник согласится распить с тобой поллитра, а в Америке любой хозяин вытянет из тебя жилы. Пей, Изя, свое кофе-гляссе, не рыпайся!

И в том же кафе за соседним столиком сидел один уже немолодой писатель, неплохо зарабатывавший литературной халтурой, но в то же время уже давно пишущий для души талантливые сатирические стихи, принесшие ему славу диссидента. Риск, которому он подвергался, окупался мировой известностью. Он, однако, был довольно трезвым человеком и хорошо понимал, что западные журналисты смотрят на московских инакомыслящих, как на мировой аттракцион, это как в цирке, где любители сильных ощущений заключают пари, глядя на канатных плясунов: кто сорвется?

— Надо шуметь, — иронически говорил он картавым голосом утонченного интеллигента, рожденного актера. — Надо подписывать протесты — это важнее таланта. Ну, например, против повышения цен на водку. Можно и этим воспользоваться, не упустить случая. Вы понимаете?

Он уже принял христианство и собирался, когда игра станет слишком опасной, в последнюю минуту — ни позже ни раньше — соскочить с каната. Для этого у него был припасен вызов за границу; на тот случай, если ему не разрешат выехать на Запад, он запасся и вызовом в Израиль, куда, разумеется, и не думал ехать.

...Кто из них двоих, этот крещеный литератор, актер во власти тщеславия, или делец, мучимый страстью предпринимательства, — бескорыстный поэт? И кто из них — истинный делец?

Советская алия — это и в самом деле восхождение (как переводится это слово с иврита) или всего лишь бегство по старому кругу или даже возвра-

щение в Египет, в новый, современный Египет, где вместо колоссальных пирамид государство полавляет человека и властвует новый Золотой телец, который не хрустит костями, а только выедает душу?

На улице Архипова уже можно услышать рассказы, байки, слухи о трудностях, сложностях жизни "там", и все чаще встает новая проблема, еще более сложная, чем получение визы. Эта новая проблема, может быть, еще более трудная, чем первая: ехать куда? и за чем?

...И для Якова Штернберга, по-видимому, наступила минута, которую он сам осознал как самую последнюю. Настал день, когда Давид Вилковский услышал в телефонной трубке слабый голос Оттилии Григорьевны, непохожий на ее обычную, резкую и как бы недовольную речь:

— Я сегодня иду туда... Подавать документы... Яков Моисеевич хотел, чтобы вы знали. Он не может вам позвонить, потому что чувствует себя плохо. Вчера мы опять вызывали неотложку, но врач сказал: это не сердце, а нервы, ему нужно успокоиться...

Повесив трубку, Вилковский вдруг подумал: как жаль, что я не умею молиться. "Элф Гот, элф им Рэбойнешелойлам!" — думал он теми немногими молитвенными словами, которые запомнились ему в детстве. "Боже, помоги Якову Штернбергу в последнем порыве его жизни!"

А ровно через три месяца он услышал в телефонной трубке взволнованный, прерывающийся голос самого Якова Моисеевича:

— Только что мне позвонили из ОВИРа и сказали: ваш вопрос разрешен положительно!

— Замечательно! — воскликнул Вилковский. — Я вас поздравляю. Когда вы должны ехать?

— Это еще неизвестно. Они пришлют офици-

альное уведомление, после этого можно будет пойти туда, узнавать о сроках.

— Очень хорошо... Сегодня я как раз уезжаю из Москвы, но всего на три-четыре дня. Когда вернусь, я сразу же вам позвоню. Теперь вам уже не следует волноваться. Все хорошо. Все будет хорошо...

После этого коротенького разговора по телефону Вилковский опять поймал себя на том, что почти бессознательно повторяет про себя слова молитвы: помоги ему, Боже! Помоги, Рэбойнешелойлам!⁶⁶ Пусть увидит он небо Сиона!

Возвратившись в Москву со свадьбы одной из провинциальных родственниц, Вилковский сразу же позвонил Штернбергу, но никто не взял трубку. Он звонил много раз, и днем, и вечером, никто не ответил. Он решил отправиться туда без звонка и узнать у лифтерши или соседей, что случилось. Лифтерши в подъезде не оказалось, и он поднялся на лифте на шестой этаж. В квартире не откликнулись. На всякий случай он решил постучать в дверь, и тут она вдруг щелкнула, отворилась, и он увидел Оттилию Григорьевну.

— Заходите, — сказала она. — Вы меня застали случайно, я целыми днями и даже ночами дежурю в больнице... Якова Моисеевича увезли туда третьего дня в очень тяжелом состоянии. Вот мы и получили выездные визы... С ними, впрочем, все в порядке: нужно представить справку о его болезни, и их продлят... Но что делать с Союзом писателей, с Литфондом?

— А они здесь при чем? — удивился Вилковский.

— Из Союза писателей его уже исключили.

— А откуда они так быстро узнали?

— Мы ведь живем в кооперативном писательском доме. Я подала заявление в правление, что мы собираемся уезжать и просим вернуть пай или

часть пая. Кто-то немедленно настучал в Союз. Там проявили оперативность, какую они ни разу не проявляли, пока он состоял в этой организации. Сколько раз просил улучшить его квартирные условия, но это ни к чему не привело: продолжал работать за кухонным столом... Зато исключение из Союза за намерение уехать в Израиль было проведено с молниеносной быстротой... Но не будем об этом... Я боюсь одного: решение дойдет до Литфонда, и Якова Моисеевича лишат поликлиники как раз теперь, когда он так в этом нуждается.

— Что говорят врачи?

— Ничего определенного... Я и сама знаю: с ним все может случиться...

Она говорила робким, несвойственным ей голосом, и Вилковского вдруг пронзила мысль: больна и она сама. Нервное напряжение, ожидание решения ОВИРа, старые страхи, беспокойство за Якова Моисеевича — все это не прошло и для нее даром: лицо ее пожелтело и слегка отекло, руки стали дрожать. Что же теперь будет? Кто окажется сильнее, кто кого опередит: ангел смерти, уже давно круживший вокруг Якова Штернберга, он даже слышал шуршание черных крыльев, о чем написал в великолепном стихотворении, кажется, так и называвшемся "Крылья"? Или сила мечты, удерживавшая его в жизни последние годы, надежда, что он еще сможет послужить народу на его древней и новой родине?

Навестив Штернберга в больнице, Вилковский был поражен видом коричнево-пергаментной шеи и свесившихся с кровати худых беспомощных рук, усеянных темными пятнышками, так называемой старческой "гречкой". И сохранившейся, несмотря на физическую слабость, ясностью ума и речи, обычным для Якова Моисеевича афористическим еврейским стилем.

— Когда я просыпаюсь по утрам, — сказал он, глядя на Вилковского добрыми глазами, в которых таились боль и тоска, — то, первым делом, вижу, ощущаю себя, убеждаюсь, что я есть. Человеку совсем не безразлично, где он умрет... Однако я говорю не то, что надо. Другое. Знаете, я думаю, что если останусь жив, у меня еще есть что делать. Мне даже здесь не дает покоя старый замысел, который теперь стал совершенно ясным: написать книжку своих мемуаров, точнее, анти-мемуаров: "Избранные дни и ночи моей жизни". В последние годы у меня часто бывали тяжелые сны, кошмары. В них я вижу свою жизнь, отдельные сцены, моменты, обрывки давних разговоров. Они кажутся несвязанными между собой, но по сути дела дополняют, разъясняют друг друга. И вот я хотел бы их записать: книгу моей судьбы. Я подсчитал, что мне нужно на нее два года. Но где их взять? Догорает мой день... Смотрю в окно и чувствую, что у меня уже нет ничего общего с этими деревьями, с этим небом. Вот что такое чувство ухода из мира: все отдаляется, становится чужим. Но любопытство осталось нетронутым. Оно не проходит, как не прошла мечта — вы знаете, о чем я говорю... Где мне взять еще два года? Или хотя бы год! Вернусь ли я домой? Напишу ли последнюю книгу?

...На еврейской свадьбе, куда уезжал Вилковский, было все то, что было на еврейских свадьбах в старые времена.

Но было и то, к чему Вилковский уже привык лишь за последние годы, то, что он наблюдал каждый раз, когда встречался с сегодняшними евреями, какой бы жизнью они ни жили...

Опять истории, факты, мечты, поиски — тех, кто уже решились на алию, и тех, кто об этом и слышать не хотели.

Среди гостей на свадьбе были старые друзья Вилковского, которых он знал еще в своей прежней жизни, когда все они, нищие студенты в заношенных брюках и рваных ботинках, горели мечтой о построении общества Равенства и Свободного труда, — теперь уже пожилые, поседевшие, облысевшие, иные с одышками, с взрослыми детьми и внуками. Глядя на любимого друга юности, маленького, вспыльчивого Фройкалэ, на его лицо с коротким носом и сердитыми темными глазками, такое знакомое с тех времен, когда они жили в одной комнате студенческого общежития, и слушая его нетерпеливый, раздраженный голос, Давид почувствовал себя так, как будто они опять, как бывало, спорят о какой-нибудь резолюции Коминтерна или тактике Народного фронта. Но говорили они о другом, совсем о другом.

— На свою жизнь, — сказал Фройкалэ, — я давно махнул рукой. Но вот сын и Саша, сын моего сына, ты-то не знаешь, что такое внук...

Чуть-чуть отекло и пожелтело лицо друга, не могли же годы совсем пройти бесследно, особенно те, которые он провел во времена так называемого "культа" в заключении, но характер его не менялся.

— Если я останусь здесь, мой сын начнет забивать козла и "соображать" на троих у пивных ларьков. Ведь на работу по специальности по электронике его не взяли, ты, наверное, догадываешься, почему. Он поступил на завод, изготавливающий не то примусы, не то газовые горелки. А что будет с маленьким Сашей, когда он подрастет? Ему тоже придется, как отцу и деду, вставать по утрам и идти "играть" на весь день? И только вечером, дома, пошептаться иногда, за кулисами, разумеется, не в присутствии всех членов семьи, о нет, это опасно! В семье тоже есть другие люди... Уже мой сын совсем не похож на своего отца!

— Каждое поколение уверено в своем превосходстве, — заметил Вилковский.

— Нет, нет, — резко сказала Фройкина жена Ида. — Мы такими не были. Мой Саша ничего не хочет, кроме десяти рублей надбавки к зарплате. И ни во что он не верит, может, только в московский "Спартак" и в какого-то хорошего хоккеиста, то ли Боброва, то ли Попкова. Разве это похоже на нашу молодость? Пусть мы ошибались, но у нас были идеи, принципы, мы верили в них бескорыстно. И у нас была гордость, у людей нашего поколения был характер...

Может быть, как раз в этом тайна алии — в характере? Поэт, сочинивший песенку "С чего начинается Родина", забыл о главном — родина начинается с характера.

Все эти истории, встречи, разговоры настойчиво напоминали Вилковскому о его прошлом. Но разве и впрямь интересовала его теперь прежняя жизнь? Нынешняя жизнь мучила душу, важным было понять то, что происходило сегодня. И, глядя на своих друзей молодости, слушая их рассказы, он думал: разумеется, все стареют — такова уж природа человека; и разлад между поколениями неизбежен — таков уж человек. Но тут что-то другое.

Вилковскому хотелось поделиться этими мыслями со своим любимым Фройкалэ, но тот, выпив пару лишних рюмок коньяку, вдруг загорелся и стал рассказывать о лагерной жизни, о том, какой это был странный запутанный мир, в чем-то похожий и вместе с тем совсем не похожий на мир вольный. О том, как однажды их вели на работу под конвоем в холод и стужу по улицам шахтерского поселка, где жили вольные рабочие, а те стояли на тротуарах и глядели на зэков чуть ли не с завистью, потому что на зэках были телогрейки и валенки, а вольняшки пропили последнее и

мерзли от холода, и зэки кричали им: "Идите к нам — у нас уже коммунизм!". И о том, что в лагере его все уважали, так как он был справедливым нарядчиком, даже урки запретили своим трогать "нашего Федю".

Господи Боже, думал Вилковский, глядя на возбужденное лицо и сияющие глаза друга. Он рассказывает о лагере чуть ли не как о счастливой поре своей жизни... Что ж, в лагере он по крайней мере не "играл", а это больше всего противопоставлено его характеру...

...Под самый конец свадебного ужина, который длился всю ночь, жених и невеста втянули в круг свадебной хоры⁶⁷ бабушку, потом Давида, Марика и всех других родственников — близких и далеких. Сплетя пальцы одной руки со слабыми морщинистыми пальцами тети Идыски и ощущая другой рукой горячую молодую руку Марика, Вилковский двигался в такт музыке, чувствуя без слов свою близость ко всем этим людям, и к тем, кого знал с детства, и к тем, кого видел сегодня в первый раз. Ему уже давно не было так хорошо, покойно, как в эти минуты, когда он делал то, что ему редко приходилось делать в жизни, когда он был таким же, как все окружающие — знакомые и незнакомые, старые и молодые, связанные друг с другом единой цепью хоры и еврейской судьбой. Он, конечно, видел, понимал, какие они все разные, какая пропасть лежит между отцом жениха, важным и гордым завмагом, чья жизнь, разумеется, не так уж благополучна, как можно было бы заключить по его новому костюму и толстому бумажнику, в котором водятся сторублевые купюры, и юным, скромным Мариком, который решил зажить другой жизнью, без страха и приспособленчества. В этой цепи соединилось прошлое и будущее, нравы и психология галута⁶⁸ с мечтой о другой жизни. Это была одна цепь, и

незримо водил ею рок одного народа, еврейского народа... Но ведь все еще оставалось неясным, кого считать евреем, а кого нет? Ведь и решение уехать, эмигрировать ничего не доказывало, потому что вирусом выезда заразились даже те люди, что не желали быть евреями, и вообще явные неевреи.

Милый Ваня, милый Ваня, слышишь — ножик точится? Сделай, Ваня, обрезанье, мне в Израиль хочется.

...Это уже из другой оперы.

XIV

Кто-то повернул снаружи ключ в дверях камеры вытрезвителя, и они увидели на пороге знакомого майора, приходившего за паспортами.

— Не возражаете, если я подсажу к вам еще двух из ваших?

После этого в камеру робко вошел человек, при виде которого Вилковский вскочил со своей койки:

— Марк Давыдович?

Да, он; слегка сконфуженный, но улыбающийся. А за ним шел молодой человек, очень на него похожий, но с более строгими чертами лица.

— Как вы сюда попали? — спросил Вилковский, глядя на Марка Давыдовича во все глаза.

— Очевидно, так же, как и вы, — ответил старик.

Его тоже задержали на улице Архипова во время свалки, и в милицейском автобусе он неожиданно увидел сына, которого тщетно разыскивал в синагоге.

— И вот мы оба здесь, — закончил он свой короткий рассказ. — Знакомьтесь, Давид, это мой сын, Вил.

— Вот видите? — сказал Лева. — Я же говорил, что не только нас одних задержали. То же самое было на Песах. Закрывать совсем синагогу они пока не могут, но сворачивать на Архипова транспорт — уже можно...

-- Грех жаловаться, — сказал Марк Давыдович, улыбаясь. — Все-таки новые времена.

— Что значит новые? — спросил Лева. — А как было в старое время?

— О! Я знал Абрама Бромберга, которого посадили на десять лет только за то, что он пришел в московскую синагогу в тот Иом-Киппур, когда на богослужении присутствовала Голда Меир, первый израильский посол в Москве. Следователь показал Бромбергу пленку, снятую в синагоге: на ней отчетливо запечатлелось его лицо. Другого доказательства преступления им не понадобилось. Вот так это происходило в наше доброе старое время.

Все молчали.

- Надо протестовать! — решительно сказал Вил. — Они не имеют права держать нас здесь без суда всю ночь.

— Я так и знал, — сказал Марк Давыдович, — что молодежь подаст голос. Такого случая она не упустит. Ну, а ты не подумал, что если мы начнем шуметь, появится состав преступления, за которое как раз и дают 15 суток?

--- Я так и знал, что ты будешь за терпение, — сказал Вил. — Но кому нужна свобода, тот начинает с протеста. Потому я протестую. До остальных мне дела нет. Твое поколение, отец, молчало слишком долго.

Вилковский сразу же вспомнил тетради Марка Давыдовича и подумал, что их, наверное, читал и Вил. Не похоже, однако, чтобы сын отца понял. Нечто большее легло между ними, чем обычный разлад между поколениями.

И тут он услышал голос Рафаила, который, словно прочитав его мысли, сказал:

— Может быть, переменить тему? Мы ужасно любим неразрешимые вопросы...

— Алеша и Иван Карамазовы в трактире, — подсказал Марк Давыдович. — Как только сойдутся русские мальчики, говорил Иван, даже если всю жизнь не знали друг друга, как только поймут минуту, все равно будут рассуждать о мировых вопросах: есть ли Бог и бессмертие души. А которые неверующие, ну те о социализме, о переделке человечества по новому штату. — Он сделал паузу и, чуть-чуть улыбаясь, закончил: — Только русские мальчики давно от этого ушли: зачем рассуждать о переделке после того, как все переделали?

— Теперь, — сказал Вил, — чаще слышишь: "Давайте поговорим о бабах! Или о футболе..."

— Как жаль, что вы не встречали людей, среди которых я провел свою молодость, — сказал Марк Давыдович. — Они были другие. Если бы вы видели комсомольцев двадцатых годов! И время было другое...

— Да? — спросил Рафаил. И продолжал с какой-то непонятной интонацией: — Вы читали роман Роберта Пэна Уоррена "Вся королевская рать"? Печатался у нас в "Новом мире". Там есть диалог на вашу тему. Цитирую по памяти: "Ты мне говоришь, что у нас было замечательное и прекрасное прошлое, а я тебе говорю: если у нас было такое замечательное, прекрасное прошлое, то откуда, черт возьми, взялось это совсем не замечательное и не прекрасное настоящее? Объясни мне". — Под неприметной насмешливой маской лицо Рафаила стало вдруг грустным. — Сначала все идет хорошо и прекрасно, потом наступает роковой момент, и в силу каких-то загадочных причин все меняется... Таинственные повороты

истории! — воскликнул он и неожиданно рассмеялся.

Марк Давыдович молчал, а Давид Вилковский вспомнил эпизод, описанный в его тетрадах: "Юклер Мешугенер"⁶⁹. Так звали местечкового сумасшедшего, которого Марк Давыдович запомнил с детства. Юкл любил бросать камни в речку, стоя на берегу. "Зачем ты это делаешь?" — спрашивали его. "Э, я лучше вас знаю — зачем!" — отвечал он. Ничего другого не могли добиться. Но мальчишки из местечка, которым до всего было дело, подслушали бормотание Юкла. Оказалось, что его злят расходящиеся от камней круги по воде, он хочет их уничтожить и для этого швыряет в каждый круг новый камень... Все, что я только что услышал, думал Вилковский, напоминает круги по воде, которые местечковый сумасшедший пытался уничтожить бросанием новых камней. Каждое утверждение, аргумент в здешнем споре — камень, производящий новый круг, круги все расширяются, иногда сливаются, но никогда не исчезают совсем — вечная рябь на воде, на холодной, темной, но живой, все еще бурлящей воде прошлого.

Первым нарушил молчание Рафаил:

— Довольно нам рассчитывать с прошлым, — сказал он, обращаясь главным образом к Марку Давыдовичу. — За прошлое уплачено сполна. Каждый русский еврей, если не он сам, то его отец, брат, сестры расплатились за то, что мы раскинули здесь свои палатки...

Нет, он не читал тетради Марка Давыдовича, подумал Вилковский. Для Рафаила евреи раскинули здесь свои палатки, а Марк Давыдович, тот вложил в русскую революцию страсть, душу, был пронизан, связан, опутан ее надеждами и глядит теперь на все сквозь глубину потери, сквозь тоску, сквозь верность мечте. Не понять им друг друга.

— Я ведь не утверждаю, что прошлое нас совсем не касается, — продолжал Рафаил. — Очень даже касается уж хотя бы потому, что многое тут началось от нас, от евреев. Во время революции мы были необходимы. Или казались необходимыми? Но в этой необходимости коренилось много зла, много бед. Она должна была исчезнуть, и она исчезла. Полагаю, и вы, Марк Давыдович, не станете отрицать, что от участия евреев в русской революции на сегодняшний день ничего не осталось. Даже их мужество никому не запомнилось...

— Полагаю, это не так, — мягко возразил Марк Давыдович. — Помните, у Багрицкого: "Поправляет окуляры, улыбаясь, Коган: Опанас, работай чисто, мушкой не моргая, неудобно коммунисту бегать, как борзая".

— Полагаю, что пример выбран неудачно, — ехидно откликнулся Рафаил. — На родной Украине комиссара Когана вспоминают теперь только украинские критики, время от времени "прорабатывающие" Багрицкого. Там более известен теперь другой Коган.

— Другой? — переспросил Марк Давыдович.

— Коган, состоявший переводчиком при фельдмаршале Паулюсе. Не слышали? О нем рассказал в одной из своих речей Никита Хрущев. Может, его ввели в заблуждение. Однако байку напечатали во всех газетах. Даже нашелся писатель, вставивший этого Когана в свой роман...

Вилковский был поражен. Удивительная литературная осведомленность у этого Рафаила, подумал он.

...— Роман называется "Тучи над городом". Автора я позабыл...

— Гавруто, — подсказал Вилковский.

— Точно! — обрадовался Рафаил. — Вы его читали?

— Я его однажды видел...

Давид видел не только Гавруто, но и Когана. Того самого полумифического и все же реального Когана, о котором говорил Рафаил. Ему не хотелось вспоминать эту историю. Но механизм памяти уже сработал, и помешать этому он не мог. Он перестал прислушиваться к разговору в камере, и в его воображении возникло плохо выбритое, рябое, одутловатое лицо регулярно выпивающего пятидесятилетнего мужчины, с маленькими глазами и хитрой улыбкой, обнажающей два золотых зуба в отверстии крупного сухого рта. Это было лицо Гавруто, личности, способной на любой поступок, если на этом можно заработать хоть маленький сладкий кусок. В памяти всплыло и другое лицо — сорока- или сорокапятилетнего человека, рано облысевшего, но все еще красивого, с густыми черными бровями и орлиным носом, мускулистое, энергичное лицо высокого, широкоплечего мужчины — Когана.

...Когда это было? Такие серые, мокрые и холодные дни, как тот день, когда в одном из московских судов слушалось дело "Иск Когана к Гавруто", бывают в Москве поздней осенью, но, судя по грязным пятнам снега, которые Вилковский видел на тротуарах, когда ехал на тот суд, была зима. Да, это случилось в декабре, и он запомнил, что накануне того дня он слышал по радио изложение статьи из лондонской "Таймс", где говорилось, что "осторожная реабилитация Сталина в СССР будет, вероятно, иметь положительный эффект: советская молодежь станет менее циничной, видя, что покойного вождя уже не мажут одной краской". В Москве даже самым наивным интеллигентам и неисправимым идеалистам уже не могло прийти в голову то, что видели из Лондона или Нью-Йорка ученые-советологи. И Вилковский понимал, что мелкое, в сущности, происшествие — суд Когана — Гавруто — пред-

ставляет для него больший интерес, чем многие газетные статьи; суд как раз мог бы показать, есть ли перемены, будут ли они происходить на самом деле. Поэтому он решил обязательно там присутствовать.

Суть дела была давно известна. Коган, о котором рассказал в одной из своих речей Н.С.Хрущев, действительно существовал, хотя и никогда не был переводчиком Паулюса. Это был молодой еврей, который после захвата Киева гитлеровцами долго скрывался, потом уехал в другой украинский город, где его случайно встретила знакомая и выдала немцам. Однако он сумел убедить немецкого коменданта, что приехал на Украину с Кавказа, будучи по происхождению армянином, вследствие чего его иногда принимают за еврея. Таким образом он избежал немедленного расстрела, но немецкой мобилизации избежать не смог и был зачислен в тыловую хозяйственную команду, вместе с которой попал в окружение под Сталинградом. Словом, если смотреть на дело формально, в армии Паулюса действительно числился еврей Коган. Но циничного предателя-еврея, сумевшего стать приближенным гитлеровского фельдмаршала и совершить какие-то особенно опасные преступления, никогда не существовало. После разгрома немецких войск под Сталинградом Коган получил свои десять лет заключения по минимальной норме того времени "за сотрудничество с оккупантами". Он отсидел их полностью, потом вернулся в родные места, женился и сделал скромную карьеру в строительном тресте, в поселке под Киевом. Потом выступил Хрущев со своим рассказом о каком-то мифическом Когане, личном переводчике Паулюса, и появился на сцене писатель Гавруто.

Известно, что писателей, даже реалистов, не интересуют факты — их интересует только прав-

да, которая выше фактов. А Гавруто к тому же стремился попасть в Союз советских писателей, признающих своим творческим методом не простой, а социалистический реализм. И хотя в Союз писателей его все же не приняли по неясным причинам, он продолжал сочинять романы на "нужные" темы, чутко прислушиваясь к пожеланиям, высказанным в последних речах или в самом последнем номере газеты. Прочитав рассказ Хрущева о переводчице Паулюса еврее Когане, Гавруто с похвальной оперативностью вставил в свой давно начатый роман новый персонаж с фамилией Коган, но, разумеется, творчески развил тему и очень правдоподобно изобразил, как молодой киевский еврей не за страх, а за совесть служит гитлеровцам, выдает им киевское подполье, а затем и комсомольцев, ведущих героическую борьбу с оккупантами в Херсоне (поскольку роман был, собственно, посвящен истории херсонского комсомола в годы войны). Неизвестно, слышал ли Гавруто хоть что-то про реального Когана, или столь действенной оказалась сила его художественного прозрения, но один из жителей поселка, где проживал Коган, прочитал роман и был потрясен до глубины души догадкой, что в родном его поселке, на соседней улице, в соседней конторе, под безобидной маской строителя скрывается столь ужасный злодей. Вскоре и весь поселок был потрясен, потому что всем стало ясно, что Коган, изображенный в романе Гавруто, и Коган, проживающий в поселке, одно и то же лицо. И на этого Когана обрушился справедливый гнев советских людей, которые не могли допустить, чтобы предатель продолжал работать в советском тресте, а его жена преподавать детям родной язык, и даже школьники поселка стали изливать свое патриотическое негодование на детей презренного предателя. Так продолжалось до того дня, когда об этой

истории узнал еще один человек, тоже писатель, вернее — писательница.

Женщины часто не прощают несправедливости и жестокости, а женщина-писательница, узнавшая историю Когана, который стал в буквальном смысле слова жертвой художественного, точнее малохудожественного произведения, сама во время войны испытала на себе жестокость фашизма и с особой нетерпимостью относилась к людям, от которых через много лет после бесславной кончины Гитлера все еще пахло духом фюрера. Она явственно учуяла этот дух в личности и в сочинении Гавруто и посоветовала Когану подать в суд на автора и на издательство, выпустившее книгу массовым тиражом.

В небольшой невзрачной комнате, с обшарпанными деревянными скамейками и двумя загородками — за одной помещался судейский стол и кресла, за другой, поменьше, — ответчик, — собрались болельщики Гавруто и несколько еврейских интеллигентов, мучимых мазохистским комплексом — им хотелось еще раз убедиться, что зло не подлежит наказанию, если оно направлено против людей, носящих фамилию Коган. Преобладали люди пенсионного возраста — седые, лысые, в очках, несколько человек были в старых военных кителях без погон, с орденскими планками на груди. Гавруто Вилковский видел впервые, но узнал еще до того, как ему сказали, кто это. Неряшливый, шустрый старик в несвежей рубашке, со съехавшим на бок галстуком, он вертелся, как шершень, поглядывая с иронической ухмылкой то на Когана, то на сидевшую рядом с ним писательницу. На судью и заседателей Гавруто смотрел уже с другим, тайным выражением, как бы говоря: мы-то с вами знаем — все, что здесь происходит, и эта худенькая секретарша, которая гнется над своими папками, и адвокат Когана —

седой, благообразный, но с подозрительно большим носом, вероятно, тоже еврей, который что-то выписывает из своей книжечки, — все это никакого значения не имеет, решение принимается не здесь, и оно уже принято... Похоже было на то, что Гавруто явился в суд лишь потому, что где-то его заверили — опасаться нечего.

Судьей была молодая женщина с тугим лицом, ничего, впрочем, не выразившим, кроме безразличия — и Гавруто сразу после начала суда громко сказал: "Надо с этим кончать!". И удивился, что судья не обратила внимания на его слова (которые, видимо, были и не его словами вообще) и приказала секретарю зачитать заявление истца. Когда слово было предоставлено свидетелям и защитнику Когана, Гавруто не на шутку встревожился и, наклонив к судье улыбающееся лицо с золотыми зубами, все пытался заглянуть ей в глаза, потом громко, многозначительно проверещал: "Я знаю, ведь вы советовались с вышестоящими товарищами". Судья ничего не ответила, как будто не слышала его слов, зато в зале, в ряду, где сидели неисправимые идеалисты, раздались смешки.

Пока выступал защитник Когана, Гавруто бесился и возмущался, все прерывал адвоката и угрожал расстрелом его подзащитному: "Да, да, мы вас еще расстреляем!" — кричал он Когану, показывая уже не только передние золотые зубы, но и всю пасть; задние мосты были сделаны из менее благородного, тусклого металла. К удивлению Вилковского, выяснилось, что крики Гавруто — не риторика, что он уже писал заявления во все инстанции, требуя нового суда над Коганом — теперь по новому "делу", точнее, по роману, сочиненному им, Гавруто.

Увы, из этого ничего не получилось. Киевское КГБ прислало в суд официальную справку о том, что после проведенного расследования выясни-

лось: "Нет никаких оснований считать Когана связанным с комсомольским подпольем в годы войны и виноватым в провале подпольщиков". Зачитавший эту справку адвокат — пожилой, умудренный опытом человек — все время старался перевести дело в простой, человеческий, житейский план, увести его подальше от опасных рифов, вроде упоминания о национальном происхождении Когана. Усталым, отеческим тоном адвокат выговаривал Гавруто и его редактору лишь за то, что они не проверили факты прежде, чем печатать книгу. Коган создал здоровую советскую семью, говорил адвокат, у него двое детей, он честно трудится на производстве, имеет благодарности и поощрения, а вы его травите, натравливаете на него других. Его мать довели до инфаркта, и она умерла, жену выгнали из школы, где она занималась полезным преподавательским трудом, детей высмеивают на улице. Как же так, за что? Зачем вам в романе о комсомольцах Херсона понадобился предатель по фамилии Коган? Был Коган во время войны в Херсоне? Нет. Зачем же вы вставили его в роман?

Гавруто иронически ухмылялся: он знает за чем... Потом он перевел тухлые глаза на судью и снова стал вертеться на скамье и беззвучно кричать: что же все это значит? Почему разрешают какому-то адвокату с подозрительным носом задавать вопросы? Ведь сказано: "Надо с этим кончать!"

Редактор издательства, выпустившего роман, — высокий, мрачный, с негнущейся ногой-протезом, со злым упрямым лицом и глазами человека, которого несчастье не сломило, а лишь обозлило на весь свет, — начал выступление с провозглашения высоких идейных принципов: у нас полная свобода творчества, Коган из романа есть художественный образ, безусловно типический, но все

же не реальное лицо. После такого вступления можно было ждать анализа художественного образа Когана, но, вместо этого, редактор, показывая палкой на живого Когана, заявил, что перед судом в качестве истца посмел выступить жуткий предатель, заклеянный не только документами, но и в официальной речи. Несмотря на свой отсутствующий вид, судья уловила намек на Хрущева, который после снятия с поста канул в директивную Лету, и, испугавшись, что на суде прозвучит имя, публично не упоминаемое почти два года, оборвала неосторожного редактора. Тут встrepенулся Гавруто и сделал бурную попытку сослаться на других официальных лиц, которые читали и одобрили его книгу. Но как он ни старался, как ни кричал, повторяя с придыханием слова: "Обком и горком... Первый секретарь Херсонского обкома... Секретарь парткома..." — на лице судьи снова застыло бесстрастно-равнодушное выражение.

Но волновался Гавруто все-таки зря. Под конец заседания выяснилось, что в нем принимает участие прокурор — плоскогрудая, бесцветная женщина в серой мятой кофточке, которая тихо сидела за столиком в дальнем углу и за все время не проронила ни единого, даже самого короткого слова. Когда ей неожиданно предоставили его, она тоже не утомила публику красноречием и, заглядывая в бумажку, произнесла одну-единственную фразу, правда, мучительно растянув ее, как школьница, дурно выучившая урок: "Истец... э-э... не доказал обоснованность... э-э... иска... Да... поэтому прошу... э-э... иск отклонить". Высказав эту мысль, прокурор извлекла из-под столика авоську с двумя порожними бутылками из-под молока и торопливо пошла к выходу, видимо, опасаясь, что не успеет в молочную до обеденного перерыва.

После этого суд удалился на совещание для вынесения приговора.

Во время перерыва в темном, выкрашенном масляной краской коридоре, куда все присутствовавшие в зале вышли размяться и покурить, обсуждение только что слушавшегося дела приняло несколько иной характер. Здесь заговорили во весь голос о вещах, о которых никто и не заикнулся в зале суда. В коридоре резко и откровенно столкнулись две партии, два сорта людей, и Вилковского, прислушивавшегося к их взволнованным голосам, не покидало ощущение, что сторонники и друзья Гавруто поразительно похожи, как будто они все до единого были от природы неизменно и неиссякаемо хищны, тупы и бесчестны.

— Вас бы Америка озолотила! — кричал старик с апоплексическим лицом и безумными глазами заступившейся за Когана писательнице, лицо которой, особенно умные и глубокие глаза, говорило о том, что она узнала в жизни много горя и печали.

— При чем здесь Америка? — спросила она с недоумением.

— Американский империализм, — сказал старик. — Я полковник МВД в отставке. Я-то знаю.

В это время другой старик, маленький, худенький, с бесстрашными, неумолимыми глазами, тихо и спокойно говорил Гавруто:

— Вы не писатель, а провокатор и антисемит!

— Как? — завизжал Гавруто. — Я антисемит? А вот меня переводили на еврейский язык. — Он извлек из кармана какую-то рваную брошюру и ткнул ее в лицо старику: — Смотрите, издательство "Эмес!"

— Что ты с ними разговариваешь, — сказал Гавруто его редактор, сидевший на стуле посреди коридора, так как ему трудно было долго стоять на своем протезе. — Зачем нервы тратить зря? Ты

разве не видишь, что тут собрались одни сионисты? Только заядлые сионисты могут...

— Заткнитесь! — оборвала его пожилая женщина в очках и черной шляпке.

— ...Заядлые сионисты, — повторил редактор, — могут нападать на честного советского автора, который...

— Заткнитесь, погромщик! — сказала женщина в очках.

— Это вы о ком? — спросил редактор.

— О вашем честном авторе, о Гавруто. Да и о вас тоже. Все вы черносотенцы. А он шестьдесят лет в партии, — продолжала она, показывая на старика с бесстрашными глазами. — Его дважды хотели расстрелять, но он пережил и Ягоду, и Ежова, и Берию. Он еще и вас переживет, антисемитов из Союза писателей.

— А вы зато ходили в театр с Коганом! — вдруг крикнул Гавруто писательнице.

— В театр?

— Угу! У нас есть фотография.

— Что? Какая фотография?

— Да, да, — верещал Гавруто. — Вы ходили с Коганом в МХАТ. Напрасно отнекиваетесь.

— Заведите новое дело, — рассмеялась писательница.

Давид Вилковский заставлял себя слушать, хотя мысли его уже были далеко и от этого коридора, и от зала суда. Глядя на отставных полковников из МВД и других родственных организаций, которые способны только произносить слова-жупелы, вроде "империализм", "сионизм", точный смысл которых вряд ли понимали, но все еще рвавшихся кого-то разоблачать, арестовывать, уничтожать, и на людей из противоположного лагеря, на рано постаревшую от пережитых страданий писательницу, ввязавшуюся в дело, которое ее вовсе не касалось (ведь она и не еврейка вовсе), на старых ев-

рейских интеллигентов, измученных годами, болезнями и бедами, но по-прежнему непокорных, непримиримых и способных волноваться из-за любой несправедливости, Давид Вилковский думал, что в этом деле, в этом суде или подобии суда между Коганом и человеком, именующим себя писателем Гавруто, не о них идет речь. Не о мелкотравчатом литераторе, сочинившем роман с антисемитским душком, и не о еврее Когане — это всего лишь предлог для еще одной конфронтации между вечно противоположными и противостоящими человеческими типами.

Когда судебное заседание снова открылось, судья объявила приговор. Сохраняя на лице бесстрастное, абсолютно непроницаемое выражение, она повторила фразу прокурора, но уже без заиканий и запинок: "В иске отказать!". И добавила, что письменная мотивация приговора будет предоставлена заинтересованным сторонам через три дня.

И все. Можно было расходиться. Гавруто, сияя золотыми зубами и уже не глядя на своих противников, обнял редактора и бывшего полковника МВД, и все втроем направились к выходу.

На улице шел зимний дождь. Было холодно, сумрачно, и Вилковскому пришлось долго стоять на перекрестке и ловить свободное такси. Домой он ехал вместе с двумя литераторами-евреями, жившими с ним по соседству. В такси все молчали, и только когда они уже подъезжали к дому, один из них — пожилой человек, очень порядочный, очень добрый, сказал: "Я не понимаю, как я все еще живу. Как я еду домой, как вернусь сейчас в свою квартиру". А другой, помоложе, и потому все еще пребывающий в непрестанном волнении и все еще на что-то надеющийся, сказал: "Вот, все говорят — молодые, молодые, не знали Сталина, не жили в сталинское время. Прокурорше, которую мы сегодня видели, еще и тридцати нет, судья

— из этого же поколения, обе воспитывались, учились после Сталина. Вот они — молодые!”.

Когда Давид Вилковский снова прислушался к разговору, идущему в камере вытрезвителя, он понял, что спор о прошлом продолжается. Рафаил как раз говорил об удивительном и роковом переходе от Когана из поэмы Багрицкого к Когану, вымышленному Гавруто.

Марк Давыдович возражал; еврей-коммунисты все же не будут забыты, среди них были замечательные люди, пламенные революционеры...

— И чекисты, — добавил Рафаил.

— Да, и чекисты, — без смущения согласился Марк Давыдович. — А вы знаете, каковы были чекисты тех лет? Я помню одного из них — он конфисковал скобяную лавку своего собственного отца и...

— И ни в чем не преследовал личной выгоды и так далее, я согласен, — подхватил Рафаил. — А вам известно, как его изображают в наши дни?

— Разве о нем написали? — удивленно спросил Марк Давыдович.

— Ну, может, и не о нем лично, но образ еврей-чекиста не забыт современными поэтами. Слушайте: ”Русизм! По заветам мудрейшей талмудики — по морде! По вывеске бей! Не робей!.. В Чека раскаленным учили нас прутиком за очень невинное слово — еврей!” Как вам это нравится? Тут все просто и понятно, особенно для тех, кто сами готовы дать в зубы любому, чья физиономия им не нравится. Я не удивился бы, если кто-нибудь реабилитирует и лозунг ”Бей жидов и комиссаров!”.

— Это — клич контрреволюции! — возмущенно воскликнул Марк Давыдович.

— А я что говорю? — все так же спокойно продолжал Рафаил. — Евреев в революции было достаточно, чтобы кое-кому показалось, будто

от них вся советская власть. Кончилось тем, что ее стали освобождать от евреев. Особенно усердствовали те, кто раньше были злейшими врагами новой власти. Диалектика! Еврейское начало пришлось не ко двору. Равенство, поощрение среднего уровня, выталкивание слишком умных, слишком отличающихся от других противоречило еврейскому стилю.

— Так вы понимаете цели социализма? — спросил Марк Давыдович.

— Я обсуждаю не цели, а что есть, что стало. Впрочем, если говорить о целях — разве вы не сторонник равенства? А чтобы было равенство, нужно многое сделать. Люди-то ведь рождаются неравными. Как быть с выдающимися способностями, талантами в обществе идеального равенства? Ответ известен. Он дан сто лет тому назад. Не помните? ”Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспиры побиваются камнями”.

— Это памфлет, — сказал Марк Давыдович. — Вы... неужели вы судите о социализме по Достоевскому?

— Нет, — скромно сказал Рафаил. — Я ведь знаю, что и Достоевский ошибался. Цицерону революции — не уверен, можно ли его так назвать, если нет, извините, но говорят, что он и в самом деле был великим оратором — языка не отрезали, ему раскроили голову⁷⁰. Николаю Вавилову, гениальному ученому, глаз не выкалывали, его просто сгноили в тюрьме. А Солженицына камнями не побивали, а только выдворили...

— Это не так, — сказал Марк Давыдович; он был расстроен и говорил очень тихо. — Вы... не станете же вы утверждать, что до всего этого дошло, потому что такова логика социализма? Вы... вы серьезно думаете, что система Шигалева, Нечаева... это социализм?

— Нет, я так не думаю, — тем же тоном продолжал Рафаил. — И они тоже ошибались. Отбор не остановился на середине. Среди посредственностей тоже идет борьба, и на поверхности остаются те, кого нельзя назвать даже серединой.

— Хватит, хватит! — перебил его в этот раз уже Вил. — Какое нам до всего этого дело? Достаточно с нас одних евреев-коммунистов. Они, конечно, немало потрудились, чтобы подготовить вот этот, наш нынешний день.

— Это не мы! — сказал Марк Давыдович.

— Это вы! — сказал Рафаил. — Вы просто забыли, что после революции евреи заняли места людей, не пожелавших служить новому государству, или тех, кому это государство не доверяло. Вы забыли, с каким фанатизмом евреи помогали узаконивать беззаконие, которое не казалось им беззаконием. Ну и так далее. Но самый главный ваш грех, из которого вытекали все остальные, — идеологический. Вы поверили, что в скором будущем уже не будет иметь значения, кем человек родился, хоть евреем.

— Но так и было! — воскликнул Марк Давыдович, придя в сильное возбуждение. — В двадцатых годах национальность не имела значения. Да... такого пункта и в анкетах не было. А если и встречался, мы писали "интернационалист". И это было искренне, совершенно искренне. Никто, ну никто, кроме белогвардейцев, не обращал внимания, не считал злом участие в революции большого числа евреев. Вы не знаете, только белые газетенки за рубежом выносили в скобки подлинные еврейские фамилии деятелей революции: Троцкий — Бронштейн, Каменев — Розенфельд, Зиновьев — Радомысльский. В самой России этого не было...

— Не было, но стало? — ехидно спросил Рафаил. — В сорок девятом в "Правде" появились

скобки с еврейскими фамилиями космополитов: Мельников — Мельман, Яковлев — Хольцман. А еще через несколько лет стали появляться сочинения, доказывающие, что сионисты — главные враги социализма. Впрочем, псевдоним сионисту и не обязателен. Пропагандисты нынче прищипывают этого конька: опасность сионизма, еврейства и еврейского капитала для социализма.

— А вы... вам не приходило в голову, что это могут утверждать скрытые враги социализма? Или... скажем, круглые невежды?

— Согласен, согласен. Но как определить, кто враг социализма, а кто друг? Вы искренний социалист? А сколько лет вы провели за решеткой? Антисемиты — это невежды? Пусть так. Но они совершенно спокойны в своем невежестве, им дозволено выдумывать факты, высасывать из грязного пальца любые цитаты. Это только дикари, издавшие Нюрнбергские законы, открыто объявили евреев неполноценными, как будто нельзя было им представить "эндлезунг" с использованием газа как некую окончательную помощь гонимым евреям!

— Но я все-таки верю, что при истинном социализме все будет иначе, — сказал Марк Давыдович.

— Что же будет?

— Сближение и слияние наций... Да... всех наций...

— Будет! — подтвердил Рафаил. — Все будет! Но взгляните пока на то, что есть. Вы не замечаете, что все нации, которых вы видите вокруг себя, и кавказцы, и узбеки, и молдаване, все ищут себя, свое национальное начало? Чем больше унифицированы формы их жизни, тем сильнее тяга каждого народа к своим корням. И чем меньше, малочисленнее народ и труднее ему оставаться самим собой среди моря коренной национальности,

как говорили сто лет назад и говорят и теперь, — тем сильнее тяга удалиться в келью своего языка, своих верований, своей народной культуры. Поезжайте в Таллинн и посмотрите на эстонцев, которых осталось что-то около миллиона. Как они охраняют, лелеют, обожают своего эстонского бога — свое национальное лицо!

Он продолжал почти грозно и уже без всякой иронии:

— Все народы возвращаются к себе, но российским евреям некуда возвращаться. У них нет почвы, и они отдали революции свой язык, религию, культуру; все отдано за возможность слиться с другими, за иллюзию, что возникнет новая нация "интернационалистов", как писали вы, Марк Давыдович, в анкетах двадцатых годов. А что вышло, что? Пятый пункт! Евреи жаждали образования, и они его получили после революции, и в таких масштабах, что еще сегодня они, кажется, на втором месте по количеству академиков, докторов наук. Но это вчерашний день. А в перспективе что? Ландау академиком уже не будет, в аспирантуру его не возьмут, а пошлют в школу преподавать математику. С другими проще: Бронштейн, которого мы тут уже упоминали, попадет смолоду в психлечебницу, там его излечат от реформаторского бреда. Литвинов протрет штаны, составляя аннотации и переписывая библиографические карточки в библиотеке, конечно, не в Ленинской. Мандельштам будет трудиться над подстрочниками стихов с чувашского и гагаузского; Расула Гамзатова ему уже не дадут переводить... Вышло, что евреи как нация потеряли свое лицо, иногда не очень привлекательное, но все же собственное лицо, которое было у них до революции. Оно стерлось, размылось, а другого нет. Люди без образа: религии нет, языка нет, культуры национальной нет. И они не понимают

и не признают друг друга. Зато их признают и выделяют другие. Не как нацию, Боже упаси! Каждого еврея в отдельности считают евреем, но всех их вместе за народ не считают. Вот тут-то и начинается нечто в высшей степени неожиданное. Казалось бы, что оставшись без понятия о себе, евреи должны исчезнуть, умереть, раствориться. Но они не могут раствориться. И с ними начинается то же самое, что происходит с другими: возвращение к себе. Ужасно это трудное дело для людей, лишившихся традиций, иногда и памяти. И все же это происходит. И не менее неумолимая сила, чем та, что лишила их лица, теперь собирает их вместе, придает образ и лицо. Что это за сила? На первый и самый поверхностный взгляд кажется: антисемитизм. Но мы-то с вами знаем на собственном опыте, что, может быть, это есть та таинственная сила еврейства, столько раз удержавшая его от растворения в чужой среде. Эта сила столь же явственна, зрима, как вот эта вонючая камера. Она ведь и привела сегодня в синагогу и вас, Марк Давыдович, бывшего интернационалиста...

— Почему же — бывшего?

— Однако вряд ли вы прежде задумывались о своем еврействе!

— Да... В этом вы, пожалуй, правы. Я... я должен откровенно признаться, что думать о евреях я стал только после ареста... В тюрьмах и лагерях. Знаете, там много мыслей приходит — в минуты передышки, конечно... Встречаешь много разных людей... Я там многое узнал. И... знаете, что на меня произвело самое большое впечатление? Не евреи — я встречал русских, которые пострадали много больше... И о черни говорить не буду, хотя это тоже удивительно. При мне один вор разглагольствовал: все начальники и придурки, дескать, евреи; они командуют и грабят. Погоди,

ты что болтаешь? Начальник лагеря — русский, завстоловой — грузин, бригадир такой-то — татарин. Я все командные должности в лагере перечислил — не оказалось ни одного еврея. Вор задумался и сказал: "А зубной врач, Дора Борисовна?". Однако больше всех удивили меня и заставили задуматься антисемиты, уверявшие, что они коммунисты, верные члены партии. Сталинского набора, конечно. Один из них лежал рядом со мной на нарах. Его посадили за хищения. Со второго слова объявил: "Вы, евреи, не любите физического труда, вам бы только стоять в белом халате за прилавком". Как только этого адвоката физического труда досрочно освободили, пока без права выезда, он устроился продавцом в ларек, обслуживавший женский лагерь... После выхода на свободу я не мог обо всем этом не думать. В моем родном местечке не оказалось ни одной еврейской семьи, которая не понесла бы потери. Наше местечко дало Красной Армии шестьдесят три солдата-еврея, из них сорок пять погибли на фронте, а восемнадцать вернулись с ранениями и наградами. Но когда один из вернувшихся поругался с каким-то начальником, тот его спросил: "Ну разве вам у нас уж так плохо?". Знаете, это на меня подействовало больше, чем лагерные истории... С тех пор я много думаю о евреях...

— Думать не надо! — хмуро сказал Вил. — Надо уезжать. Все остальное — частности. Только одно важно: уехать.

— Знаешь, Вил, все не так просто, как тебе кажется. Я бы многое еще мог сказать и...

— Самое главное вы сказали, — перебил его Рафаил. — Я считаю, что вы бросили монету в копилку.

— В какую копилку?

— В копилку общего опыта. Я предлагаю: давайте говорить только о себе, а не о социализме,

революции и других общих материях. Пусть каждый расскажет про себя и объяснит, почему он сегодня пришел в синагогу. Мы соберем все это в копилку, и тогда у нас получится не только интересный, но и полезный разговор. Будем считать, что первая монета в копилку уже брошена: рассказ Марка Давыдовича. Переходим к следующему. Кто на очереди? Может, ты, Вил? Почему ты считаешь себя евреем?

— А кто же я? — удивился Вил. — Я всегда знал, что я еврей. А вы — нет?

— Ты же не получил дома еврейского воспитания?

— Разве я сидел взаперти дома? Как я мог не знать, что я еврей?

— Наверное, это было грустно? — спросил Марк Давыдович.

Вил рассмеялся:

— Мне форма моего носа нравится. Моей жене тоже. А кому не нравится, пусть идет, знаешь куда?

— Не отвлекайся, — сказал Рафаил. — Предъявляй свою монету. Отец тебя не водил в синагогу, он назвал тебя Вил.

— А что? Если мне дали такое имя, я уже не имею права ходить в синагогу? Что за чушь — почему я считаю себя евреем? Потому что я и есть еврей. Разве нужно объяснять, почему ты, Рафаил, считаешь себя мужчиной?

— А почему ты решил уехать в Израиль?

— Потому что я еврей. Это просто. Все остальное неважно. Чем больше думаешь, больше взвешиваешь, тем хуже. Чем скорее принимаешь решение, тем лучше. Я решил сделать то, что надо сделать еврею. Есть только два выхода: остаться, подчиниться, не быть. Или уехать.

— Хорошо, — сказал Рафаил. — Еврей без рассуждений — это, конечно, лучше, чем то, что про-

исходит с теми советскими евреями, кто принимает решение быть или, наоборот, не быть евреями. Я не про тех, о ком говорится в известном анекдоте: при коммунизме, когда из анкет исчезнет пятый пункт — национальность, — появится другой: национальность ваших родителей при социализме. Я про то, что еврей останется евреем, даже если он записан иначе: все равно будет впутываться в истории, от которых другие убежали бы, все равно будет разбивать себе голову...

— Одну минутку, — сказал Лева, который сидел на койке в своей обычной позе, неподвижно скрестив руки на груди, и только моргал глазами: — Вил прав — зачем столько рассуждений?

— Ты хочешь бросить свою монету? — улыбаясь, спросил Рафаил. — Бросай!

— Как я пришел к убеждению, что мне нужно уехать в Израиль? — начал Лева, когда увидел, что на него смотрят в ожидании. — В вуз я поступил нормально, учился, защитил кандидатскую, стал работать. Так продолжалось до начала июня шестьдесят седьмого, когда, открыв утром газету, я узнал, что два миллиона израильтян напали на тридцать миллионов египтян и не помню сколько еще там миллионов сирийцев и иорданцев. Меня охватила тревога. Но прошло несколько дней, и все обернулось иначе: мы победили! Должен сказать, что не только я был потрясен. Мои знакомые, русские, все были ошеломлены победой Израйля.

— Значит, гордость, — сказал Рафаил. — Принимается... Гордость и сочувствие, такие монеты принимаются в нашу копилку.

— Да, — сказал Лева. — Может быть, я просто вспомнил, как в одиннадцать лет меня обозвали жидом, и я полез в драку с большими ребятами. Черт, если бы у меня тогда были кулаки покрепче! У государства Израиль кулаки оказались крепки-

ми, и я захотел узнать: почему? Я стал искать литературу на еврейские темы. Первая книга, которую я прочитал, была "СС в действии". Потом удалось достать "Историю евреев в России и Польше". И краткое изложение Библии. Небогато, конечно. У нас ведь издаются только те книги, в которых отрицается, что евреи народ. В брошюре какого-то Ю.Иванова слова "еврейское государство" даже во времена Навуходносора⁷¹ взяты в кавычки. Однажды я узнал, что вышла книга "История религии". Я ее достал: солидный двухтомник, автор Кривелев Иосиф Аронович. И что вы думаете? В сочинении Иосифа Ароновича все есть: история древних религий, буддизм, браманизм, история христианства, ислама, а иудаизма нет. Невероятно, но факт: Библии не было, Моисея, монотеизма. Правда, глава о христианстве начинается словами: "Христианство родилось среди евреев". Спасибо Иосифу Ароновичу и на этом — евреи, оказывается, существовали. А религии у них не было. Или она недостойна главы в научном сочинении?

— Не отвлекайся, — сказал Рафаил. — Бросай свою монету.

— О евреях писали либо плохое, либо ничего. Даже "Союз евреев, преследовавшихся нацистами" оказался в Литгазете шпионской организацией. Потом наступил день, когда слово "еврей" исчезло из газет. Его заменило слово "сионист". Оказалось, что сионисты есть всюду — не только в Израиле, но и в Америке, Канаде, Австралии, Англии, даже на острове Пасхи, и всюду они подрывают и подстрекают. Во времена Гитлера тоже были сионисты, его лучшие друзья и союзники. В кинофильме "Суд народов" о Нюрнбергском процессе диктор несколько раз перечислял национальность жертв фашизма: русские, поляки, французы, бельгийцы, норвежцы, все нации Ев-

ропы, без евреев. Самое лучшее я прочитал в "Комсомолке". Зимой 1942 года, писала газета, в пригороде Берлина, Ванзее, под руководством Гейдриха состоялось совещание высших представителей нацистской партии, министерств и гестапо. На повестке дня: окончательное решение е в р о п е й с к о г о вопроса! Нет, не это лучшее. Лучшее я однажды слышал по радио, репортаж об известных советских спортсменах с перечислением национальности каждого: Власов — русский, другой — белорус, третий — грузин. Новак — помните, был такой тяжелоатлет? Диктор говорит: лейтенант! И я не стал больше ничего читать и сказал себе просто: ты еврей, ты живой, почему ты должен всю жизнь терзаться, чего-то ждать, на что-то надеяться! Надо делать, то есть уезжать. И это все. А дальше было проще простого...

— Значит, еще из протеста, — сказал Рафаил.
— Хорошая монета.

Лева замолчал. И эти последние эпизоды он рассказал ровным и спокойным тоном, в точности как рассказывал раньше о своих злоключениях в тюрьме. И он по-прежнему сидел на койке, не двигаясь, его маленькие худые руки лежали на коленях без дела, а лицо по-прежнему ничего не выражало, но за этим равнодушием угадывались целеустремленность и бесконечное терпение.

Станный все-таки вечер, думал Вилковский, и обстановка странная. Какую "монету" он сам мог бы бросить в копилку Рафаила? И вдруг вспомнил день, проведенный им в Киеве, в Бабьем Яру, и подумал, что этот случайный в его жизни эпизод мог бы объяснить соседям сегодняшнее присутствие его в вытрезвителе...

...Давид Вилковский никогда там прежде не был, хотя бывал в Освенциме, Бухенвальде, Матухаузене, у памятника борцам Варшавского гет-

то, в некрополе под Карагуевацом, в Югославии. Невелик труд проехать несколько сот километров от Москвы до Киева, а он все не ехал, все откладывал. Но вдруг неожиданная весть: в Бабьем Яру установили памятник. Надо воспользоваться этим случаем, сказал себе Вилковский, нельзя больше откладывать.

И вот 29 сентября, в очередную годовщину трагедии, он приехал в Киев утренним московским поездом, дождался свободного такси и попросил отвезти его в Бабий Яр. Таксист, молодой человек в щеголеватой синей куртке, знал о годовщине, хотя в киевских газетах о ней не упоминалось ни словом, и предложил Вилковскому поехать через Подол, с тем, чтобы он мог увидеть сам Бабий Яр, который почти не виден с того места, где установили памятник. По дороге таксист стал рассказывать, почему для него, родившегося после войны, Бабий Яр тоже связан с бедой: гниющая жижа из песка и воды, так называемая пульпа кирпичного завода, стекавшая в этот овраг, прорвала земляную дамбу и затопила весь район, снося на своем пути дома, губя людей и животных. "Даже вот здесь внизу, — сказал таксист, — поплыли трамваи. Жуткое дело!" Машина взмыла на подъем, но вскоре остановилась. Рядом с шоссе начинался крутой спуск, и Вилковский увидел огромную и глубокую низину, как бы устланную зеленым ковром, кое-где вышитым светлыми полосками молодых березок. Этого не было ни в Освенциме, ни в Бухенвальде, ни в Маутхаузене. Там всюду стояли памятники, мемориальные доски, бюсты, бронзовые скульптуры, иногда архитектурные комплексы, которые в сочетании с остатками лагерных стен, вышек, труб должны были напоминать о бушевавшем в этих местах безумии. Тут же ничто не нарушало идиллического природного пейзажа, и это было первым зримым под-

тверждением того, что Бабий Яр — особенное место, не похожее на все, что когда-либо видел Вилковский. Тут, в Киеве, преступление отрицалось, о чем он не раз слышал, но до сих пор представить себе этого не мог. И как представить себе планы преобразования Бабьего Яра, превращения его в стадион, в парк с качелями или что-то в том же роде. Кому могло прийти в голову, — спрашивал когда-то Виктор Некрасов, — играть в футбол и развлекаться там, где погибли десятки тысяч невинных людей? Только катастрофа с прорывом дамбы весной шестьдесят первого года положила конец кощунственным планам. Таксист добавил еще одну деталь, о которой Вилковский ничего не знал: лет пять тому назад снесли старое еврейское кладбище, находившееся поблизости.

— Я-то его хорошо помню, — сказал таксист. — Все дети Подола ходили туда гулять. Сколько там было плит и памятников! Целые деревья из чистого мрамора! И следа от всего этого не осталось, построили подсобки для телецентра, да вот телевизионную башню, которую вы видите между деревьями...

Подъехать к памятнику таксисту не разрешили, Вилковскому пришлось расплатиться и отправиться дальше пешком. Он шел и удивлялся: сколько запрещающих знаков! Сколько милицейских автомашин и мотоциклов! Сколько регулировщиков! Зачем? И вдруг поднял глаза: на просторной площадке, внезапно открывшейся перед ним, высилась черная глыба с высеченными на ней скульптурными фигурами. Памятник! Он ускорил шаги и подошел к каменным ступенькам, ведущим к его подножью.

Теперь он уже мог его разглядеть. И он увидел мощную фигуру солдата с гневно поднятыми кулаками, за ним матроса в бескозырке, а над головами обоих полуобнаженный торс женщины, к

груди которой тянулся ребенок, все сработано в том беспомощном стиле, который заменяет чувство дешевой патетикой, а выразительность — количеством затраченного материала. Но больше всего неприятно поразила Вилковского наивная символика памятника, вероятно, задуманного как прославление воинского мужества. Зачем такое нужно в месте великой печали, в Бабьем Яру, вошедшем в историю не потому, что убитые здесь беспомощные люди, в большинстве женщины, старики и дети, встретили свою ужасную смерть с какой-то особенной стойкостью. Тут было не простое отсутствие дара, способного пробудить чувство боли, сострадания, а попытка представить все, что здесь произошло, как нечто прискорбное, но не выходящее за пределы обычных военных преступлений. Надпись на чугунной доске: здесь было расстреляно свыше ста тысяч граждан Киева и советских военнопленных. Ни малюго намека на то, кто такие были эти граждане и почему среди миллионного населения Киева именно их постигла столь ужасная участь...

Вилковский стоял и смотрел: вот поднялась по ступенькам пожилая женщина с зонтом в одной руке и букетиком цветов в другой. Положив свои цветы на выступ памятника, она вдруг уронила зонт и стала что-то судорожно искать в своей сумочке: она искала платочек, Вилковский видел, как по ее старческим щекам потекли слезы. Вот старуха, которую вела под руку молодая девушка в голубой курточке; не дойдя до верхней ступени, обе остановились, старшая не могла больше сделать ни шагу... Это было и в Бухенвальде, и в Маутхаузене, и в Карагуеваце. В Освенциме он видел женщину, которая уже в самом начале осмотра лагеря резко побледнела, достала коробочку с лекарством и села в стороне на деревянную скамейку, неподвижная, оцепеневшая, в то время

как остальные туристы молча и бесстрастно слушали объяснения гида. Тут, однако, не было туристов, никто не пришел сюда из любопытства, чувствовалось, что для всех пришедших Бабий Яр связан с личным горем и печалью. Нет, не для всех! Стояли дружинники с красными повязками, мрачноватые молодые люди без повязок, чье занятие тоже нетрудно было угадать. Один из них — рябой, с низким лбом, почти до бровей заросшим красноватыми жесткими волосами, — особенно часто попадался Вилковскому на глаза, так как он шнырял по всей площадке и прислушивался к разговорам.

— Кто у вас здесь?

— Родители... А у вас?

— Все. Я ушел на войну уже на второй день после того, как она началась, а они остались здесь. Все, все здесь!

Говорили еще о другом: будет ли сегодня митинг.

— Вы дожидаетесь митинга? Это вам еврейский праздник, что ли?

— Людям нужно доброе слово. Хорошо, что поставили памятник.

— Долго думали... Тридцать лет!

— И все же хорошо, что он есть. Вам он не нравится?

— А вам? Что вам понравилось в нем, высота — пятнадцать метров?

Сколько времени Вилковский уже стоял тут? Длился все тот же день, который начался бесконечно давно, когда он сел в такси и попросил отвезти его в Бабий Яр. Переходя с места на место, он вдруг стал свидетелем такой сцены. На одной из ступенек, ведущих к памятнику, стояла под дождем, без зонта, даже без плаща, пожилая женщина, в черной косынке, в старом костюме, с двумя рядами орденских ленточек, неровно при-

шитых к мокрому, обвисшему лацкану пиджака. С виду она могла почти испугать: все в ней, от смертельной бледности лица с синим отливом, белых губ, судорожно полураскрытого рта и мутного помешанного взгляда, до распухших ног, обутых в старые стоптанные туфли, было так жалко, так страшно, что Вилковский внутренне содрогнулся; он не мог понять, как она сюда добралась. Какая-то другая женщина обратилась к ней с вопросом, и она деревянно пробормотала:

— Да, да... Я могу рассказать...

— Не надо! — резко перебила ее старушка в темном пальто, черных ботиках, которая тоже слышала вопрос. — Женщина! Ничего не рассказывайте! — И обращаясь ко всем, кто стоял поблизости, торопливо продолжала: — Она больная! Вы разве не видите? Я ее давно знаю, здесь же в Бабьем Яру и встречались — она больная... Она ушла на фронт, не успев попрощаться с матерью и дочкой, а их потом убили, здесь же в Бабьем Яру и убили... Что она может рассказать? Если начнет рассказывать, с ней может случиться припадок. Думаете, этого уже не было? Было! Не надо ничего рассказывать — она нашла тут ботиночки своей девочки... Мужчина, уведите ее! Не надо нам ничего рассказывать!

Кто-то накрыл своим зонтом насквозь промокшую женщину с орденскими ленточками и стал помогать ей спуститься вниз, на площадку. А старушка в черных ботиках, говорившая, что ничего не нужно рассказывать, не могла остановиться и порывисто продолжала:

— Может, вы спросите: зачем я сюда пришла? Отвечу вам: в моей жизни это все, что осталось, здесь лежат все мои родные, кроме мужа, на которого я получила похоронную с фронта уже в сорок втором... Мне-то помогли эвакуироваться из Киева, как жене фронтовика, другие не успели,

не смогли. А может, вы думаете, что не было и таких, кто не хотел эвакуироваться? Будьте спокойны: и такие были. Он, Гитлер, в своей Германии еще до войны стал убивать евреев, но мы же ничего не знали, в наших газетах писали: пакт! дружба! "Нет" поджигателям войны! Не Гитлеру, а французам, англичанам, полякам... А мой дядя говорил: "Разве мы немцев не видели? Еще в ту войну мы их видели — немцы тоже люди". Жил у нас во дворе и другой старик — Абрам Абрамович. Он говорил: "Ир зинт мешуге, — вы с ума сошли, значит. — Куда вы едете? Их блайб, — я остаюсь, значит... — Погодите, увидите — я еще открою а клэйт, — лавку, значит...". Потом мне дворничиха рассказывала: Абрама повезли в Бабий Яр на тачке для мусора, ходить он уже не мог... Вот тебе и "а клэйт"! Понял ты, Абрам, кто был мешуге, несчастный ты человек? Понял, дядя, какие немцы люди? А что, разве нет? И разве украинские полицаи, которые помогали им убивать, не люди? Они жили тут рядом с нами... Многие и сейчас живут в Киеве — разве вы этого не знаете? Дворничиха мне потом рассказывала, полицаи хохмили: "Евреи, не бойтесь! Ничего вам не будет, вас только отправят к Сталину. Вы, евреи, любите Сталина, вот и поедете к нему". Моя тетя Бася зажарила курицу на дорогу... Разве это возможно? Но так было... Когда я вернулась из эвакуации, мне сразу сказали: "Не шукайте ваших, бо их немає... Идить в Бабий Яр — все воны там!". Так я и узнала про этот проклятый яр и про то, что осталась одна... Никого у меня нету... И здоровья давно нету... У меня и сегодня с утра жар, но я пришла, разве я могла не прийти, не плакать? Смотрите, и природа плачет... Говорят: плачь теперь не плачь, ничего уже не поправишь. Потому-то я и плачу, что ничего не поправишь...

Она отвернулась и закрыла лицо зонтом.

В другом конце площадки одиноко и отчужденно стояла под своим зонтом хорошо одетая женщина, в брючном костюме и замшевом пальто, с виду очень спокойная, только ее печальное, уже не молодое лицо и выражение умных, чистых, темно-карих глаз давали некоторое представление о ее душевном состоянии. Вилковский задал ей какой-то вопрос, на который она ответила очень сдержанно, но, узнав, что он приезжий и впервые пришел в Бабий Яр, сказала:

— А я прихожу сюда каждый год... Что бы ни случилось, двадцать девятого сентября я здесь. Но тут есть одно ужасное обстоятельство: из года в год кто-то ожидает, что мы не придем, забудем. Забыть родную мать? Но они — вы понимаете, о ком я говорю? — именно на это и рассчитывают. Я помню, как однажды сюда пришел писатель Виктор Некрасов, встал под деревом, где мы складывали цветы, — ни памятника, ни камня тогда здесь еще не было, — и громко сказал: "Преклоним колени перед этой святой землей!". Он стал на колени, а за ним опустились на колени сотни людей. И так сердечно он тогда говорил о том, что наша любовь и память сильнее ненависти и жестокости фашистов, что все, кто его слушал, ушли отсюда как бы утешенными: нет смерти, нет гибели, нет разлуки, пока мы живы! Но именно это-то и не понравилось им — вы понимаете, о ком я говорю? И они решили "взять в руки", "под контроль" годовщины в Бабьем Яру. А что надо брать под контроль — нашу боль и слезы? Говорят, что в исполкоме шел длительный торг. О чем? Обо всем. Ленты должны быть красные, в крайнем случае, черные, но ни в коем случае — бело-голубые. Надписи только на русском языке, ни в коем случае не на идише или иврите. И никаких желтых звезд, нельзя напоминать об ужасном гитлеровском клейме! И нельзя сказать

каддиш. Потом, кажется, разрешили, но с условием — без ермолок. Но и это еще не все. Другая организация вызывала еврейских ребят и угрожала им: сидите тихо, иначе мы вас посадим, и вы получите большие сроки! Я не знаю, чем все это кончилось, все же буду ждать — может быть, они придут... После окончания рабочего дня сюда придет еще много народу. Обязательно придет Проничева, единственная еврейка, которая тогда избежала казни. Ее вели сюда вместе с матерью, но знакомая тетка-украинка успела их предупредить: "Куда вы идете? У Бабьем Яру всех жидив убивают!". Тогда мать сказала дочке: "Ты не похожа на еврейку, спасайся!". Проничева отдала часовому свои золотые часики, и он выпустил ее из цепи. Вскоре, однако, ее задержали, посадили на грузовик и опять повезли сюда. Грузовик был открытый, и она снова рискнула: выпрыгнула из него на ходу и убежала... Придут бывшие военнопленные, которых немцы пригнали в сорок третьем, чтобы стереть следы своего преступления. Если вы здесь еще побудете, вы всех увидите...

...Вилковский их увидел. Увидел Проничеву, худощавую женщину с бледным от волнения лицом, в окружении людей, пытавшихся задавать ей какие-то вопросы, на которые она почти не отвечала, а только печально кивала головой... И бывших военнопленных, среди которых выделялся высокий человек в темном добротном плаще, стоявший под дождем с обнаженной седой головой. Другой бывший военнопленный, низенький, крепкий, без единого седого волоса на голове, печально говорил всем, кто подходил к нему поздороваться: "Помните Давыдова? Он уже не придет... Нет больше Давыдова". А в конце дня, когда сквозь черноту зелени, окружающую площадку с памятником, уже блестели огни фонарей, Вилковский увидел и молодых людей. Они стояли

у входа в небольшой деревянный павильон с вывеской "Кафе Хвилинка", на развилке шоссе, и венки были прислонены к большому мокрому дереву. Когда Вилковский протянул руку к траурной ленте, чтобы разглядеть, есть ли на ней надпись, молодой человек с круглой черной бородкой мягко остановил его:

— Ну зачем их трогать? Они и так промокли. Вилковский спросил:

— От кого эти венки?

— От киевских евреев, — сказал юноша. — Матерям, отцам и дедам, погибшим в Бабьем Яру.

— А почему вы их не возлагаете? Уже вечер.

— Еще не все собрались. Из Москвы, из Риги тоже прислали венки, но те, кто их привезли, пока еще не пришли.

— Где же они? — удивленно спросил Вилковский.

— Один Аллах ведает, — ответил юноша с той же невеселой улыбкой. — Киевская милиция задержала их днем и куда-то увезла. Может, к вечеру все же выпустят. Мы подождем.

Вилковский сразу же решил: он тоже подождет.

В кафе, куда он вошел, чтобы укрыться от дождя, он увидел людей, явно дожидавшихся здесь того же, что и он сам. С одним из них — очень тощим, бледным юношей — он разговорился и узнал некоторые подробности о задержанных. Из Москвы приехало три человека, вообще-то их было четыре, но охота за ними началась раньше, и четвертого сняли с поезда. Остальным удалось привезти в Киев два венка, и они оставили их в знакомом доме, но когда вышли оттуда, их ждали машины с милиционерами. На вопрос, почему их задерживают, одному сказали, что в доме, из которого они вышли, зарезали девушку, другому — что девушку только изнасиловали, и надо проверить всех, кто здесь бывает. После проверки их

выпустят. Конечно, раньше ночи "проверка" не будет закончена, так что в Бабий Яр они уже не попадут.

Было уже совсем темно, когда молодые люди с венками, так и не дождавшись задержанных москвичей, выстроились в колонну и направились к памятнику. Вилковский пошел туда же напрямик, через опушку леса. Оказавшись снова на знакомой площадке, он увидел, что толпа, стоявшая тут весь день, сильно поредела, зато дружинников стало больше. Как только показалась колонна с венками, дружинники засуетились и стали о чем-то шептаться. Люди с венками прошли через площадку и начали медленно подниматься к подножию памятника. Дружинники, как по команде, последовали за ними. Остальные мужчины и женщины, все еще находившиеся здесь в этот поздний час, тоже стали несмело подниматься по каменным ступеням, но вскоре вынуждены были остановиться, так как передние ряды, достигнув чугунной доски, остановились. Сквозь дождевую завесу видны были разноцветные зонты, образовавшие как бы один большой зонт, прикрывающий тесно сомкнувшуюся толпу.

Так продолжалось несколько тревожных минут... Что происходило в это время у подножия памятника? В просвете между зонтами Вилковский видел высокого юношу в черной ермолке, который раскладывал венки среди букетов живых цветов, принесенных в течение дня. А все те, кто стояли на нижних ступеньках, ждали. Спины людей были согнуты, как бы подавлены церемонией возложения венков, которую они почти не видели из-за ночной темноты и бурного дождя. Только дружинники вытягивали головы и все оглядывались с беспокойным блеском в глазах, чего-то ожидая в полной боевой готовности...

Вилковский стоял, как и его соседи, затаив ды-

хание, не решаясь шевельнуться, и вместе со всеми ждал, ждал... Но ничего не произошло. Юноша в ермолке поднял руку, и люди, стоявшие рядом с ним, зашевелились и стали спускаться вниз. За ними хлынула вниз толпа. Все было кончено.

Молодой человек в берете, бегом спустившийся по ступенькам, подбежал к двум девушкам, ожидавшим на площадке, и задыхающимся от волнения голосом сказал:

— Состоялось! Вы видели? Мы возложили венки!

— Ну и что? — спокойно спросила одна из девушек.

— Как что? Вы забыли, их вырывали у нас из рук?

Почти одновременно Вилковский услышал обрывки другого разговора, который вели проходившие мимо дружинники:

— Порядок! — сказал один. — Теперь можно идти.

— А что? — спросил другой. — Это все?

— Да... Они молчали. Полный порядок!

И тут Вилковского озарило: вот оно что! Возложение венков происходило в глубоком молчании, никто не произнес вслух этого слова — "еврей"! Для того и присланы сюда наряды милиции. Ради этого маялись весь день под дождем дружинники! У них была единственная задача: помешать произнесению речей, в которых упоминалось бы слово "еврей". Из-за этого и сидят в милицейском участке евреи, привезшие венки из Москвы и Риги. Все остальное официально разрешено: боль и слезы, грусть, тоска, отчаяние. Каждый, чье сердце не может забыть погибших, волен прийти сюда и утешаться, воскрешая в себе их образы, или мучиться, хвататься за бедное сердце. Но пусть делает это молча! В очередную годовщину истребления киевских евреев в Бабьем

Яру там не должно быть произнесено крамольное слово "еврей". Теперь полный порядок! И можно уходить...

XV

Якова Штернберга выписали из больницы. Но внезапно заболела и попала в больницу его жена. Как же быть? Может, отправить его одного в Израиль? Надежд на выздоровление Оттилии Григорьевны почти не было...

Услыхав об этом плане, Вилковский взялся уговорить Якова Моисеевича, чтобы он согласился.

Когда поезд метро выскочил из тоннеля и покатил по рельсам, проложенным на поверхности, как пригородная железная дорога, и Давид Вилковский увидел в окно типичный пейзаж одной из новых московских окраин, с многоэтажными домами, разбросанными как бы по степи, среди редких приземистых построек, шоссежных дорог и шагающих во все стороны высоких стальных мачт высоковольтных передач — в этом районе жил сын Оттилии Григорьевны, забравший Штернберга к себе после больницы, — он окончательно решил: другого выхода у Якова Моисеевича нет. Пусть едет! Если не теперь, то когда?

Яков Моисеевич и в чужой квартире сидел, как обычно, за столом, разложив перед собой какие-то рукописи.

— Видите эту папку? — сказал он, показывая Вилковскому стандартную картонную папку ядовито-зеленого цвета, с тисненой надписью "Для бумаг", в которую он складывал листы, покрытые мелкими еврейскими письменами. — Я собрал все, что у меня есть. Если бы мне удалось

передать ее в Израиль поэтам Суцкеверу или Ошаровичу, мне бы, пожалуй, уже и не нужно было бы ехать туда самому. Я теперь — эта вот папка. Вряд ли я к ней еще что-нибудь смогу добавить.

— Сможете! — с деланной бодростью сказал Вилковский. — Будете жить и будете писать.

Яков Моисеевич вздохнул почти неслышно и стал завязывать свою папку.

Вопреки тому, что ожидал Вилковский, его не пришлось долго уговаривать, он уже сам дал накануне согласие ехать, не ожидая выздоровления жены. Но в ОВИРе требовали заявление жены, что она не возражает против его отъезда, подпись Оттилии Григорьевны нужно было заверить в больнице, где она теперь лежала, а такая бумага могла сразу изменить к ней отношение врачебной администрации и даже самих врачей. О, это роковое слово "Израиль", вызывающее у чиновников, да и не только у них, цепную реакцию страха и бесчеловечности!

Щемяще грустны были истории отказников, не получивших разрешения на выезд, выброшенных из общества, остававшихся на долгие годы без работы и средств к существованию, не знающих своего будущего, имеющих основание думать, что они уже на всю жизнь, не больше и не меньше как до конца своих дней, останутся в этом плачевном положении. Но было уже немало печальных происшествий и с теми, кто получил выездную визу, и особенно с их родными и близкими, которые не пожелали или не смогли уехать вместе с ними. Чудо выезда ворвалось в замкнутый десятилетиями мир, который и теперь, приоткрыв слегка дверь, отнюдь не собирался отказываться от своих обычаев и законов. Разрешение на выезд было разовой и исключительной уступкой, уезжающего выталкивали на другую космическую орбиту, люди, расстававшиеся в Шереметьевском

аэропорту, прощались не на год или два, а навсегда. В предотъездных хлопотах и волнениях об этом как-то забывали, но тем сильнее было отчаяние, охватывающее остающихся, когда они сознавали вполне, что нет и уже никогда не будет близкого, любимого рядом. От этого не спасали мысли, что уехавшему лучше "там". Не излечивали от тоски ни глянцевиные открытки с видами заграничных городов, ни письма, в которых описывалась какая-то новая жизнь, где отсутствовала проблема "снабжения". Не давали утешения и вечеринки, отмечающие годовщины отъезда близких и дни их рождения. Эти странные печально-веселые пиры, на которых пили любимое вино уехавших и даже ставили для них на стол полный стакан, к которому никто не притрагивался, подобно тому, как на пасхальном седере ставят бокал для Ильи-пророка, были похожи на поминки, с той лишь разницей, что они устраивались по живым и здоровым людям, с которыми пришлось расстаться навсегда. Подумать только — навсегда!

...А как же сложилась судьба Якова Штернберга?

Возвратившись в Москву после поездки в Армению, Вилковский не смог в тот же вечер поехать на квартиру, где он оставил Якова Моисеевича, позвонить туда он тоже не мог, там не было телефона. Но уже на другое утро ему позвонила хозяйка той квартиры, словно она каким-то непостижимым образом узнала, что он вернулся.

— Яков Моисеевич умер! — сказала она просто и грустно.

Наступило молчание. Вилковскому казалось, что он слышит в трубке ее печальное дыхание, и он спросил:

— Когда это случилось?

— Десятого, — ответила она. — Похороны состоялись тринадцатого.

— Как это было?

— После вашего посещения он почти целую неделю чувствовал себя прилично. Но в ночь на десятое мой муж внезапно проснулся и, взглянув в комнату, где спал Яков Моисеевич, увидел, что тот сидит на краю кровати, опустив голову. "Что с вами?" — "Что-то у меня болит спина", — ответил он. Муж разбудил меня, я приготовила горчичники, а он отправился звонить по телефону и вызвать, на всякий случай, неотложку... Она приехала через полтора часа. Врач сразу сказал: "У него отек легкого". И сделал укол, от которого у больного вздулась вена. Врач сказал: "Уже нет кровообращения". После этого он еще успел впрыснуть снотворное, Яков Моисеевич забылся и тихо угас... На лице его все время сохранялось печальное выражение, не ужас, а именно печаль, как будто он хорошо понимал, что с ним происходит и что сделать ничего нельзя...

Женщина снова замолчала. После паузы Вилковский спросил:

— А похороны?

— Ну, это уже не разговор для телефона...

Они условились встретиться в тот же день, у Центрального телеграфа.

Невестка Оттилии Григорьевны пришла на свидание в весеннем пальто и новых туфлях, но печальная, бледная и даже как будто постаревшая за те две недели, что он ее не видел.

— Теперь расскажите мне и о похоронах, — сказал Вилковский.

— Яков Моисеевич умер ночью, как я вам уже говорила, — вполголоса начала она свой рассказ, — а утром мы позвонили в Литфонд и связались с человеком, который там занимается подобными делами. Он сказал: "Хорошо, все сделаем". Но

на другой день, когда я снова позвонила ему, он говорил со мной уже совсем другим тоном, не скрывая раздражения и досады: "Извините, мы не знали, что Штернберг просился в Израиль и был исключен из Союза писателей... Так как мы успели все заказать, все останется по-старому, только вам придется заплатить за все самим. Литфонд уже не может отпустить на эти похороны ни одного рубля". Когда я стала выяснять, сколько нам придется платить, он вдруг предъявил мне счет и за венок от Союза писателей. "Нам он не нужен!" — сказала я. "Да, разумеется, но поскольку он уже заказан..." — "Но и мы платить не будем!" — сказала я и повесила трубку... Не было, конечно, никакого траурного объявления, но в крематорий все же собралось человек шестьдесят. Все были опечалены, а еще больше напуганы и жались к стенам, каждый боялся, что его участие будет замечено. Никто не выступил, и Яков Моисеевич ушел под шторку, не сопровождаемый ни единым добрым словом. Мы пытались кое-кого пригласить к себе после похорон, как бы на поминки, надеясь, что хоть дома кто-нибудь скажет прощальное слово. Однако все отказались. Всех мучил страх. Одни боялись, что их больше не будут печатать в "Советиш гэймланд", другие, что это может повредить им в Союзе писателей. Секретарь редакции "Советиш геймланд" сказал, что он не пропустит никакого траурного сообщения: "Дать объявление о смерти предателя, да еще с портретом? Ни за что!". Потом все же смекнули, что не давать извещения тоже нельзя, ведь журнал читают за границей. И они решили напечатать три строчки, разумеется, без портрета. Как ни странно, хотя не было объявлений, в Кишиневе все же узнали, и уже в день похорон мы получили оттуда телеграммы соболезнования от незнакомых нам людей; пришли телеграммы и из Черновиц...

Неужели будущее незримо присутствует в прошлом, а все концы уже содержатся в началах?

Вскоре после смерти Якова Штернберга умерла и Оттилия Григорьевна, пережив мужа на восемнадцать дней. Всему конец?

Однако история Якова Штернберга и на этом еще не закончилась. Ведь осталась папка, в которую он складывал свои последние стихи. Что с ней будет? Удастся ли ее переправить тем, кому он ее завещал? Вилковский в этом сомневался. Он хорошо знал, сколько людей бдят днем и ночью, ощупывают негнушимися пальцами, проглядывают жесткими глазами каждый листик бумаги, каждую записную книжку, вывозимую за границу. Не дай Бог, если они обнаружат листочки Штернберга, исписанные еврейскими письменами справа налево... А слева направо латинскими или русскими буквами — можно? Нет, все равно — нельзя.

Осталась еще и горсть пепла... Встретив однажды сына и невестку жены Штернберга, Вилковский узнал, что они надеются переслать его прах на захоронение в Израиль, может, и удастся.

...А конец истории Александра Владимировича явился как бы началом. Именно тогда Вилковский понял, почему эмиграция в Израиль названа "алия" — "восхождение". Но как следовало назвать эмиграцию тех советских евреев, которые по вызову из Израиля уезжали в Соединенные Штаты, в Канаду, в Западную Германию?

Еврейская благотворительная организация хлопотала для московского поэта визу в Соединенные Штаты, где его тоже взяла под свою опеку еврейская община одного старого американского города, после чего он немедленно приступил к писанию русских стихов и полемических статей в русской эмигрантской печати, не понимая, что и в русской эмиграции он останется евреем, невольным собратом других, очень далеких от интел-

лектуальных проблем советских евреев, тоже не пожелавших ехать в Израиль и к тому же неожиданно обнаруживших тоску не только по России, но и по строю жизни, от которого они бежали. Ужас охватил души, помрачил рассудок людей, понявших, что кончилось их не очень-то комфортное, но привычное, рутинное, бездумное существование, когда, несмотря на все неприятности пятого пункта, они все же жили, как все. Оказалось, что они вывезли за границу не только самих себя, но и привычку ожидать решения личных проблем от организаций и инстанций, хотя в то же время не переносили слова "коллектив", или не дай Бог — "киббуц"⁷²; идиосинкразию вызывал у них даже красный цвет профсоюзной книжки.

К рассказам, слухам, радиопередачам, газетным статьям о "подавантах" и "отказниках", которых не выпускали в Израиль, очень скоро прибавилась новая серия: приключения тех, кого выпустили, кто уехал в новые места, очень далекие от Израйля.

Вот краткая история одного эмигранта, составленная по письмам и телефонным звонкам из Вены, Рима и Лос-Анджелеса.

Так как родился он позднее тех лет, когда были в моде имена, образованные из первых букв великих революционных имен и событий, например, Вил (Владимир Ильич Ленин) или Мэлор (Маркс-Энгельс-Ленин-Октябрьская революция), и в моду вдруг вошли старорусские и даже аристократические имена, его называли Святослав. Чем не имя для внука раввина из Белой Церкви?

Прибыв в Рим, Святослав заявил чиновнику благотворительного фонда, что не может ехать в Израиль, потому что он христианин. Интеллигентный чиновник мягко заметил: "Где же на земле более подходящее место для христианина, чем на родине Христа?". Святослав не нашелся, что от-

ветить, и стал заверять, что в Израиле у него нет родственников, а в США есть.

В Израиле у него было ни много ни мало — сорок три родственника разных степеней. Они собрались на семейный совет и, выяснив, что как раз в США никто из этой многочисленной семьи не живет, позвонили Святославу в Рим и просили не позорить своих кровных и приехать в Израиль. Он ответил, что насчет родственников в США он, конечно, наврал, но в Израиль все же не поедет. Долго корежилась, искал причину своего решения и, наконец, нашел ее: в израильской газете была напечатана статья, иронически отзывающаяся об одном московском песеннике, который по вызову из Израиля отправился на Елисейские Поля. Родственники сказали Святославу, что автор этой статьи пока еще не диктатор в Израиле. И почему этот автор обязан восхищаться евреем, который на вопрос о причинах, побудивших его креститься, сослался на пример Эйнштейна, тоже будто бы принявшего крещение, — ответ, рассмешивший весь крещеный и некрещеный мир?

Но вернемся к Святославу. Он уехал в Штаты, где ему пришлось отказаться от интеллектуальной профессии и стать сначала разнорабочим, а потом агентом по продаже или страхованию недвижимости, причем оказалось, что это занятие соответствует его характеру, а зарабатывает он, конечно, больше, чем мог бы заработать в Израиле. Другие Святославы, Игоря, Глебы, Рюрики, получив вызов из Израиля, разъехались по другим странам, кое-кому из них удалось осесть в Западной Германии и Бельгии, Канаде и даже в Австралии. Были среди них предприниматели, которые открыли мастерские, магазины, ночные клубы с изящными артистическими названиями: "Скрипач на крыше", "13 стульев", кафе и рестораны "Тбилиси", "Кавказ", в которых русско-грузинские блюда

подаются под русско-грузинскую музыку. Были и блатмейстеры, стяжатели, самозабвенно отдавшиеся в "обществе потребления" науке "доставания" жизненных благ, которую они до тонкостей постигли на своей предыдущей родине. Именно предыдущей, потому что им самим неизвестно, где будет следующая. Были и другие типы, группы, явления — типичные порождения еще никем не исследованного по-настоящему нового мира.

Из письма активиста за репатриацию в Израиль:

"...В Риме и Вене сидят интеллигенты, крайне нужные здесь, в Израиле, и пишут нам меланхолические письма о том, как они жалеют, что мы разошлись, и как им невыносимо жить среди рвачей, собравшихся в Остии, среди всей этой людской массы, среди сброда, о котором хочется сказать жаргоном сталинских времен: "безродные космополиты". Что это так, я сам могу подтвердить — сам видел своими глазами. Но что они — высоколобые, благородные и такие свободолюбивые — делают среди этой массы, я понять не могу. Люди, говорившие еще недавно, что борются за свободу, теперь борются за материальные выгоды, подсчитывают, сравнивают, где и какая община, какой фонд дает больше эмигрантам, почему в Бруклине дома, намного ли они дешевле, чем в Лос-Анджелесе. И рассуждения о свободе выбора переходят в заботу о свободе выбора пищи повкусней. И уже объявились желудки, затосковавшие по настоящему русскому борщу и украинским вареникам".

Но, может быть, все это намного сложнее...

На Западе никто не мог понять: почему одни советские евреи устраивают демонстрации, голодовки, садятся в тюрьму, добиваясь права уехать в Израиль, а другие, оказавшись за рубежом, и слышать о нем не хотят, в то время, как третьи

уже жалеют, что они вообще выехали. Как постичь душу беглецов? Неужели опять повторяется то, что было во времена Моисея: "...и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом?"

Вилковский понимал, как трудно во всем разобратся. Ведь все происходило одновременно и как будто с одним и тем же народом. Похоже было на то, что и в самом Израиле ждут чего-то особенного от русских евреев. Израиль ждал от них именно того, чего весь мир ждал от самого Израиля — выдающихся моральных и гражданских добродетелей. Принципиальные демократы никогда ведь не требовали от мощных государств возвращения территорий, отошедших к ним в результате войны, но не могли примириться с тем, что Израиль не возвращает Хусейну или Арафату Восточный Иерусалим и Стену, у которой выплакали глаза столько евреев. Почему Моше Даян всего-навсего генерал, а не новый Спиноза? Израиль должен быть лучше всех государств мира... А уж бывшие советские евреи должны быть лучше всех остальных евреев!

Вилковский был крайне подавлен переплетением вопросов, проблем, загадок бурной и противоречивой истории современного мира с печальными поворотами еврейской судьбы. Но до полного осмысления того, что такое новая алия из России, и всех ее последствий было еще очень далеко.

...Прощальный вечер у Александра Владимировича и Нины ничем особенным не отличался, но за черными окнами в темноте теперь уже блеснул снег, а из маленькой квартиры на улице Народного ополчения вывезли все вещи. Без мебели комнаты казались еще меньше, обнажились старые пятна на зеленоватых обоях и трещины на полу, по которому были теперь разбросаны подушечки; на них и сидели вместо стульев все те же

странные с виду люди, уже совсем не казавшиеся Вилковскому странными. Еврейские интеллектуалы с русыми бородками и блестящими глазами, очень похожие на русских народников прошлого века. Иссиня-черные и красно-рыжие кандидаты наук с пиратскими бакенбардами и нестриженными лохмами. Доктор наук — маленький, худой, с мефистофельской бородкой клинышком, человек очень известный, поскольку он уже четыре года вел борьбу с анонимными инстанциями и органами, не желающими его выпускать из страны. Яркая блондинка русско-польского типа, с распущенными волосами. Некто высокий, чернородый, в очках, разгуливал по комнатам без пиджака и, заложив пальцы за свои малиновые подтяжки, рассказывал еще один вариант всем знакомой истории, как он на днях подал, и как его немедленно проработали в институте на профсоюзном собрании, и как те самые коллеги, что в устных разговорах его вполне одобряли, с трибуны произносили полагающиеся по такому случаю казенные слова... За окнами была зима, по календарю уже конец декабря, а в выпотрошенных и выгладевших теперь почти игрушечными комнатах квартиры Александра Владимировича было все то, что Вилковский уже видел, пережил осенью, но и еще что-то новое, личное: чувство утраты, как будто в этот раз уезжал его давний и близкий друг, хотя знакомство с Александром Владимировичем и Ниной продолжалось совсем недолго. С этим новым чувством он поехал провожать их на аэродром.

Самолет на Вену улетал в десятом часу утра, а Вилковский выехал в Шереметьево в семь. Было еще совсем темно, и навстречу, блестя фарами, неслись другие такси и автобусы, на тротуарах чернели фигуры прохожих, торопившихся к станциям метро. В машине, кроме Вилковского, си-

дели еще три человека, живущие, как и он сам, в кооперативных домах у метро "Аэропорт", в районе, который многие литераторы иронически называли писательской резервацией — здесь жило не менее шестисот членов Союза писателей и еще столько же членов Союза кинематографистов, художников. Томимые грустью предстоящей разлуки, все сидевшие в машине молчали, рассеянно глядя на бесконечные ряды фонарей, разноцветные огни светофоров и другие световые сигналы, установленные на перекрестках и вдоль Ленинградского проспекта, незаметно переходящего в Ленинградское шоссе, по бокам которого стояли все те же городские дома-близнецы, белые многоэтажные коробки с черными окнами, в них то здесь, то там неожиданно загорался свет — по часам утро наступило давно, однако ночная темнота еще не рассеялась. Ветер уже доносил гул реактивных моторов, их прерывистый захлебывающийся рев, волнуемый чувством мощи и скорости воздушного полета. Однако не было видно ни самолетов, ни каких-либо других признаков аэродрома, такси неслось вдоль бесконечных построек и каменных заборов, летное поле было где-то там, за этими заборами и постройками.

В просторном стеклянном зале ожидания аэропорта царила сонная и совсем не подходящая для подобных мест атмосфера: хотя поминутно зажигались табло с данными рейсов во все части света, пассажиров было очень мало, носильщики вяло катили по залу две-три тележки с багажом; здесь отчетливо проглядывалось, сколь узки воздушные коридоры, ведущие из Москвы в другие столицы мира, и что движение в них в сущности одностороннее. Это ощущалось и в том, как прочно отгорожен зал ожидания от летного поля множеством запретных помещений, глухих перегородок, барьеров. То что происходило там, в завет-

ном пространстве, откуда начинались полеты, было недоступно даже взгляду людей, не имеющих заграничного паспорта, а обладатели паспортов, прежде чем переступить черту, ведущую туда, должны были окончательно проститься с провожающими и всем тем, что происходило здесь, стряхнуть с себя прах этого мира. Все обставлено так, как будто тут и впрямь происходит переход в некий неземной, нездешний мир, подумал Вилковский, присматриваясь, как всегда, с удивлением к уже не раз виденным картинам и приметам московского образа жизни, которых многие другие просто не замечали.

Они приехали в Шереметьево слишком рано, Александра Владимировича там еще не было. Зато по залу ожидания уже слонялись люди, в которых без труда можно было узнать "подавантов" и "отказников"... Но вот наконец появились и отъезжающие. Их сразу же окружили, все торопились пожать им руку, и всякий ждал своей очереди. Александр Владимирович в своей желтой куртке, без шапки, держался, как всегда, спокойно, сдержанно и тихо разговаривал то с одним, то с другим из провожающих. Многие брали его под руку и отводили в сторону, у каждого были свои просьбы, свои пожелания, многие, по-видимому, надеялись на новую встречу уже "там". Нина тоже с трудом пробиралась сквозь толпу. На ней были черные брюки, легкое пальто, на плече желтая дорожная сумка. Женщины обнимали ее, целовали, а потом отворачивались с глазами, полными слез. Старый грузный человек с коротко стриженными седыми волосами, сидевший на одной из скамеек, не отрываясь, следил за ней глазами, полными тоски. Это ее отец, сказал кто-то из провожающих, а в это время старик, потеряв из виду свою дочь из-за окружившей ее толпы, уронил голову на грудь, потом достал платочек и

приложил его к глазам... Как старо и неизбежно все это, думал Вилковский. Но стоило ему прислушаться к разговорам, которые велись в зале, как он понял, что и в прощании этих людей есть печальная новизна. "Отказники", уже не раз провожавшие своих более счастливых друзей и родственников, говорили о таможене, последнем круге унижений, последней плате за право на отъезд. Рассказывали нелепые и невероятные истории о конфискации детского питания и даже лекарств, остро необходимых старым и больным людям. И как отбирают обручальные кольца, установив "на глаз", что они стоят больше, чем разрешенные к вывозу двести пятьдесят рублей. Детские рисунки приравниваются к контрабанде, если нет справки, что они не являются произведениями искусства. И детские скрипки, и многое другое. На каждую мельхиоровую вилку нужна справка, что она, вилка, не представляет художественной ценности и разрешена к вывозу. А когда до отлета остаются считанные минуты и люди идут на посадку, им устраивают последнюю ловушку и отбирают у них последнюю внезапно обнаруженную "контрабанду", иногда еще требуют уплатить за нее штраф — те девяносто рублей, что были обменены перед выездом на доллары. "Давайте доллары, иначе не полетите". Что делать человеку, который стоит в двадцати шагах от самолета? В эту минуту он готов отдать не только обручальное кольцо, но и последнюю рубашку. Что происходит в это время под его черепной коробкой, куда таможенники пока еще не научились совать свои руки, их, конечно, не интересует. Так выглядит прощание с Россией...

Гуляя по залу, Вилковский вдруг обратил внимание на странную группу: два молодых человека в темных пальто и темных шляпах с короткими полями и неприметная одеждой и лицом девушка

стояли в ряд в середине зала и глядели на проходящих мимо людей настороженными глазами. Хотя один из этой группы — толстый, круглолицый — держал в руках портфель, как бы приобщавший его к пассажирам, ожидающим посадки на самолет, в позе всех троих было что-то до того неестественное, их манера разговаривать между собой была до того фальшивая, что Вилковский сразу же понял: да, это "они". Александр Владимирович тоже подтвердил, что это его старые знакомые, так сказать, персонально к нему представленная опергруппа, не раз ходившая за ним по пятам в Москве. Зачем они явились сюда в его последнее московское утро? Попрощаться? Убедиться, что он и в самом деле сел в самолет и тот благополучно поднялся в воздух? Еще одна загадка компетентных органов, в компетентности которых можно сильно сомневаться.

Вилковский бродил теперь по залу один, уже не пытаясь больше подойти к отъезжающим, и вспоминал свое первое знакомство с Александром Владимировичем, все то, что поразило его, когда он впервые пришел к нему на квартиру и попал в мир московской алии, в мир, новизна которого заключалась отнюдь не только в решении этих людей уехать в Израиль. Вдруг он остановился и прислушался: ему показалось, что в зале внезапно наступила тишина. Он увидел, что и другие к чему-то прислушиваются. По радио передавали, что началась регистрация пассажиров, улетающих в Вену. Конец... Он поискал глазами Александра Владимировича и увидел его в середине тесной толпы, медленно направляющейся ко входу в таможенный зал. В нескольких шагах от него шла Нина под руку со своим отцом. Вилковский не стал подходить к ним, понимая, что тут есть люди, имеющие больше права, чем он сам, быть рядом с отъезжающими в последнюю минуту, видеть

их последние улыбки и слезы, услышать их последние слова. И он стал следить за прощанием издалека.

Толпа провожающих облепила вход в таможенный зал, дальше никто не мог ступить, потому что за этим первым барьером уже начинался другой мир. К Вилковскому подошел один из его друзей и сказал:

— Мы их еще увидим. После регистрации и досмотра ручного багажа они пройдут на посадку через галерею второго этажа, мимо вон тех окон. Мы договорились: они там останутся, и мы помашем им в последний раз...

И опять потекло томительное ожидание. Все глаза были устремлены вверх, к окнам таинственного коридора, но никто там не появлялся. Глядя вместе со всеми на эти окна и понимая, что есть, наверное, и другие коридоры и переходы в другой мир, Вилковский дал волю тем мыслям, которые занимали его когда-то больше всего: откуда все это берется? Какая все-таки наивность думать, что можно навсегда огородить одну часть земли от остального мира и тем уберечь ее от движения времени, от будущего, от перемен! Замкнутое пространство не может не вызывать у самых сильных и одаренных людей горячего, беспорядочного стремления выйти из него, освободиться. Теснящее и давящее чувство замкнутости и окостенелости, вероятно, сыграло не последнюю роль в духовном развитии Александра Владимировича. И вот, он уже по ту сторону этих нелепых перегородок и барьеров. Значит, не достигают они своей цели, несмотря на вложенный в них железобетон?

Все эти мысли уже не имели для Вилковского прежнего значения, так как он сам, хотя еще и находился по эту сторону барьеров, внутренне от них уже освободился. Думая о тех, кого он провожал в новую жизнь, он верил, что она началась

и для него самого, хотя внешние условия пока не изменились, и он не мог знать, как и когда они изменятся. Что-то новое напрашивалось уже теперь, он не знал, удастся ли, но хотелось поведать другим о своем освобождении, своем пути возврата... Да, с этого надо будет начинать. В моей судьбе, несмотря на ее особенности, есть наглядность, в ней просвечивает закономерность общей судьбы русских советских евреев. Я переживаю неизбежный момент отрезвления после страстного увлечения мечтой о лучшем строе жизни, после пренебрежения своим еврейством и общей исторической судьбой евреев ради идеи освобождения всего человечества средствами, противоположными цели, что, конечно, привело к тому, что я сам стал жертвой этих средств. Но все, что было со мной, не пропало даром, мои сегодняшние мысли и чувства как раз и выросли из этих ошибок, точно так же, как Александр Владимирович и все эти провожающие его люди могли прийти сюда только после целого полувека иллюзий и неоправдавшихся надежд. Конечно, судьба евреев России остается запутанной и сложной, вся пыль еще не осела, туман еще не рассеялся, будут еще колебания, отпадения, отречения, прежде чем начнется настоящий рост и неудержимое восхождение...

XVI

Когда Вилковский снова посмотрел на часы, они показывали ровно двенадцать. И тут он услышал голос подростка в синем берете и курточке, который весь вечер молчал. Вилковский о нем забыл. Теперь он увидел, что этот мальчик стоит у

окна и разговаривает с Рафаилом и Леней. Вскоре к ним присоединился и Лева.

— Вот это Миша, — сказал ему Рафаил. — Он ученик десятого класса сорок девятой школы.

— Между Петровкой и улицей Пушкина? — спросил Лева.

— Да, — сказал Миша.

— Я ее знаю. Английская спецшкола?

— Да, — подтвердил Миша.

— А как ты сюда попал? Ты был в синагоге?

— Да. Нас было двое из одного класса. Милиционеры стали тащить моего товарища к автобусу. Я заступился, и они затащили меня.

— Надо ему помочь, — сказал Рафаил. — У него могут быть неприятности в школе. Ему только шестнадцать лет.

— Прекрасно, — сказал Лева. — У него еще все впереди.

— Что?

— Еврейские неприятности.

— Кое-что я уже испытал, — сказал Миша тихим и печальным голосом. — Я вас слушал весь вечер... И думал... Да... Грустно...

— Что грустно?

— Все, — сказал Миша.

— В школе тебе уже дали почувствовать, что ты еврей?

— Еще как!

Ну что ж, подумал Вилковский, у шестнадцатилетнего еврея тоже есть что рассказать. Значит, так это и будет продолжаться всю ночь.

— В моем классе трое евреев, — продолжал Миша, — а тех человек десять.

— Кого тех?

— Тех, кто нас не любит.

— А что они делают?

— Норовят нас подстеречь и избить. Конечно, поодиночке, чтобы не получить сдачи.

— А что они говорят? — спросил Леня.
— Говорят: "Мало вас Гитлер вешал!".
— Как мои вертухаи из "Матросской тишины",
— сказал Лева.

— Дай ему рассказать, — сказал Леня. — Что еще?

— Они говорят: "Всех вас надо перевешать!". У них, кажется, есть тайное общество.

— Основанное на идее: "Бей жидов"?

— Не только это. Еще и на культе Сталина.

— Они же родились после смерти Сталина.

— Опять все сначала? — сказал Рафаил. — Мы это уже проходили сегодня.

— Стойте, стойте, — сказал Леня. — Я хочу знать: в школе опять изучают Сталина?

— Нет, — сказал Миша. — Только в истории отечественной войны есть о нем один абзац. Но они слышали от родителей. У главного заводилы отец какой-то дипломат. Это он, по-видимому... Нет, это точно... Да... Он объяснил сыну, что при Сталине все было хорошо.

— А остальные? Их родители плохо живут?

— Нет. Как раз эти хорошо живут. Родители все с машинами. Но они думают, что при Сталине был порядок.

— Замечательно! — сказал Рафаил.

— Что ты тут находишь замечательного? — спросил Леня.

— Слово, — сказал Рафаил. — Порядок. Ведь принято думать, что люди трусливые, распущенные, эгоисты, оберегающие себя от обязанностей, не любят дисциплинированного общества, поскольку оно обуздывает их инстинкты. Оказалось — ошибка. Как раз так называемый железный порядок благоприятствует разнузданным себялюбцам. Кто испытывает потребность ездить на других, тот и мечтает о "порядке", правильно на-

десять, что окажется среди тех, кто ездит, а не на ком ездят...

— Дайте Мише рассказать до конца, — сказал Ленья. — Он не понимает вашу философию. Выясним сначала все факты. Какую позицию занимает, например, комсомол?

— Комсомол? — переспросил Миша, и на его хмуром лице появилась недоверчивая улыбка. — Комсомол — это как пионерская организация, в нее входят все. Все до единого комсомольцы, и нет ни одного не комсомольца.

— А учителя? — не унимался Ленья. — Они не знают, что происходит в классе?

— Знают, но стараются не замечать.

— Похоже, — сказал Лева. — Очень похоже на мой школьный опыт. В общем, все повторяется.

— Нет, — сказал Рафаил. — В старое время те, кто смотрел дальше своего носа, были заражены другими мыслями и настроениями. Вот, Марк Давыдович нам кое-что о них рассказывал. Они верили в высокие идеи и мечтали о социализме по Ленину, а теперь появились мальчики, желающие поправить социализм по Гитлеру.

— Это ужасно! — воскликнул Ленья.

— Что изменится от восклицаний? Дело ведь не только в них, в дурных мальчиках. Каждое поколение имеет своих дурных мальчиков, но в разное время они ориентируются на разные идеи...

Рафаил замолк, и в камере стало тихо. Похоже было, что разговор иссяк. Лева встал, подошел к двери и прислушался к тому, что делается в коридоре. Но и в коридоре было тихо. Вдруг слышался голос Вила:

— Хотите уделить мне еще две минуты?

— Пожалуй, уже поздно, — сказал Рафаил. — Пора подумать и о сне.

— Пожалуйста, — продолжал Вил. — Я отниму у вас не больше двух минут. Только брошу в ко-

пилку, которую вы сами придумали, еще одну монету.

— Ты уже бросал...

— То была моя монета, и она не произвела на вас впечатления. А теперь я хочу бросить туда монету моего сына.

— А сколько ему лет?

— Девять. Но у него уже есть своя точка зрения на еврейский вопрос и на все то, о чем мы тут рассуждали весь вечер.

— Какая? — спросил Рафаил, улыбаясь.

— Очень простая. Вот и отец знает. Собственно, мой сын ему-то первому ее и изложил.

Вилковский взглянул на Марка Давыдовича. Старик сидел в прежней позе, на лице его блуждала добрая и несколько смущенная улыбка.

— Так вот, — продолжал Вил, — мой сын как-то сказал деду: "Почему говорят, что евреев не любят? Вот я еврей, а мама и папа очень меня любят. И ты, дед, меня любишь, правда?" — "Да, — сказал дед. — Правда". Вот и все. Не хватает у нас смелости сказать просто: мы евреи и хотим жить вместе в еврейской стране. Все, что я здесь выслушал, вы уж меня извините, но все это... Ну, мне просто до этого дела нет. Я знаю, что надо теперь делать, и я это намерен сделать!

Разговор на этом выдохся. Лева постучал в дверь и попросился на opravку. За ним последовали другие. После этого в камере стало совсем тихо, все молча устраивались на своих койках. Вилковский поступил, как все. Он чувствовал усталость и боль в затылке. Хотя ему и хотелось обдумать то, что услышал за этот странный вечер, он понимал, что больше всего нуждается сейчас в отдыхе. Мне нужно отдохнуть, забыться и хоть на несколько часов уйти от всего этого, сказал он себе, растягиваясь на койке.

Он не заснул и не забылся... Лежа с закрытыми

глазами на койке, на которой предварительно расстелил свой плащ, он думал о людях, с которыми познакомился сегодня в вытрезвителе. Эта встреча в столь странном месте, подумал он, похожа на сон или на необычную пьесу, которая, в сущности, лишь вторит моим давним размышлениям и воспоминаниям. Пьеса длинна, но и путь мечущегося сознания и исследования глубин совести — длинный путь.

В камере было тихо, он слышал дыхание людей, лежащих на соседних койках, и ему показалось, что Лева, его ближайший сосед, уже заснул. Пропасть отделяет меня от Левы, подумал Вилковский, от его терпения и решимости добиться своего. А я — я слишком долго был занят подведением итогов и поисками объяснений.

Вилковский лежал на койке в странном состоянии полусна-полубодрствования и видел образы из своих собственных воспоминаний, перемешанные с образами, о которых ему рассказывали другие. Он устал, мысли спутались в голове, и он в конце концов стал засыпать по-настоящему, но вскоре проснулся от странного шума, возникшего за стенами камеры. Это начался сильный дождь, но в полусне ему вдруг показалось, что он слышит треск ненастроенного телевизора. И он вспомнил телепередачу: "Пресс-конференция представителей еврейской советской общественности", которую когда-то видел и не забыл. Ему представился излучающий голубой свет экран телевизора, где бегут те самые кадры, которые он уже видел в другое время и в другом месте. За длинным столом, уставленным бутылками с минеральной водой, стаканами и пепельницами, наполненными окурками, сидели люди. Крупным планом появилось на экране красивое женское лицо с широко расставленными темными глазами, знакомое лицо, которое он тогда не узнал, не

сразу понял, что эта молодая женщина в элегантном светлом костюме и меховой шапке, глядящая в телеобъектив не с профессиональной улыбкой кинозвезды, а отчужденным и несколько даже смущенным взглядом, не кто иная, как актриса, сыгравшая роль казачки Аксиньи из кинофильма "Тихий Дон"; он не подозревал, что она еврейка. А потом весь экран заполнило отечное лицо человека с крупными морщинами и темными мешками под глазами, холодное и самоуверенное лицо чиновника высокого ранга, председательствовавшего на той пресс-конференции, который на вопрос иностранного корреспондента о случившемся накануне взрыве швейцарского самолета, летевшего в Израиль, без всякого смущения ответил, что это, вероятно, дело рук самих израильтян, желающих отвлечь внимание мировой общественности от своих преступлений против арабов.

Вилковский был крайне подавлен этим, тогда еще новым тезисом о выгоде, которую якобы получают евреи, убивая своих друзей и самих себя. Но как ни нестерпим показался ему председательнееврей, выступавшие на пресс-конференции евреи были еще нестерпимее. Среди них был преуспевающий писатель, одетый с иголки во все заграничное, его острое лицо с мелкими чертами отличалось неприятным выражением. Вилковский знал его с тех времен, когда этот карьерист обеспечил себе протекцию со стороны влиятельных антисемитов, не брезгающих помощью евреям при расправе с их соплеменниками. Был на пресс-конференции и красно-рыжий дерзкий малый, в толстых очках, пишущий стихи на языке идиш, сделавший карьеру уже после смерти Сталина. Выступая за границей, он повсюду утверждал, что советская литература на идише теперь снова процветает. Был там и академик, чьи труды состояли из цитат и комментариев к цитатам из сочинений

Корифея наук. Были и несколько действительно талантливых, знающих людей, не посмевших не явиться, чтобы не поставить под угрозу свое служебное положение и работу. С какой наигранной наивностью отвечали они на неподдельно наивные вопросы иностранных корреспондентов, которые в Москве, в непостижимой для них обстановке, напоминали скорей персонажей из легендарного города Хелмно, воздвигнутого еврейским народным фольклором как монумент глупости.

Вилковский опять открыл глаза... Неужели все это происходило во сне? Это его не удивляло — он уже давно привык к тому, что некоторые воспоминания перешли в сны... Он стал оглядываться: в камере все оставалось по-прежнему, его сокамерники тихо лежали на своих койках, казалось, что все спят. Он подумал: уже никогда не минет эта ночь, эти круги тягостных воспоминаний, эти навязчиво повторяющиеся ассоциации?

В противоположном углу камеры, там, где раньше ему померещился экран телевизора, снова зажегся какой-то неясный свет. И он снова увидел стол, пожалуй, тот же самый, накрытый красной скатертью, за которым сидели участники пресс-конференции "представителей еврейской советской общественности". Они сидели на своих местах, но рядом с ними Вилковский увидел Марка Давыдовича, Рафаила, Александра Владимировича. И это его не очень удивило; вот осуществилось, подумал он, — за столом сидят теперь те и другие... Это была галлюцинация? Или игра воображения, все тот же театр для самого себя? Стол и люди, которых он видел, как бы находились теперь на возвышении, а он смотрел на них, как зритель в театре с первых кресел партера. Как и в театре, свет падал на лица и фигуры действующих лиц, которые появлялись и исчезали по прихоти невидимого постановщика.

В глубине того, что напоминало сценическую площадку, стояли две скамьи, на которых тоже сидели люди, не то запасные участники спектакля, не то зрители. Услышав, как они комментируют разговоры, ведущиеся за столом, он подумал: это хор? На скамьях сидели две категории людей: антисемиты, гордящиеся своей ненавистью к евреям, и полукровки, тщательно скрывающие, что в их роду были евреи. Он увидел высокого, тучного человека с тупым мучнистым лицом, издательского работника, заявившего однажды на редакционном совещании, обсуждавшем повесть Вилковского, что не пропустит ее, пока героиней останется еврейка; если автор переделает ее на польку, чешку, румынку, кого угодно, но только не еврейку, тогда повесть можно будет напечатать... Был на скамье другой издательский работник, внешне полная противоположность первому — лощеный интеллигент, кандидат или доктор исторических наук, который, став заведующим одной крупной редакции, без лишних слов и публичных деклараций перестал принимать туда сочинения евреев. И был один руководящий деятель, о котором говорили, будто он публично заявлял, что закончит "еврейский период в советской журналистике", но вскоре закончилось его собственное участие в руководстве, и он ушел в песок, как и множество других деятелей, переставших существовать в тот самый день, когда их снимали с должности и отбирали у них печать... А среди полукровок выделялся болезненно-толстый человек, не лишенный ума и таланта, но подчинивший все свои способности, свою волю одной цели: выжать побольше поблажек и привилегий. Ради этого он принес в жертву, убил в себе все остальные чувства и желания, а заодно и совесть. На его круглом и гладком, как у упитанного младенца, лице не осталось и тени личности, страсти, только сонное выра-

жение существа, переваривающего сытную пищу. Это он однажды с иронической усмешкой сказал в присутствии Вилковского: "Знаете, я еще на заре своей юности дал вместе с одним из своих друзей на Воробьевых горах клятву никогда не бороться с несправедливостью".

В луче прожектора Марк Давыдович встал со своего места, и Вилковский услышал его голос.

— Во всем мире теперь в моде вести диалог между представителями разных точек зрения, мировоззрений: атеисты ведут диалог с верующими, сторонники ограничения рождаемости с принципиальными противниками этой идеи, ревнители технического прогресса с теми, кто утверждает, что техника губит природу, и так далее. Почему бы нам не начать диалог между евреями? Мы, здесь собравшиеся, люди очень разные, но все мы евреи, точнее, русские советские евреи...

— Я не еврей! — перебил Марка Давыдовича кто-то из сидевших за столом. Вилковский узнал директора поликлиники, человека с еврейской фамилией и довольно типичной еврейской внешностью.

— Нет? А кто вы?

— По паспорту я еврей — это верно. Но я никогда евреем себя не чувствовал, еврейского языка и обычаев не знаю. Прошу меня уволить.

Антисемиты из хора заволновались:

— Евреи, евреи! Евреи меняют свои фамилии. Евреи скрывают свои анкетные данные. Евреи маскируются под неевреев. И все же можно безошибочно узнать еврея. От него исходит особый запах. Он выделяет особый пот. Это не наш пот. Еврейский дух — верх антирусского духа. Под какой бы маской еврей ни скрывался, еврей остается евреем.

— Я протестую! Я не желаю быть евреем.

В луче света Вилковский увидел Леву.

— Меня уже в детстве били за то, что я еврей. Разве я хотел, чтобы меня били и преследовали песенкой: "Жид, жидок, побежал наутек, палочкой прибитый, чтоб не был сердитый"?

— Это символическая песенка.

— Я реалист и не понимаю символов.

— А в реальной жизни вам никогда не случилось видеть обиженных евреев?

— Стучалось.

— Что вы при этом чувствовали?

— Удовлетворение, что не принадлежу к их числу.

— Ну, хорошо, вы отрицаете чувства. Но закон-то вы признаете? Парламент Израиля постановил: еврей тот, кто рожден еврейкой.

— Законы Израиля меня тоже не касаются.

— Но и по советским законам вы еврей. Вы сами сказали, что записаны евреем.

— Ну и пусть в паспорте будет эта отметка! Пусть меня считают евреем. Вы хотите, чтобы я тоже считал себя евреем, помнил всегда, что я еврей? Так нет же! Не признаю я этого. Я не еврей. Я и не русский. Я просто советский.

— Здесь есть еще кто-нибудь, кто отрицает, что он еврей?

— Прошу слова.

Вилковский увидел молодого человека с утонченно-интеллигентными чертами лица, которого он никогда прежде не видел, но слова его показались Вилковскому знакомыми; может быть, он их где-то читал? Молодой человек сказал:

— По паспорту я русский. И фамилия у меня типично русская. Все же — я еврей.

— Как вы это докажете?

— Мой отец был евреем. Впрочем, я отца почти не знал, он давно умер. Но то, что я еврей, не подлежит сомнению. Уже в девятнадцать лет меня посадили за чтение стихов у памятника Маяков-

скому. Выйдя из заключения, я окончательно понял, что не могу здесь оставаться.

— А что вам мешает?

— Многое. Ну, хотя бы утверждения.

— Какие утверждения?

— Безоговорочные. Куда ни посмотришь, даже на крышах домов — утверждения. Например: "Коммунизм — это молодость мира!" В детских песенках и в газетных передовицах, в радиопередачах, философских трактатах, кинофильмах — всюду утверждения. Уже в детском саду мне внушали: "А скажи нам, детка-семилетка, кто нам метро построил, кто нам солнце дал?". Известно, кто был тогда создателем солнца. Теперь в ходу другие утверждения. Например: "У нас нет и не может быть еврейского вопроса". Все это не для меня. И я решил уехать в Израиль. Нужны ли еще доказательства, что я еврей?

— Я тоже прошу слова.

Вилковский узнал писателя с лисьей физиономией, который выступал и на официальной пресс-конференции...

— Я не отрицаю, что я еврей, но не могу понять, почему я здесь, с вами, за одним столом. То, что я еврей — случайность. Важнее то, что я коммунист, член партии с тридцать седьмого года. Здесь есть еще члены партии?

Голоса из хора:

— Есть, есть... Мы члены партии.

— Привет вам! А вы — член партии?

— Видите ли, я вступил в нее намного раньше вас. Но потом я провел почти двадцать лет в тюрьмах и лагерях, так что...

— Так что совершенно ясно: между нами нет ничего общего. Зачем же мы собрались здесь все вместе?

— А вы предпочитаете подождать, пока нас опять не соберут насильно?

— Это как же? Я что-то не припоминаю, чтобы мы уже где-то собирались.

— У вас такая короткая память? Вам шестьдесят, и вы не слышали, скажем, о Биркенау?

— Ну, знаете, такое напоминание по крайней мере неуместно. Во-первых, это уже далекое прошлое...

— Прошлое евреев только и делает, что повторяется. Вы же не отрицаете, что вы еврей?

— Нет. Я уже сказал — не отрицаю. Но по своему положению, по своим взглядам мы с вами люди совершенно разные.

— А вы думаете, что евреи, которых свозили в Освенцим-Биркенау, не были разными? Их даже везли туда из разных стран.

— Будет вам! Мы живем в Советском Союзе.

— Что ж, могу напомнить вам другое географическое название: Воркута! Его-то вы уж наверное слышали?

— Я вам сказал — будет! Сколько можно говорить о лагерях?

— Ровно столько, пока не вспомнится каждая загубленная жизнь и каждая слеза. Но я хочу сейчас рассказать только один маленький эпизод: как собирался миньян в Воркуте.

— А что это такое?

— Еврей должен молиться в присутствии других евреев, их должно быть не меньше десяти — это и называется "миньян".

— Я неверующий, и ваш "миньян" тоже меня не интересует.

— Не в нем дело. Выслушайте меня. В Воркутинском лагере был один молодой человек, по имени Моисей, свято соблюдавший все еврейские обряды. Из-за набожности он и попал в лагерь. Он был родом из Черновиц и мечтал учиться в еврейской духовной семинарии — иешиве. Поняв, что у нас это невозможно, он решил бежать в

Румынию, договорился с контрабандистами, те перевезли его через границу и даже поместили в гостиницу одного маленького румынского городка. Подождали, пока соберутся еще несколько беглецов, после чего за ними приехал автобус и отвез всех обратно, прямехонько в областное управление НКВД Черновицкой области. Там тоже подождали — теперь уже несколько месяцев, — пока Моисею не исполнилось восемнадцать лет, после чего его осудили на полную катушку — на двадцать пять лет. Так он и оказался у нас в лагере. Он и здесь остался верен себе, молился каждый день, по субботам не выходил на работу, за что его сажали в карцер, но уважали. И вот ему частенько нужен был миньян, то есть десять евреев, в присутствии которых он мог бы совершать свои молитвы. И он их находил. Евреи из лагеря чертыхались, но не смели ему отказать. Я помню, как мы стояли вокруг него в лагерном бараке, десять случайных евреев-заклученных, а Моисей молился. Был среди нас один бывший заместитель министра и один профессор философии, один врач, двое рабочих, один старый большевик, один бывший кадровый военный, один редактор газеты, в свое время не менее известный, чем вы, не в обиду вам будь сказано. Как видите, люди очень разные, что не помешало им оказаться в одном миньяне, который собирал тот единственный из нас, кто не забывал, что он еврей, — юный Моисей.

— Ваша история не имеет отношения к нынешнему времени.

— Она имеет отношение ко всем временам. Рассеяние — судьба евреев. В рассеянии как раз и родилось гетто, черта оседлости, в которую насильно загоняли евреев. Почему бы нам хоть раз не собраться вместе добровольно и не обсудить свое положение за круглым столом; ведь мы все

евреи? Садитесь все, мы начинаем...

Полукровки из хора:

— Дайте и нам высказаться, все это и нас касается. Мы самые несчастные. Мы всю жизнь боимся, что откроется наша тайна — в наших жилах течет и еврейская кровь. Но мы не евреи и не находим в себе ни единой еврейской черты. Мы безусловно не евреи, даже если в наших семейных альбомах и хранится фотография деда с ермолкой на голове. Мы не евреи, но что нам делать с этой фотографией? Что нам делать с памятью о бабушке, которая пела нам еврейские песни, пекла латкес и поразила младенческую душу еврейской грустью? Мы не евреи, совсем не евреи. Нас зовут Петя и Ваня, у нас такие же руки и ноги, как у всех Петь и Вань, мы говорим по-русски не хуже, а иногда даже лучше них. Разве это не важнее, чем семитский нос и темные печальные глаза? О, этот проклятый еврейский вопрос! Нас он, конечно, не касается. Но ведь были уже сумасшедшие, которые докапывались до третьего колена и придумали Нюрнбергские законы! Слава Богу, не существует научного способа определить, в ком течет еврейская кровь. Приходится только удивляться, что некоторые евреи сами упорно называют себя евреями, вместо того чтобы забыть, слиться с другими. Россия такая огромная, такая прекрасная страна! В России каждый еврей может отправиться в Грузию и вкушать настоящий грузинский шашлык и запить его кахетинским вином! Пусть он поедет на Севан и попробует севанской форели, она вкуснее фаршированной щуки, которую он не может забыть, хотя ее уже давно не сыскать! Пусть сольется с Украиной, нет ничего на свете прекраснее этого края: "Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы; будто дамасскою белою, как снег, кисеею покрыл он гористый берег Днепра, и тень ушла еще далее

в чашу сосен”. Евреям нужно одно: быть как все, делать то, что все делают. Неужели кому-то еще хочется оставаться евреем?

Вилковский услышал иронический смех Рафаила:

— Ха!.. Весьма мудрые советы, но если все русские евреи будут говорить по-русски не хуже русских, их будут отличать по типу лица и выражению глаз... И если они станут неотличимыми по внешним признакам, их будут узнавать по фамилиям, по отчеству отцов и дедов... А если они все переменят фамилии и даже сами позабудут имена своих отцов и матерей, то евреями будут те, в ком заподозрят еврея, евреем будет каждый поэт, кто употребит неожиданную рифму, и каждый художник, кто нарисует не то, что все рисуют, каждый гражданин, кто возмутится, что очередь за огурцами движется слишком медленно или картошка на базаре стоит слишком дорого, каждый отказавшийся распить в подворотне пол-литра, но евреи будут, и горбатые, ущербные, бездарные, озлобленные смогут по-прежнему говорить: виноваты евреи!

— Вот истинно еврейское отношение к еврейскому вопросу! — воскликнул человек, в котором Вилковский узнал поэта, уехавшего по израильскому вызову в Соединенные Штаты. — Я прожил в России сорок лет. Разве у русских диссидентов, инакомыслящих меньше неприятностей, чем у евреев?

— Но вам было трудно именно потому, что вы еврей?

— Нет, не только поэтому.

— Однако вы все-таки уехали из России, как только появилась возможность. Неужели в этом не сыграло никакой роли то, что вы еврей?

— Может быть... но я все же считаю неправильным выделять евреев.

Рафаил рассмеялся:

— Один немецкий еврей, имя которого вы, вероятно, слышали — Берне, когда-то говорил: "Бесправное положение немецких евреев есть только частичный факт среди всеобщего угнетения". Ваша мысль. Нужно ли мне напоминать вам, как этот "частичный факт" перешел в тотальную беду для немецких евреев? Только для них, а не для всех угнетенных немцев.

Антисемиты из хора:

— К делу! К делу! Зачем столько рассуждений? Достаточно поговорить с евреем, чтобы понять, что он еврей. И те, кто это сами признают, и те, кто отрицают, — одинаково евреи. Тот, кто отрицает, даже еще больше еврей, чем тот, кто это признает. Смешно видеть, когда евреи хуже всех понимают, что такое еврей.

— Они отлично это знают. Мы вам сейчас скажем, что это такое.

Голос из хора:

— Не давайте ему говорить. Никогда не знаешь, что скажет еврей.

— Он может сказать правду.

— Еврей — это, во-первых, человек, который отрицает и разрушает. Евреи были разрушителями уже во времена патриархов: от Авраама до Фрейда и Эйнштейна одна линия — разрушение общепринятых понятий.

— Да, евреи разрушали идолов. Но они же их и создавали. И если Маркс воздвигнул абстрактный идол — пролетариат, то какой-нибудь Лазарь Каганович трудился в поте лица уже на вполне конкретного идола с тараканьими усами.

— Вы спорите назло — это еврейская черта. Россия была свободной страной, пока не началось нашествие евреев.

— Евреев? Кажется, в русской истории говорится о монголах и татарах?

Хор не обратил никакого внимания на эти слова. Голоса из хора продолжали страшно быстро, не слушая даже друг друга:

— Россия шла к прогрессу и свету, а теперь, из-за евреев, топчется на месте!.. — Если бы не евреи, мы уже давно бы жили в коммунизме!.. — Мы бы жили, как до семнадцатого года!.. — Мы бы полетели первыми на Луну!.. — Мы бы ели русский хлеб, а не прикупали его у торгашей — американских евреев!

Марк Давыдович:

— Я уже седьмой десяток еврей и все еще не знаю, что это такое.

Писатель с лисьей физиономией:

— Хватит! Я вас понял: у вас всех есть комплекс вины, поэтому вы все время повторяете: евреи, евреи. У меня такого комплекса нет — я коммунист и борец!

Поэт-диссидент оглянулся на говорившего и, узнав его, рассмеялся:

— Ах, это вы борец? За что же вы теперь боретесь? За новую дачу? Или за собрание сочинений?

— Не переводите идеологический спор в другую плоскость.

— А что такое идеология? Вы, клянущийся в верности марксизму-ленинизму, забыли, что он объясняет идейные позиции людей прежде всего их классовыми интересами? Какой годовой доход приносит вам то, что вы называете идеологией?

— У нас с вами разный взгляд на вещи, мы всегда стояли на разных позициях.

— Это уж точно. Вы — на трибуне, в президиуме и в кабинетах правления, где принимались все решения, а я среди так называемой членской массы, которой раз в два года разрешалось вам аплодировать. И, главное, платили нам по-разному: за пятнадцать лет я не получил за все свои работы и половины того, что вы получали за один

роман. Что и говорить — мы были на разных позициях!

— Получил, получали... Это вульгарно.

— Согласен. Но разве моя вина, что вы и идеологию, и литературу свели к одному — к кормушке! Литература призвана выразить человеческую душу, а что выражают ваши сочинения, кроме директив начальства? Ваша общественная деятельность, что это такое? Вы не настолько глупы, разве вы не знали, что "Джойнт" не шпионская организация и что профессора Вовси, Коган и Фельдман никого не убили?

— Я ошибался вместе с партией.

— Но за свои ошибки вы получали чистоганом и натурой.

Вилковский вдруг увидел, что к столу приближается еще один человек, старый, согнутый, опирающийся на палку, очень похожий на Якова Штернберга... Разве он не умер? Да, но я иногда все еще слышу его голос. Я сознаю, что он умер, но в моих воспоминаниях он такой же, каким был при жизни. Вилковский услышал тяжелое дыхание старика и его тихий, глубоко печальный голос:

— Как индусы на старости лет уходят в лес, как всякому человеку хочется в конце жизни посвятить себя тому, что ему дороже всего на свете, так и мне хочется уехать в Израиль. Почему восьмидесятилетнему старику нельзя мирно уехать туда, куда влечет душа?

Марк Давыдович:

— Погодите немного, мы поговорим и об Израиле. Мы еще не договорились по первому вопросу: кого следует считать евреем.

— И, вероятно, не договоримся. Вот человек, у которого отец и мать евреи, но он евреем себя не ощущает, он человек без нации, без духовной среды. А вот другой, который вполне мог бы считать себя русским, но он-то как раз и убежден, что он

еврей. Кого же из них признать нам подлинным евреем?

— Еврей тот, кто во всем ищет свободу. Свобода порождает трагизм. В тяге к ней — трагедия евреев.

— А как быть с евреями, которые с пафосом, горячностью и азартом сами лезут в рабство?

— В книге Исход говорится: если раб не захочет после шести лет уйти на свободу, то пусть господин приведет его к судье, поставит его к двери или косяку и проколет ему ухо шилом. Пусть все видят, что этот человек мог быть свободным, но сам этого не пожелал.

— Но что сделало его таким? Он родился с готовностью подчинения?

— В древней Иудее один мудрец сказал: человек подобен оливе, дающей масло, когда ее жмут. Чем сильнее ее жмут, тем больше она дает масла. На евреев давят сильнее, чем на других, их сильно жмут, вот они и дают больше масла — и хорошего, и горького масла. Человека создает его судьба.

— Но тогда следует оправдать каждого, даже в том случае, если его жизнь была только притворством, трусостью, приспособлением. Еврейская судьба создает евреев? Но попробуйте тогда оправдать вот этого человека — он тоже еврей.

В луче света Вилковский увидел у стола новое лицо: пухлое, круглое, светящееся жиром лицо мужчины средних лет, которого можно было бы принять за благодушного любителя пива, за колбасника, если бы не его глаза — маленькие глазки цвета лазури, с виду младенческие, но обладающие способностью быстро изменять свое выражение, хитрые кошачьи глаза человека, готового на любые поступки. Узнав этого низкорослого, пузатого, как Санчо, толстяка, Вилковский опять было удивился: ведь Лев Шейнин умер? Да, он в земле, но я его хорошо помню. Он всегда воз-

буждал мое любопытство. Он был для меня тайной, одной из мрачных тайн зловещего времени. Впрочем, не только для меня. Помню рассказ человека, который как-то побывал у него на даче и потом говорил:

— Я такого в жизни не видел — это не дача, а дворец. Там собраны ценности на миллионы. Такой мебели я не видел в Версале. Такие коллекции фарфора и хрусталя имеются только в Шенбрунне. Впрочем, его бильярд и вывезен из Вены — особый бильярд, весь стальной. А какие там висят картины! Какие магнитофоны, транзисторы! Откуда все это?

— Может быть, от Кальтенбруннера?

— Но он все время говорил, что он жертва культа, в пятьдесят втором его посадили.

— А что он делал до пятьдесят второго?

— Да, да, вы правы. В поселке, где он живет, ни у кого из дачников нет телефона, а у него их два, на каждом этаже, причем разные номера. А ведь его время как будто прошло, он уже не занимает никаких постов. Помните кинофильм о Нюрнбергском процессе? Там была сцена: советский обвинитель допрашивает Кальтенбруннера. Удивительные кадры: он, приложивший руку к скандальным кровавым делам, мечет громы и молнии против грубых и откровенных гитлеровских палачей, не догадавшихся назвать свое палачество гуманизмом! О, как страшно! Какой страшный век, не правда ли?

В луче света толстое, бабье лицо этого человека казалось озабоченным. Он стоял у стола и тревожно заглядывал в лица сидевших за ним евреев, очевидно, принимая их за некую комиссию расследования. Рафаил, который никогда его прежде не видел, спросил:

— Кто этот гражданин?

— Я литератор, драматург.

Марк Давыдович:

— Почему такая скромность? Вы прославились как следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Вышинском. Вы ведь участвовали в знаменитых публичных процессах тридцатых годов.

— Да... Но мое истинное призвание — литература.

— Мы еще поговорим о вашей литературной деятельности. Сначала расскажите нам о своей работе следователя.

— Я только подписывал заключения по особо важным делам.

— Какие дела считались особо важными?

— С тех пор прошло много времени. Я уже не все помню.

— Вы согласны признать, что важнейшим вашим делом было создать впечатление, будто абсурдные признания обвиняемых на публичных процессах, этих ни в чем не повинных, но сломленных людей, все же имеют под собой какую-то основу?

— Да.

— Не менее важным делом было и выселение семей этих несчастных из Москвы и конфискация их имущества?

— Да.

— Считалась важным делом распродажа конфискованных вещей по бросовым ценам, в закрытых магазинах, куда имели доступ лишь домохозяева тех самых людей, кто создавали и вели эти особо важные дела?

— Да, и это случалось.

— Значит, я в общих чертах правильно определил суть вашей работы как следователя по особо важным делам? Ничего не упустил?

— Упустили.

— Что?

— Приказы, указания, директивы. Прокурор сам ничего не решал. От прокурора ничего не зависело. Он даже не вел следствие, а только подписывал готовые документы. Он не несет ответственности. Он сам был пленником машины.

— Кто же, по-вашему, несет ответственность?

— Хотите по справедливости? Никто. Может быть, один Сталин. Все остальные не виноваты.

— Но кто-то же хватал людей? Кто-то их расстреливал, отправлял на Север, где они гибли от холода и дистрофии. Те, кто это делали, не виноваты? За что же им жаловали ордена, квартиры, дачи, путевки в санатории? За что им платили деньги, на которые они приобретали картины, собирали фарфор, магнитофоны?

— Свои коллекции я собирал на деньги, заработанные литературой.

— А разве в литературе вы не занимались, в сущности, тем же, чем и в прокуратуре? Разве не вы автор рассказов и пьес, в которых положительным героем выступал советский уголовник, оказывавшийся сплошь да рядом патриотом, в отличие от врагов народа, политических заключенных?

— Видите ли, такое отношение к уголовникам диктовалось свыше и считалось важным и нужным.

— Восхваление уголовников и противопоставление их политическим было тем особо важным делом, которым вы занимались в литературе?

— О господи, что вы про это знаете! Вы видели мое имя в газете в связи с процессом Зиновьева. Но вы же не видели то, что я видел. Я мог бы рассказать, как приводили в прокуратуру бесстрашных и гордых людей, как их бросали на пол, точно мешок с костями, и они механически подтверждали все обвинения и, беззвучно шевеля губами, просили лишь о пощаде для своих жен и детей... Я мог бы рассказать, как с трепетом и тоской

дождался окончания рабочего дня — а он часто кончался на рассвете, — никогда не зная, распахнут ли передо мной почтительно дверцы моего автомобиля или грубо затолкают в "черный ворон" и повезут уже не домой, а в другое место, как нечеловека... Какая усталость и опустошенность охватывали меня в те самые годы, когда со стороны казалось, что я на вершине своей карьеры! Сон меня не освежал, шашлыки по-карски из молодого барашка, доставленного на самолете для ресторана "Арагви", не утоляли голода, грузинское вино заветной марки, которое поставлялось для стола Хозяина, не приносило забытья, аплодисменты в театре в дни премьеры моих пьес не давали удовлетворения... Я боялся заводить друзей, боялся проговориться, сказать лишнее слово даже жене ночью в постели... Я мог бы рассказать, как меня послали в Минск расследовать обстоятельства таинственного убийства Михозлса, послали, видимо, те самые люди, которые организовали убийство, с единственной целью, чтобы иметь предлог впутать и меня в это кошмарное дело... О, как много я мог бы рассказать!

— Да, да, но вы же ничего этого не рассказали. Вы и теперь ни словом не обмолвились о том, как дошли до своей высокой должности, через какой отбор прошли, какие мелкие и крупные подлости совершили, прежде чем поднялись по служебной лестнице. Ведь не назначили же вас сразу на пост доверенного помощника Вышинского. Есть люди, уверяющие, что вас даже не арестовали всерьез, а взяли лишь для того, чтобы использовать как "наседку" в камерах, где содержались другие еврейские деятели.

— Клевета! Кто может это доказать?

В самом деле, доказать ничего нельзя, подумал Вилковский. Этот человек уже в земле. Осталась дача с хрусталем, фарфором, стальным бильяр-

дом, двумя телефонами, коллекцией магнитофонов и транзисторов — его хобби, — если только наследники еще не растаскали их, не разнесли по комиссионкам. Страшные показания невинных, к которым он когда-то приложил руку, возможно, тоже остались погребенными в секретных архивах, и в них тоже не найти ответа на вопрос: кто был этот человек?.. Сколько лиц, сколько судеб за этим столом! Что связывает сидящих тут друг с другом? Значит, прав тот писатель, который мне отвратителен: им незачем было собираться вместе? Не может быть диалога между евреями, прежде чем они сами, в глубине души, свободно не осознают себя евреями? Взаимное недоверие и непонимание, отчуждение и ненависть — вот что принесли они с собой сюда, за этот круглый стол...

XVII

Первое чувство Вилковского, когда он проснулся утром, было, что удивительная цепь неопишущих сновидений, начавшихся с того, как он попал в вытрезвитель, все еще продолжается.

Он стал оглядываться: это был не сон, а действительность, он все еще находился в камере. И он опять ощутил запах креозота и увидел, что и остальные задержанные у синагоги не спят, а в окно сочится серый мутный свет. По разным признакам он понял, что утро началось давно, но обитатели камеры разговаривали между собой очень тихо или совсем не разговаривали и от нечего делать смотрели в окно. У койки, на которой лежал Марк Давыдович, стоял Вил, и Вилковский услышал его горячий шепот:

— Надо потребовать у них завтрак!

— Сегодня Иом-Киппур, — сказал Марк Давидович, — добродушно улыбаясь. — Разве ты не будешь поститься?

— Я не о том говорю. Даже если никто есть не станет, мы должны требовать еду.

— Значит, ты хочешь затеять с ними спор из принципа?

— Я хочу, чтобы они не думали, что могут поступать с нами, как левой ноге захочется.

— Но ведь все равно бесполезно.

— Неважно. Я требую, потому что надо требовать. До всего остального мне дела нет.

Вскоре выяснилось, что точно так думает и Лева.

— Ты и в самом деле проголодался? — спросил его Рафаил.

— Да, — сказал Лева. — То есть нет. Но они обязаны... Вы как хотите, а я буду требовать.

Он подошел к двери и стал стучать в нее кулаком.

Когда дверь отворилась, на пороге возник невысокий коренастый лейтенант милиции.

— На opravку? — спросил он, не глядя на Леву.

— Да, — сказал Лева. — И еще: есть хотим. Когда принесете?

— Ничего не знаю, — сказал лейтенант. — Здесь вам не гостиница.

— Мы будем протестовать.

— Начнете шуметь, будете отвечать за хулиганство. Это вам не гостиница.

— Значит, можно не только без основания хватать людей, но еще и морить их голодом?

— Ничего не знаю, — сказал лейтенант. — Я вас не хватал. Теперь еще и восьми нет. Приедет следователь, он разберется.

— А когда приедет следователь?

— Скоро. Погодите. Тогда все пойдет быстрее.

При свете дня Вилковский стал опять приглядываться к своим новым знакомым. На всех лицах отразилось утомление прошедшей ночи, лежания на голых сетках в спертom воздухе камеры, но похоже, что никто особенно не сокрушался из-за случившегося с ним происшествия. Все, однако, были теперь молчаливы, никому не хотелось возобновлять споры, в которых они с таким азартом приняли участие накануне. А может быть, они, как и сам Вилковский, все еще жили мыслями, чувствами и сновидениями прошедшей ночи.

Вскоре снова отворилась дверь. Милиционер со списком в руках объявил, что приехал следователь, сейчас будут вызывать всех по очереди.

Допрос велся в маленькой комнате, которая, вероятно, служила кухней вытрезвителю, хотя и не была похожа на обыкновенную кухню. Так ведь и вытрезвитель не похож на обыкновенную квартиру, подумал Вилковский, когда увидел эту почти пустую комнатенку, в которой стояли газовая плита и кухонный столик. За столиком сидел человек средних лет, очень аккуратно одетый, свежесбритый, с очень равнодушным, но сосредоточенным лицом, лишенным каких-либо запоминающихся черт. Ровным, монотонным голосом он задавал вопросы и одновременно что-то писал, не поднимая головы от своих бумаг и не видя допрашиваемого, как будто он был совершенно уверен, что уже давным-давно все перевидал и в ближайшие сто лет ничего нового не увидит.

Вилковского привели к следователю вместе слевой. И он стал свидетелем такой сцены.

— Фамилия? — спросил следователь, разглядывая Левин паспорт, но не подняв глаза на него самого.

— В паспорте написано, — сказал Лева.

— Где живете?

— В паспорте написано.

Следователь полистал паспорт.

— Неразборчиво, — сказал он. — Так где же вы живете? Почему не отвечаете на мои вопросы?

— Сначала ответьте на мои, — сказал Лева.

— Что? — сказал следователь. — У вас есть вопросы? Какие вопросы?

— Почему меня незаконно задержали?

— Все законно, — сказал следователь. — Где работаете?

— Нигде, — сказал Лева. — Я безработный.

— Что? — сказал следователь. — У нас нет безработных.

— А вот я безработный. Значит, они есть.

— У нас нет безработных, — сказал следователь.

— С тех пор, как я подал заявление на выезд в Израиль, меня лишили работы. И никуда не принимают. Я был чернорабочим, а теперь и с этой работы уволили...

— А-а! Это другое дело. У нас нет безработных.

— Но я-то ведь не работаю.

— У нас нет безработных, — сказал следователь и стал опять что-то писать. — Образование?

— Не буду я вам ничего отвечать, — сказал Лева. — Сначала объясните, почему меня незаконно арестовали.

— Все законно. А все-таки какое у вас образование?

— В чем вы меня обвиняете?

— Сейчас узнаете.

Следователь опять что-то записал в свои бумаги, а потом стал зачитывать протокол, в котором говорилось, что Лева обвиняется в нарушении общественного порядка, выразившегося в том, что он чинил помехи движению транспорта на улице Архипова.

— Погодите! — сказал Лева. — Все неправда!

Следователь продолжал чтение протокола: "Нарушение уличного движения согласно Указа от..."

— Да погодите же! — вскричал Лева. — Все было не так. Я вышел из синагоги только после окончания службы. Народу было очень много, ведь это же Судный день...

— Какой Судный день? — спросил следователь.

Лева объяснил.

— А-а! — сказал следователь. — Это не относится к делу. — И, заглянув в свои бумаги с выражением того, что дело теперь окончательно выяснено, спросил: — Подпишите протокол?

— Нет, не подпишу.

— Ну, как хотите, — спокойно сказал следователь и сделал знак милиционеру, чтобы он увел Леву, а потом опять углубился в свои бумаги. — Следующий!

Следующим был Вилковский.

Он сказал следователю, куда можно позвонить, чтобы удостовериться его личность, поскольку при нем не было паспорта. Пока следователь записывал ответы, Вилковский все смотрел на него, рассматривал его выбритый, как у военных, затылок, его сухие руки с аккуратно подстриженными ногтями, уже понимая, что спокойная непроницаемость этого человека, его поведение объясняются не высокомерием и злобой, и даже не сознанием своей безнаказанности, он попросту недостижим в своей служебной отчужденности, в своем равнодушии ко всему, что не касается формы, процедуры его работы. Разговоры с ним бесполезны, как бесполезно было бы стараться повлиять на человека, погруженного в гипнотический сон. Возмущаться и сердиться, как это делают Лева и Вил, совершенно бесполезно. Но, может быть, они как раз и правы, неожиданно заключил свои мысли Вилковский, все дело в том, что я,

видимо, на активный протест уже не способен. Он тут же пытался рассказать следователю, что милиция нарочно направляет транспорт на улицу Архипова в те часы, когда в синагоге идет богослужение, и тем самым сама же и создает все последующие беспорядки.

— Это не относится к делу!

Протокол, который составил следователь на Вилковского, был в точности такой же, как и предыдущий, с той лишь разницей, что в нем отсутствовала фраза о неподчинении указаниям милиции, и Вилковский с усмешкой отметил про себя, что безропотность все же чем-то оплачивается.

Не успел он вернуться в камеру, как другой милиционер стал уводить тех, кто уже побывал у следователя, к судье. Процедура суда тоже осуществлялась здесь же, в вытрезвителе, в ускоренном темпе. Кого уводили к судье, больше не возвращался. Лева объяснил, что так оно и должно быть: кому судья назначает штраф, того сразу же освобождают, а тех, кого он приговаривает к аресту, переводят в другую камеру, откуда их уже отправят в тюрьму, где они будут отбывать наказание.

Настала очередь Вилковского.

В этот раз его привели в просторную комнату, которая, видимо, была кабинетом начальника вытрезвителя. Теперь в ней работал судья. В этой комнате стоял большой канцелярский стол, на стенах висели диаграммы и плакаты, а по стенам стояли деревянные скамейки. На одной из них сидели в ряд шесть милиционеров или курсантов милицейского училища, все очень молоденькие, безусые, белобрысые и очень похожие друг на друга. Похожими делал их не столько возраст и форма, сколько лица, на которых застыло выражение сонного равнодушия.

Судьей оказалась женщина. Но Вилковский очень скоро понял, что она ничем не отличается от мужчины-следователя. Еще не старая, сухощавая, с крупным ртом и темно-карими глазами, одетая в темносиний жакет, она тоже выполняла свои обязанности, по-видимому, совсем не задумываясь над смыслом и последствиями своих действий. Все шло без задержки, без всякой торжественности, в соответствии с точным и давно принятым ритуалом. Эта точность ритуала, последовательность и ясность процедуры, очевидно, и убеждали судью в том, что она делает правильное и нужное дело.

— Вы обвиняетесь в нарушении общественного порядка, — сказала она Вилковскому и зачитала протокол, составленный следователем.

— Это не так было, — сказал Вилковский, стараясь говорить как можно спокойнее. — Во-первых, я стоял не на проезжей части улицы, а на ступеньках синагоги, когда милиционеры и дружинники столкнули меня силой на тротуар вместе с другими. Потом они же повели нас к Солянке, а там стали толкать. Меня толкнули так, что я сбил с ног старушку, и она расплакалась. Вот как было на самом деле, не говоря уже о том, что милиция специально заворачивает транспорт на улицу Архипова, на евреев, собирающихся у синагоги. Тысячи людей это видели.

Судья заглянула в свои бумаги:

— Сейчас опросим очевидцев... Панфушкин!

Со скамьи встал молоденький милиционер с картофельным носом.

— Панфушкин, вы видели этого гражданина на улице Архипова?

Панфушкин вытянул руки по швам и испуганно уставился на судью.

— Да... мы... я его видели, — сказал он, не взглянув на Вилковского.

— Что он там делал? — спросила судья.

Панфушкин стал испуганно оглядываться, потом выпалил:

— Он нарушал!.. Он мешал транспорту!.. Мешал и нарушал!

— Хорошо, — сказала судья. — Довольно. — Она опять заглянула в свои бумаги: — Петров!

Со скамьи вскочил другой милиционер и, подавшись вперед всем телом, сказал:

— Петрова нет!

— Как так, нет? — нахмурилась судья.

— Он здесь, но вышел...

— Поищите его!

Два милиционера одновременно ринулись в коридор и очень скоро привели Петрова, который своей внешностью почти не отличался от Панфушкина.

— Петров, — строго сказала судья, — вы подтверждаете, что этот гражданин нарушил вчера общественный порядок?

— Так точно, — бойко и твердо заговорил Петров. — Этот гражданин мешал прохожим, нарушал установленный порядок движения транспорта, на предупреждения милиции не отвечал, пренебрегал.

— Вы слышите? — сказала судья, обращаясь уже к Вилковскому. — И второй свидетель подтверждает.

— Какие же это свидетели? — сказал Вилковский, стараясь сдержать улыбку. — Разве могут быть свидетелями люди заинтересованные? Ведь это же работники милиции, которая меня задержала. Впрочем, я почти уверен, что даже не они и дежурили-то вчера у синагоги.

— У меня нет оснований им не доверять, — сказала судья с притворно-наивным видом и продолжала уже другим тоном, быстро и решительно: — Вы приговариваетесь к штрафу в размере пят-

надцати рублей. Вы свободны!

Наступило молчание. Вилковский хотел что-то сказать, но к нему подскочил милиционер и трагическим шепотом повторил:

— Гражданин, вы свободны! Здесь нельзя больше оставаться — уходите!

Выйдя в коридор, Вилковский услышал крики и ругательства: мимо него два милиционера провели пьяного — огромного детину с белым, как будто распухшим лицом. Пьяный матерился и рвался обратно, к выходу.

— Вытрезвитель приступил к нормальной работе, — сказал кто-то позади Вилковского; это был Рафаил. — Эпизод с евреями закончился.

Они вышли вместе во двор, где сразу же увидели Марка Давыдовича и Леню. Их обоих тоже приговорили к штрафу, и они ждали окончания суда над остальными задержанными. Марк Давыдович опасался за Вила, его могут оставить под арестом, если он заспорит с судьей, а Рафаил был почти уверен, что Леву, которого задерживали у синагоги уже не в первый раз, могут судить как рецидивиста, и тогда он обязательно получит пятнадцать суток.

— А нас вот выпустили, — заключил Рафаил. — Возрадуемся. Никогда ведь не известно заранее, чем может кончиться подобный инцидент, все зависит от указаний, а они каждые три дня меняются. Но пока будем радоваться — мы свободны.

— Это правда, — сказал Марк Давыдович, но уже без всякой иронии. — Это хорошо, это огромный прогресс в сравнении с тем временем, когда можно было получить не десять суток, а десять лет. О, если бы вы знали, как просто было получить десятку!

Ждать пришлось недолго. Остальные вскоре появились один за другим, все получили штраф, но ни Лева, ни Вил так и не вышли из здания

вытрезвителя — одного присудили к пятнадцати, другого к десяти суткам ареста.

— Сегодня мы им уже ничем помочь не сможем, — сказал Рафаил. — Встретимся днем на Архипова и обсудим, как предать гласности всю эту историю... Вы еще придете сегодня в синагогу? — спросил он Вилковского. — Служба идет весь день. Вы это знаете?

— Конечно, знаю....

Он едва слушал, что говорили другие, и чувствовал страшную усталость. К тому же именно теперь, когда он уже был на свободе, у него разболелась голова. По дороге к метро он вмешался в разговор только один раз, когда Марк Давыдович опять стал говорить о том, как изменились времена по сравнению с тридцатыми и сороковыми годами. Но в воображении Вилковского все время вставали следователь, который ни разу на него не посмотрел, и судья, сделавшая вид, что она верит свидетелям-милиционерам. И он сказал:

— Не вижу принципиальных изменений. Ведь нас присудили к штрафу незаконно, а следователь и судья этого не могли не понимать...

— Как? — удивился Марк Давыдович. — Пятнадцать рублей штрафа и десять лет, по-вашему, все равно?

— Нет, конечно, не все равно. Но если судья может приговорить невиновного к пятнадцати рублям штрафа или пятнадцати суткам ареста, то где гарантия, что он не способен с той же легкостью осудить невиновного к десяти годам?

— Значит, ничего не изменилось?

— Многое изменилось. Но и слишком много было вынесено несправедливых приговоров, слишком много ужасных дел было совершено и скрыто, слишком упорно этот печальный опыт скрывается и теперь из соображений, что невыгодно о нем говорить. А для кого может быть

невыгодной истина, кроме как для тех, кто совершал подобные дела или готовы совершать их вновь?

— Это так, — подтвердил Рафаил. — А знаете ли вы, что самое плохое? И этот наш сегодняшний следователь, и судья, которых мы только что видели, вероятно, даже не подозревают, к чему уже привели однажды те самые обычаи и порядки, которые определили их поведение. Они очень мало знают о прошлом того учреждения, в котором работают. Но именно потому, что прошлое объявлено мертвым, оно не умирает и незаметно прорастает в них самих. В сущности, очень простые истины.

— А еще проще вывод, который надо делать, — сказал Леня. — По-видимому, Вил совершенно прав: все рассуждения, сравнения прошлого с настоящим, измерения, подсчеты — вздор. Начинать нужно с другого...

— Хватит, хватит, — сказал Рафаил. — Не нужно начинать новый спор, пора хоть на пару часов от этого уйти, отдохнуть.

Марк Давыдович молчал. До самого метро он не сказал больше ни слова.

XVIII

Те мысли и чувства, с которыми Вилковский возвратился домой после ночи, проведенной в вытрезвителе, как бы получили новое подтверждение в тот же день, когда после короткого отдыха он опять пришел на Архипова.

Знакомая улица встретила его знакомым ревом милицейских динамиков, беспорядочным гудением автомобилей, ползущих цепочкой со стороны

Солянки, теснотой и давкой на узких тротуарах, где стояло или медленно двигалось множество людей, не нашедших себе места в синагоге. Добраться до входа в нее тоже оказалось не таким простым делом; длинная, узкая и пологая улочка была похожа на тесную кишку, в которой бурно совершается какой-то странный обмен веществ — сложное движение людей и автомобилей, под присмотром милиционеров, вооруженных ручными рупорами, из которых непрерывно неслись резкие, повелительные окрики:

— Граждане, проходите на тротуары!.. Граждане, не занимайте проезжую часть!

Но в то же время улица была залита солнцем, день выдался сухой и теплый. Непосвященному трудно было бы догадаться, что сегодня у евреев не обычный праздник, а день покаяния и отпущения грехов, Судный день, когда каждый должен оценить свои мысли и поступки за прошедший год и просить Бога о вынесении ему милостивого приговора. Лица людей, толкавшихся на улице Архипова, совсем не выражали молитвенных и покаянных чувств, трудно было бы настроиться на смиренный лад, когда прямо в лицо орет хриплый голос из жестяного рупора, а зеленая милицейская машина, тоже оборудованная динамиком, прижимает тебя к тротуару, втискивает людей друг в друга.

При свете дня Вилковский мог теперь лучше, чем накануне вечером, разглядеть толпу, но ничего нового не увидел. Много лиц, отмеченных следами горестей и болезней, морщинами, пятнами старости! Много старух: на головы накинута праздничные платки или шали, на ногах теплая обувь, походка тяжелая, взгляды потухшие, мертвые... Но встречались совсем еще юные мальчики и девочки с другим выражением на лицах.

Проталкиваясь сквозь толпу, Вилковский иног-

да останавливался и прислушивался к разговорам и шуткам.

— А гут йом-тойв, а гут ер! Вос эрт зих ин штот?⁷³

— А разбой! Вчера вечером от мен опять гехалт пятнадцать евреев, вот здесь, на Архипова, и опгефирт⁷⁴ прямо в участок!

— Ну как? Вы уже решились?

— Жена еще хочет подождать.

— А она не знает, как будут скоро отвечать евреи на пятый пункт анкеты: "Ваша национальность?". Ответ: "Дурак".

— А вы знаете, что здесь был академик Сахаров?

— Он тоже еврей?

— Нет. Но он из тех русских, кто понимает, что Судный день касается не только одних евреев. Прощения у Бога должны просить не только мы.

— В Йом-Киппур могут быть прощены только те прегрешения, которые человек совершил в отношении к Богу. Как раз Сахарову много меньше других надо сегодня каяться... А вы уверены, что это был он?

— Да, прошел вместе с женой всю улицу Архипова. Его узнал бывший студент его семинара...

— Не говорите мне про Козловского. Разве он еврей?

— Конечно. Со знаком качества.

— Как так?

— В паспорте записан русским.

Прежде чем войти в синагогу Вилковский прошел всю улицу Архипова до Солянки и увидел там, на перекрестке, дорожный передвижной знак, который загораживал транспорту обычный путь и направлял поток автомашин к синагоге. Даже регулировщика не понадобилось, подумал он, достаточно было выкатить на середину мостовой металлический столбик с запретным знаком. Вил-

ковский стоял и смотрел на столпотворение автомашин, наезжающих друг на друга из-за неожиданного возникшего на их пути запретного знака, рядом стояли другие люди и тоже смотрели на табуны автомобилей...

— Боже мой! — воскликнул чей-то возбужденный голос. — Этого же раньше не было, никому не приходило в голову мешать евреям стоять у синагоги в Иом-Киппур.

— Не волнуйтесь! — насмешливо отозвался другой голос. — Дай нам Бог дожить до будущего года. Могу поспорить, что через год или два вот этот самый столб будет стоять уже не на перекрестке, а здесь, у входа на улицу Архипова, и охранять ее от транспорта. Понимаете? Охранять! Это же один и тот же столб, и управляет им одна рука. Понимаете? В этом самая суть дела, и она никогда не меняется...

У самого входа в синагогу, у подножья одной из колонн фронтона стоял высокий старик в фетровой шляпе и спокойно, но довольно громко говорил молодому человеку в черной курточке:

— Только не повторяйте мою ошибку. Я сначала был сионистом, а в восемнадцатом году вступил в РКП(б) — Российскую коммунистическую партию большевиков. Потом меня посадили на семнадцать лет. Потом выпустили и восстановили в партии. А теперь я опять стал сионистом. Мой вам совет: уж лучше сразу становитесь сионистом...

Когда Вилковскому удалось, наконец, проникнуть в синагогу, он опять, как и накануне вечером, увидел впереди сияние огней большого зала, его круглый потолок, весь в орнаментах, далекий мизрах с белым амвоном и белым кивотом для хранения свитков Торы, с двумя аллегорическими деревьями, протягивающими свои нарисованные на стене зеленые ветви к голубому потолочному

своду. И опять услышал знакомый голос кантора, который то возвышался, то падал и тонул в нестройном хоре молящихся. Проникнуть в молитвенный зал было почти невозможно, и Вилковский остался в вестибюле, в пулэше. Не прошло и четверти часа, как ему начало казаться, что его окружают те же люди, с которыми он провел ночь. Не было большой разницы между разговорами, которые велись в камере вытрезвителя, и тем, что он услышал теперь в вестибюле синагоги.

Неподалеку от Вилковского у стены пожилой человек, завернутый в талес, взволнованно рассказывал, нервно теребя черные кисти своего молитвенного одеяния:

— ...И все те девчонки, которые забрасывали цветами машины немцев, теперь учительницы, члены партии, члены райсоветов и сельсоветов... И тот украинец — комендант станции, куда нас повели на расстрел, он теперь инвалид войны, пенсионер... И те, кто втихую донесли, где прячутся евреи, мирно доживают свой век... А моих родителей нет, и моих братьев нет, из целой семьи один я остался, один я помню и знаю, как это было. В том и беда, что сегодня никто уже не знает...

— Погодите, я расскажу, что я видел после войны в Киеве...

— Каждый еврей, если ему за пятьдесят, может многое рассказать.

— А разве вы тоже пережили оккупацию?

— Я все видел, все пережил. Если хотите знать, вся моя жизнь прошла в этом. А как же иначе? Я шестого года рождения, вырос на Украине, когда мне было одиннадцать лет, я уже ходил со старшим братом собирать людей для отряда еврейской самообороны. Я вам сейчас расскажу одну интересную историю, случай из того времени. Еврейская делегация ездила тогда к Лейбалэ — по-

нимаєте, о ком я говорю? В делегации был, кажется, и раввин Мазе, и она просила оружие для самообороны от банд. Лейбалэ не дал. Он заявил: мне каждый красноармеец дороже, чем дюжина местечковых евреев-непролетариев... Раввин тогда сказал: за все это будут расплачиваться Бронштейны. Разве он не оказался прав? Что получил Лев Бронштейн за свои старания? Ну, вы сами знаете, что он получил...

В большом синагогальном зале шла служба, и оттуда доносились молитвенные песнопения. А здесь, в пулэше, где появлялось и сменялось все больше народу, к какому бы разговору Вилковский ни прислушался, ему начинало казаться, будто прошедшая ночь с ее воспоминаниями, спорами и горькими снами все еще продолжается.

— Книга пророка Исаяи — сорок третья глава... Книга пророка Иеремии — шестнадцатая глава... Неужели у вас нет даже русского перевода Библии?

Это говорил высокий молодой человек с лицом, как бы сошедшим со старинной фрески, обрамленным темными волосами и густой темной бородкой; на голове он носил высокую фетровую ермолку, на плечи был накинут узкий шелковый талес; голос у него был спокойный, тихий, как бы даже смиренный. Слушал его пожилой человек с подстриженными усами, и видно было, как поражают его слова бородатого юноши, и весь его облик — ермолка, талес, молитвенник.

— Значит, уезжать вы пока не собираетесь? — спросил пожилой.

— Зачем суетиться? В книге пророка Иеремии сказано: сначала придут рыбаки и будут выставлять всюду приманки, а потом придут охотники и погонят всех, и это будет исполнением пророчества. Сказано: "Выведи народ слепой, хотя у

него есть глаза, глухой, хотя у него есть уши!”. Так будет!

— Значит, вы думаете, все совершится само собой, даже беспокоиться не нужно? А если охотники погонят нас не туда? — он обернулся к выходу и выразительно прислушался к проникающим с улицы бешеным крикам ручных динамиков милиции. — Думаете, евреев не могут погнать совсем в другую сторону, не в Сион, а на Север?

— Что ж, — спокойно сказал молодой человек. — Разве мы будем первыми? Разве мы лучше тех евреев, которые уже погибли? Как Бог захочет, так и будет. Но в конце концов, пророчество о возвращении в Сион все же исполнится. Как исполнилось и пророчество о его разрушении. Да замрет в Иудее “голос торжества и голос веселия, голос жениха и голос невесты”, да станет земля ее “терном и волчцами”. Разве не исполнилось? Но знаете, что самое чудесное? Уже тогда можно было по Библии совершенно точно вычислить, когда снова расцветет эта земля, даже год нового возникновения государства Израиль. Жаль только, что вы не можете читать пророчества на языке, на котором они изречены и записаны...

— А где вы изучали Библию на древнееврейском языке? Разве в Москве есть еврейские духовные школы?

— Нет, я учился сам. Я начал учиться древнееврейскому языку вскоре после того, как в первый раз пришел сюда, в синагогу.

— А когда вы сюда пришли впервые?

— В тринадцать лет.

— Кто вас привел, родители?

— Нет.

— А кто же?

— Бог... Бог велел, и я пришел...

Юноша опустил веки, потом опять открыл их, его глубокие темные глаза глядели спокойно.

Из блистающей всеми люстрами большой синагогальной залы донесся голос кантора, полный страстной мольбы и печали. И словно в ответ раздался с улицы особенно грубый, бешеный окрик:

— Освободите пространство!

— Господи! — воскликнул человек, стоявший рядом с Вилковским. — Сколько бы евреи ни скитались по свету, где бы они ни жили, вечно одно и то же: "Освободите пространство!". Россия такая огромная страна, неужели только для евреев в ней не хватает пространства? Да где же на всей земле то место, где евреи могли бы жить спокойно, и никто бы не считал, что они занимают чужое пространство?

— Одно место, может, и есть, — сказал кто-то, услышав эти слова. — Но мы от него далеко...

— Ха! — воскликнул с горечью и сарказмом первый. — Взгляните на карту: это простреливаемое пространство! Со всех границ на евреев Израиля направлены пушки. Такое пространство я бы пожелал антисемитам.

— И все же евреи вгрызлись в него, и никакая сила их оттуда уже не выгонит. Хоть простреливаемая, но своя земля.

— Ир от геерт⁷⁵ последнее выступление Киссинджера?

— Ох, не нравится мне этот американский еврей с немецкой фамилией и немецким характером.

— Ну, а советские евреи с русскими фамилиями и русским характером вам больше нравятся?

— У них, по крайней мере, нет власти. К тому же им не приходится доказывать свою объективность в арабо-израильском конфликте.

— Такова участь еврейских деятелей: им нужно убедить других, что они уже не евреи...

— А заявление Хусейна вы слышали?

— Ну, Хусейн теперь пока вне игры. Но вот Сирия, Сирия... Что она себе думает?

Тут говорили, однако, не только о политике, но и обо всем том, о чем обычно говорят сошедшие вместе люди: о здоровье, о семейных делах. Но и эти разговоры были окрашены в особые тона. Тут собрались одни евреи, хотя очень многие, большинство, еще не переступили черту, за которой находились "подаванты" и "отказники". Евреи, не собирающиеся ехать в Израиль, тоже хотели жить как евреи, больше того, они хотели, чтобы и их дети оставались евреями.

Пожилой человек в поношенном пальто и старой шляпе, сутулый, с морщинистым лицом и робким вопросительным взглядом, случайно оказавшийся вплотную к Вилковскому, вдруг сказал ему тихим, неуверенным голосом:

— А гут йом-тойв!⁷⁶

Вилковский ответил тоже по-еврейски, и старик осмелел:

— Я извиняюсь, — сказал он. — Может, у вас есть сын или племянник?

— Какой сын? — удивился Вилковский. — Какой племянник?

— У меня дочь, — робко сказал старик. — Я ищу для нее жениха.

— Ах так! Ну, она, наверное, сама его найдет.

— Вот этого-то я и боюсь.

— Почему? — опять не понял Вилковский.

— Она может найти нееврея, — печально сказал старик.

В большом зале продолжалось богослужение — длинные нескончаемые молитвы Дня отпуска, содержания которых Вилковский не помнил. Но звуки будили в нем чувство, каждая нота, казалось, шла не от кантора, а из глубины его собственной души, из памяти детства, а может быть, рода, может быть, это было заложено в нем и пробудилось вместе с пробуждением его жизни. Что бы это ни было, он был совершенно

уверен в одном — это есть, он это чувствует, как чувствует свое тело, свое дыхание. И он слушал, жадно ловил доносящиеся из зала звуки, со сладкой грустью и завистью к тем, для кого все это было нечто простое, понятное и ясное, сопутствующее всей их жизни. Он не был чужим или одиноким в этой толпе, но он чувствовал, что ему недостает веры. Мое присутствие здесь, и то, что голос кантора будит во мне нежность и печаль — это еще не вера. Я бы хотел ощутить подлинную веру и спокойствие верующего...

Из молитвенного зала вдруг послышалось какое-то движение, и словно занесенная оттуда искра пронеслась по синагогальному вестибюлю, по толкущейся в нем толпе. Вилковский услышал со всех сторон:

— Искер! Искойр!.. Зогт Искойр!⁷⁷

Все, кто до этого спокойно стояли или медленно передвигались, сходились и расходились в тесном пространстве пулэша, прекратили свои хождения и разговоры, извлекли из карманов молитвенники или простые бумажки с написанным от руки текстом и принялись быстро-быстро читать Искойр — молитву за упокой души мертвых.

— Искойр элоим нэшумас ови мойри! — горестно-умиленно пропел кто-то из стоящих позади Вилковского. И он повторил эти слова, смысл которых он неожиданно постиг, вспомнил: "Да вспомнит Господь душу моего отца, моего учителя". И на него вдруг пахнуло дыханием давно прошедших времен, и ему представился отчий дом, но не опустевший, с заколоченными дверьми и окнами, каким он часто видел его в своих снах, а полный жизни, с еще молодыми отцом и матерью — до всяких болезней, утрат, расставаний, до страшной последней беды.

Нестройный хор, делящийся на выкрики и горестные вздохи, немолчный стон переполнили ве-

стибюль и синагогу, все три синагоги, потому что, как уже успел разглядеть Вилковский, в этом старом здании, рядом с большой молитвенной залой, была и другая, поменьше, поскромнее, с белыми, ничем не украшенными стенами и потемневшими от времени деревянными скамейками, на которых сидели люди, завернутые в полосатые талесы, почти все старики, один вид которых ясно говорил, что для них Бог обитает всюду, а особенно там, где запахи благочестия смещиваются с запахом бедности. И была тут еще одна синагога, совсем уж крохотная, не имеющая не только украшений или серебряных подсвечников, но даже обычной входной двери и нормального потолка, так как она помещалась просто под лестницей, ведущей на галерею большого зала, и представляла собой узкий закуток, где на лавках тесно сидели кавказские евреи, сплошь темнолицые, горбоносые, черноглазые.

— Сын праха подобен дуновению, дни его — тени исчезающие, — жалобно пропел кантор. И множество дрожащих голосов соединились в один мучительный вопль, вторя ему:

— Утром расцветает и свежее, а к вечеру подсекается и засыхает!

Но Вилковский услышал еще один голос, отнюдь не жалобный и покорный, а негодующий, требовательный, непримиренный. Обернувшись, увидел высокого человека с серым лицом и слегка вздувшимися венами на старческих висках, который держал в руках открытый молитвенник, но, не глядя в него, громко восклицал на идише:

— Да помянет Господь души всех убитых, замученных, сожженных Гитлером — имах шемой! — пусть будет проклята его память!.. Ведь нет такой еврейской семьи, из которой кто-нибудь не ушел бы в вечность смертью насильственной, страшной: либо убиением, либо зарезанием, либо

газом, сожжением, удушением... Господи, зачем терпит еврейский народ столько страданий? Зачем множатся беды евреев? Зачем, Господи, создал ты мучителей и ненавистников, палачей и буйных сумасшедших, захвативших власть над народами?

Голос, выкрикивающий эти горячие, мятежные слова, тонул в беспорядочных голосах и гнусавом бормотании остальных молящихся, которые торопливо досказывали традиционные заупокойные молитвы, погруженные каждый в себя, в свою собственную боль и память. Но Вилковскому вдруг показалось, что наступила внезапная тишина, в которой кричат беззвучные голоса невинных жертв, тех самых, о которых вспомнил странный человек с серым лицом и дрожащими губами. О них лишь вскользь говорилось в поминальной молитве, может быть, потому, что мертвые друг другу равны — и те, кто умерли тихо и мирно в естественный срок, и те, кто подверглись страшной казни во цвете лет или в самом начале жизни. Но непримиренный человек, который стоял с закрытыми глазами у стены, стена и раскачиваясь, продолжал выкрикивать свою боль и непримиренность, выкрикивать скорбным фальцетом слова, не содержащиеся ни в одной молитве. И то умиление, которым Вилковский начал было заряжаться, когда услышал Искойр, ушло. Во всем, что я здесь видел и слышал, слишком много печали, слишком много напоминаний о смерти, бессмысленной и страшной смерти, не имеющей никаких оправданий. А разве у смерти бывают оправдания? Разве смерть не всегда гадка и отвратительна? И Вилковский опять почувствовал, как не хватает ему веры, как много в нем сомнений. Что остается в этой жизни, на что опереться? Недостаток веры можно восполнить любовью? Я должен научиться любить, если понадобится, даже принудить себя к любви. Я должен относиться к каждому находя-

щелуся здесь в синагоге человеку, как к родному брату, любить его легко и без рассуждений...

После поминальной молитвы Вилковский покинул синагогу.

XIX

Он вернулся на Архипова к концу дня, чтобы услышать ветхозаветные звуки шофара⁷⁸, которые он не слышал с детства, и это последнее посещение синагоги закончилось новым неожиданным событием, огромным и страшным, которое, хотя и произошло далеко от Москвы, помогло Вилковскому понять, что в нем уже совершился переворот, а этот странный, роковой Иом-Киппур, по-видимому, и есть начало его новой, третьей жизни.

В ущелье улицы уже зажглись вечерние огни, когда он вошел в синагогу. В вестибюле было свободнее, чем днем, и он, не задерживаясь, прошел в большой зал, где на него пахнуло духотой и густым воздухом переполненного и давно не проветренного помещения. Лица молящихся казались мертвенно-бледными, их голоса и вздохи бесконечно тяжелыми и усталыми. Многие сидели с закрытыми глазами, другие накрыли свои головы талесами и, раскачиваясь, бормотали свои молитвы. Дрожащий вой стоял в синагоге и поднимался к ее высокому потолку, прерываемый время от времени скорбными восклицаниями. Вилковский знал, что все эти люди постились со вчерашнего вечера и сидят здесь безвыходно в духоте с раннего утра, но его не покидало странное чувство, что настроение, которое царит теперь в синагоге, нельзя объяснить только усталостью от

долгих молений. Ему казалось, что голос кантора дрожит не так, как обычно, а во вздохах и голосах молящихся ему чудилась затаенная боль. Он прислушался к этим звукам и голосам, к этому гнусавому вою и стону, и тревога, напряженность усиливались в нем, хотя для этого как будто не существовало никаких ясных и видимых причин. Вдруг он услышал неподалеку от себя чей-то торпливый голос:

— Я вам говорю, что это правда! Полчаса назад я сам слушал Би-би-си!

— Не может быть! — отвечал другой голос, тихий и подавленный.

Молодой человек с рыжей бородкой, стоявший в проходе, низко склонившись к одному из молящихся — старику в толстых роговых очках, в белой ермолке и в шелковом талесе, накинута на плечи, — повторил:

— Я сам слышал!

Старик опять недоверчиво покачал головой.

— Сирия и Египет напали на Израиль сегодня в полдень! Я это сам слышал по радио...

В изумленных очках старика, даже в его седых волосах, выбивающихся из-под ермолки, чувствовалось, как поражен он этой новостью. Опустив веки и подняв брови, он опять отрицательно мотнул головой. А молодой человек все повторял:

— Это правда! Я сам слышал! Это война, новая война!

Вилковский попытался протиснуться ближе... Что-то содрогнулось в нем от только что услышанной новости, но он еще не мог объять весь ее смысл и жаждал подробностей. В проходе, однако, стояло слишком много людей, и он не мог приблизиться к молодому человеку с рыжей бородкой. По-прежнему торжественно горели все люстры, у восточной стены, в мизрахе, мерцали горящие свечи, как и раньше, поднимались к по-

толку с золотыми звездами пение кантора и бормотание, вздохи и восклицания молящихся. Но во всем этом таилось теперь ощущение огромной, непоправимой беды.

Молодой человек с бородкой направился к выходу, и Вилковский пошел за ним. Оказавшись в пулэше, он сразу же услышал, уловил в говоре окружающих те же зловещие слова: Египет... Сирия... Суэцкий канал!.

— Нет, нет, нет! — страстно, как заклинание, повторял человек с зеленовато-печальным лицом и запекшимися губами. — Тысячу раз нет! Не поверю, что их захватили врасплох, хотя сегодня Иом-Киппур. Вот увидите — все будет хорошо!

— Что может быть хорошего в войне! — сказал другой, лица которого Вилковский не видел.

— Беда! — с ужасом сказал третий, хватаясь за голову. — О Господи! Какая беда!

Горячий возбужденный шепот людей, жмущихся к стенам пулэша, подтверждал, что не он один захвачен этими мыслями.

— Не могут евреи жить без войн и несчастий! — воскликнул кто-то рядом.

— Ах, Боже, нечего заранее причитать и пугаться. Все еще кончится хорошо. Вот увидите!

— О каком конце вы говорите, когда только сегодня началось?

Вилковский протиснулся к другому концу вестибюля, опять услышал напряженный шепот, прерываемый время от времени многозначительными восклицаниями: Моше Даян!.. Танковый марш!.. Истребители "Фантом"! Он вглядывался в ближайших к нему евреев... Сколько здесь бледных, несчастных лиц! Сколько они должны были выстрадать, вытерпеть в жизни, чтобы с таким азартом, с такой страстью рассуждать о танковых маршах и генерале Даяне...

В говоре и ропоте окружающих он уловил сло-

ва, которые столько раз слышал в шестьдесят седьмом и в последующие годы: мы... они... базы... нефть... Америка... Западная Европа... Средиземное море... НАТО... И невольно тоже стал думать о том, как откликнется мир на новую войну. В содержании заголовков завтрашних московских газет он не сомневался: "Новая провокация Израиля! Израиль напал на своих арабских соседей!". Он хотел представить себе и голоса евреев, все еще занимающих официальные должности во многих странах, евреев, которым хочется во что бы то ни стало доказать, что они уже не евреи, что на них вполне можно положиться, что вид еврейской крови не поколеблет их объективности, но тут он услышал звуки шофара и, увлекаемый толпой, вернулся в большой синагогальный зал. С того места в проходе, где остановился Вилковский, была лишь смутно видна фигура старика в длинной белой блузе, который держал в руках шофар — изогнутый трубчатый рог, отделанный сверкающим металлом. Но когда он подносил его ко рту, мощные звуки заполняли зал и, отражаясь от стен, покрытых еврейскими письменами, уходили ввысь, в потолок с нарисованными на нем звездами; казалось, что они пробивают его и теряются в ночном небе, на котором в этот час, вероятно, уже сверкали первые настоящие звезды. Звуки шофара рвались и гасли, в рог трубил старик, но Вилковский слушал их, как зачарованный. Он стоял в тесном проходе московской синагоги среди других московских евреев, верующих и неверующих, таких, как он сам, ощутивших в итоге всей своей жизни потребность в вере. Они были тут все смешаны — те, с кем он провел предыдущую ночь в вытрезвителе, и те, чьи горячие рассказы он выслушал только сегодня утром, — старые и молодые, решительные и нерешительные, немудрящие старики, мечтающие лишь о том, чтобы

выдать замуж своих дочерей за евреев, и мятежные, фанатичные активисты движения за репатриацию в Израиль, одержимые мечтой о новой жизни и новой судьбе. И все они слушали звуки шофара, этот заключительный аккорд Судного дня, в котором должна была выразиться радость, облегчение после долгих молений и поста, священный рев, призванный изгнать темные силы зла, первобытную музыку, в которой жило воспоминание о давних временах, когда Иом-Киппур был радостным праздником Всепрощения — до разрушения Иерусалимского храма, — воспоминание о мирной жизни в стране праотцев. Но сегодня в ней звучало нечто прямо противоположное. Сегодняшний Судный день еще не закончился, еще были открыты для молитв небесные врата, как объяснял когда-то отец маленькому Давиду, но приговор уже был вынесен. И опять это старый приговор, вечный приговор? Страшным было то, что в этот час, когда в московской синагоге трубил ветхозаветный рог, а на московском небе выпали первые звезды, в Сионе, где день уже погас — ведь это Восток, солнце и свет уходят там раньше с земли, — в Стране Обетованной в этот час уже умирали...

С такими мыслями и со слезами на глазах стоял Вилковский в узком проходе между молитвенными скамейками старой московской синагоги, старый человек, уже почти совсем седой, и слушал то замирающий, то крепнувший звук рога, который еще в детстве терзал его своим звучанием, вызывая дрожь и восторг, смутно напоминая что-то такое, что, вероятно, произошло еще до рождения. И все то, что он пережил за последние сутки и за всю свою жизнь, как бы стояло рядом с ним, и смысл случившегося то открывался ему, то опять угасал. Но непрерывно усиливалось, нарастало ощущение, что древние звуки шофара — сигнал,

который открывает ему сегодня новый путь. Ему не хотелось ни о чем думать, не хотелось ничего вспоминать, но внутри него помимо его воли шла мучительная борьба и возникали ряды неожиданных слов и мыслей... Вот наступает последняя минута Судного дня, когда ты еще можешь подвергнуть экзамену свою совесть, подвести итог своим поступкам и решить, как жить дальше. Сегодня совсем особенный Судный день, начало новой войны в истории Израиля и евреев, и ничто уже не может предотвратить новый плач там, где выплакано столько слез. Но ты еще можешь в последнюю минуту сделать выбор, решить сказать или не сказать: я принимаю новый приговор со всеми его последствиями! Ведь он вынесен не лично тебе, ты здесь, а не там, у тебя еще есть возможность отмежеваться от новой беды. Разве ты не испытал достаточно горя как еврей и как человек? От всей твоей прошлой жизни остались одни ошибки, не пора ли подвести черту, смирить душу, покорно принять все, что произошло с тобой в жизни, не заботиться больше о смысле и итогах, не беспокоиться и прожить остаток дней в одиночестве, в никого не касающейся обособленности душевного мира? Не так много дней, вероятно, у тебя впереди, не лучше ли потратить их на прощание с жизнью, природой и красотой? Ведь существуют же в мире не только несправедливости, не только безумье, бессмысленные жестокости и непостижимый злой рок, но и вечная немеркнущая красота...

Но звуки шофара отдавались в его сердце, как сигналы бедствия, и вместо смирения и покоя, к которым призывал разум, он ощущал страх и боль и, возвращаясь мыслью к новой войне, ощущал далекую беду как нечто случившееся с ним сегодня, здесь. И так же, как слезы сами собой бежали по его лицу, произвольно росли в нем со-

страдание и любовь, росло понимание, что нельзя поддаваться голосу искусителя, предлагающему покой и отрешение. Ему хотелось молиться, просить Бога помочь ему, научить, что делать, но молитвы все кончились — в синагоге звучала последняя молитва без слов — пение шофара. И Вилковский продолжал говорить самому себе: какой страшный Судный день! Разве вправе я вынести самому себе оправдательный приговор? Уйти, отрешиться от еврейской беды было бы равносильно самооправданию. Я могу лишь отрешиться от того человека, каким я был до сих пор. Но нельзя отречься от самого глубокого, что есть в человеке от рождения, убежать от самого себя. Искать уединения от грязи, несправедливостей и противоречий жизни, от страха и жалости, любви и сострадания — значит обречь себя на душевное окостенение, на смерть при жизни... Он теперь осознал вполне, что он еврей не только потому, что родился евреем, или потому, что ему об этом часто напоминали и, наверное, будут напоминать до конца дней, а потому, что он с радостью принимает свое еврейство и еврейскую судьбу. И если заложенное в душу искушение эгоизма и равнодушия так часто выражается в невысказанной, но несомненно присутствующей в подсознании стольких людей мысли: "Еврей — это не я, а другой", то будь благословенна моя принадлежность к еврейству, предохраняющая меня от себялюбия, холодности, от смерти души...

Он остановился и опять подумал, что простая молитва была бы более подходящей и действенной, чем все рассуждения. Уж не остался ли ты, в сущности, таким же, каким был в молодости, вечным пленником беспокойства, непокорности, слов? Свободно ли ты совершаешь новый выбор, ведь и в молодости тебе казалось, что ты свободно избрал свой путь? В чем же разница? Тогда я не

понимал, что свобода может привести к страданиям, что она безжалостна. Я выбираю теперь безжалостность к себе, а не к другим людям, к чему неизбежно вела первая выбранная мною дорога, когда я думал только об устройстве жизни других людей. В этом вся разница, весь итог, весь смысл того, что случилось и еще, возможно, случится в моей жизни. Только одно в моей власти: я сам; и даже не моя внешняя жизнь, а внутренняя...

Последний длинный, протяжный, как бы все разрешающий звук шофара погас, и все было кончено. Увлекаемый тесной толпой, Вилковский пошел к выходу, слушая, как знакомые и незнакомые между собой люди обращаются друг к другу с традиционными поздравлениями: Гмор хсимо тойво!⁷⁹ И хотя голоса людей, обменивающихся праздничными приветствиями, были отнюдь не праздничны, Вилковский ощущал не только печаль от мыслей о новой еврейской беде, но и душевный подъем; он сознавал, что очистился от того прошлого, которое мешало ему до сих пор, и верил, что новое и бесспорное чувство будет отныне новым условием его жизни, более важным, чем все ее внешние условия. Он, который так долго утопал в водовороте сомнений, наконец-то обрел нечто устойчивое. Так вот смысл того, что случилось со мной в жизни, вот мое освобождение, моя Геулла⁸⁰; это слово маленький Давид когда-то слышал от своего отца и не забыл. Как и в Геулле Дома Израилева, думал он, в ней есть печаль и радость, в ней новые возможности и новые опасности. Но разве смешение скорби с высокой радостью не есть удел каждого, кто стремится жить духовной жизнью? Разве не каждый, кто ищет Истину, должен открыть свой Иерусалим?

И Давид Вилковский покинул московскую синагогу с радостной и спокойной уверенностью, что и его восхождение уже началось...

...не повесть, не роман, не исследование, не обличение, а исповедь души, рассказ о путях исхода из Египта в наши дни одного человека. Его победа над рабством, прежде всего над страхом. И как он переживал беззакония, творимые в мире, сжигающую ум и сердце судьбу современного еврейства. Его новое небо и новая земля.

ЭПИЛОГ

...Прошло несколько лет, и Давид Вилковский опять, еще раз вернулся к своей "Хронике улицы Архипова".

**ГОРБАЧЕВ! ПЕРЕСТРОЙКА! ГЛАСНОСТЬ!
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ! СВОБОДА ЕВРЕЙ-
СКОЙ ЭМИГРАЦИИ! НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ!**

Стремясь понять, что же происходит, Давид Вилковский отправился на хорошо знакомую московскую улицу. Что же он там увидел?

Пора великих перемен началась на Архипова с приметы, которую многие и не заметили, но Вилковский вспомнил, что писал о ней уже в своей "Хронике": передвижной столб ГАИ на углу Солянки переставили на новое место.

В очередной еврейский Новый год столб неожиданно установили так, чтобы он запер въезд на Архипова. Милиционеры и дружинники сразу же оказались ненужными, на синагогальной улице воцарился полный порядок. И Вилковский вспомнил слова, которые он однажды слышал здесь же, из уст одного пожилого еврея, одного из тех, кого опыт научил постигать то, что до поры до времени было не приметно для других.

— Ле-шоне тове, евреи! — сказал тот пожилой человек. — Дэрлэбт ибер а юр!⁸¹ Не сомневайтесь, что дорожный знак ГАИ, который теперь нарочно направляет машины на Архипова, чтобы поме-

шать евреям собираться у синагоги, в один прекрасный день будет стоять так, чтобы не допускать проезда мимо синагоги. Он будет защищать евреев. Понимаете? Защищать! И это будет тот же самый столб...

Случилось и многое другое. Медленно, тяжело, нехотя, как говорится, со скрипом, начала затихать борьба с еврейской эмиграцией.

Неужто атомная держава и в самом деле осознала, что свобода выезда евреев не угрожает ей крахом и распадом?

— Поживем — увидим! — говорили скептики и осторожные оптимисты.

Давид Вилковский не принадлежал ни к тем, ни к другим.

Он видел, что все происходящее рождает нестерпимо счастливое волнение, но в то же время нередко провоцирует прямо противоположные чувства. В жизни советских евреев многое быстро менялось, но многое оставалось без изменений.

Что же менялось и что оставалось без изменений?

Наблюдая за бурным каскадом реформ, перемен, трансформаций, начавшихся после объявления перестройки, Вилковский очень скоро понял, что ему не следует о них судить по тому, какое влияние они оказывают на его собственную жизнь. Человек подвластен времени, а начавшееся время перестройки не совпадает с его личным временем — последнее уже приблизилось к черте, за которой было бы неразумно ожидать дальнейших перемен. С этим пора смириться.

Однако существует и другое, не личное время — например, время судьбы народа. То, что теперь происходило, следовало измерять именно этим временем. И Вилковский понял, что в громаде времени, отпущенного еврейскому народу, все, чему он стал теперь свидетелем, следует рассматри-

вать как единое событие исторического масштаба — исход евреев из России.

”Хроника улицы Архипова” отразила лишь подготовку к этому событию. Теперь обнажилась его суть. Подобно тому, как тысячи потоков и ручейков, рожденных единым подземным потоком, неизбежно соединяются и образуют реку, так и события, происходившие на протяжении многих лет с советскими евреями, все, что они испытали, осознали и усвоили, теперь соединилось и родило единое, порой неосознанное, но тем более неостановимое стремление покинуть Россию. И точно так же, как природная река бывает то узка, то широка, то быстра, то тиха, а иногда она и вовсе не видна, уходя вся в подпочву, но позднее опять неизбежно появляется на поверхности, так и еврейская эмиграция из России долго пробивала себе дорогу, то набирала силу, то затухала, но это была одна река, которая в конце концов вышла из берегов, и остановить ее уже было нельзя. Тем более нельзя было не видеть, не признавать, что тут нет случайности, что все происходит закономерно, неотвратно.

В потоке эмиграции были очень разные люди, и далеко не все они ощущали свою национальную общность, не всех волновала судьба Израиля. Большинство уезжающих устремлялось в Америку. Но когда американская дверь стала закрываться, ни один человек не забрал своих бумаг из ОВИРа. Вот тогда-то и выяснилось окончательно, что суть явления не в поиске более спокойной и сытой жизни, не в жажде что-то получить, что происходит не обычная эмиграция, а именно исход, конец одной эпохи и начало другой, рожденной единой глубинной причиной, несущей в себе единство происхождения и единство цели.

...На улице Архипова в дни больших еврейских праздников по-прежнему собирались толпы мо-

сковских евреев. Они выстаивали часами на улице, в синагоге все равно не нашлось бы места для всех. Дом с колоннами на горбатой московской улочке давно уже перестал быть только синагогой. Он стал островом той новой земли, в которую московские евреи стремились попасть. На этом маленьком островке можно было встретить самых разных людей, услышать самые разные и в то же время почти одинаковые истории. Тут даже в случайных и мимолетных разговорах просвечивал единый оттенок, единая краска, единый смысл. На первый взгляд казалось, что на Архипова преобладает вопрос: ехать — не ехать? На самом же деле вопрос был чисто риторический, в нем заключался однозначный ответ.

— Вот это как раз и есть классическая ситуация при социализме: уехать нельзя, оставаться тоже нельзя. Полный порядок. Приедем дадут прописку только, если он нашел работу. А на работу его не берут, потому что у него нет прописки. Абсолютный тупик. Входа нет — выхода нет. Как тут не захотеть пробить ход, выбить дверь и оказаться вне этого пространства?

— Других причин вы не видите?

— Почему же, вижу то, что все видят. Надоело жить, гадая день за днем, какой сегодня обнаружится дефицит — опять мыло или папиросы? А может быть, лезвия для бритвы?

— Вряд ли человек готов сорваться с насиженного места, перечеркнуть всю свою прошлую жизнь только из-за того, что не смог приобрести моющего порошка.

— Ну, это не все, конечно. Тут еще рост оголтелого антисемитизма. Вот послушайте. Как говорится, наблюдение из жизни. Во время выборов на съезд народных депутатов я случайно слышал разговор двух женщин на автобусной остановке. Одна, помоложе, спрашивала другую, постарше,

будет ли та голосовать за Медведева, историка. Старуха ответила: "Боюсь я голосовать за Медведева, говорят, он сионист". Я, конечно, не удержался и спросил старуху, что такое "сионист". Разумеется, она толком ничего не знала. Она сказала, что в доме, где она живет, проживают и евреи. Они люди как люди, зла от них она не видела. Но вот сионисты. Их она никогда в глаза не видела, но потому-то они и кажутся ей сверхопасными. В средние века была вера в козни чертей и ведьм. Но можно ли сравнить это с суевериями, которые пропагандируют современное телевидение, печать? Московскую старуху всю жизнь пугали империалистами, троцкистами, а последние тридцать лет сионистами. Все это крепко засело в сознании многих, очень многих. Один мой знакомый слышал в подмосковной электричке и нечто похуже, чем подозрение, что историк Медведев сионист. Мой знакомый слушал, как, рассуждая о евреях и сионистах, один подмосковный алкаш вдруг сказал: "Недавно передавали по телевидению, что у нас уже есть полторы тысячи человек, зараженных СПИДом, но через два года будет вдвое больше. А откуда они заранее знают? — спрашивал тот алкаш. — Значит, заражают? То-то и оно...". Понимаете? Почти сорок лет после раскрытия Сталиным кошмарного заговора еврейских врачей, "убийц в белых халатах", такой же заговор готов раскрыть каждый подмосковный пьяница. Что вы на это скажете?

...Феномен "Памяти". Именно феномен, а не организация, не движение или "фронт", как часто сами себя называли эти не столь уж многочисленные группы под предводительством мелких вожаков, люто ненавидящих друг друга. Но опасность и значение феномена организационного оформления нового русского фашизма не измеряется количеством фашистов. Ячейки "Памяти" выскочи-

ли, как прыщи на теле больного общества, уже давно зараженного бактериями фашизма, именно тогда, когда была предпринята попытка его лечить. "Память" дала о себе знать вскоре после начала перестройки. Множество болезней выплеснулось наружу вместе с перестройкой. Почему?

"Смотрите, какая драма разворачивается!" — воскликнул однажды человек, которого считают инициатором перестройки: М. С. Горбачев.

Разве могло быть иначе? Перестройка не могла не стать драмой в обществе, вся история которого — сплошная цепь драм, катаклизмов, трагедий. Весь путь "строительства социализма", начиная с самой Октябрьской революции, был драмой, которая повязала кровью и насилием миллионы людей. "Новый человек", которого пестовало насилие, пропаганда лжи, жестокость, двойная мораль, вседозволенность, мог ли быть "новым", а не повторением худшего типа человека прошлого? Революция не одолела ветхого Адама, скорее он сам одолел революционную утопию и приспособил ее к себе. Эта взаимная борьба и приспособление ни для кого не прошли даром.

...В московском "Гайд-парке" на площади Пушкина Давид Вилковский, который, проходя по площади, всегда останавливался, чтобы послушать, о чем толкует "народ", среди толкавшихся там людей заметил однажды молодого человека с грубым одутловатым лицом, который явно не слушал стоявших рядом с ним спорщиков, но время от времени вмешивался в их разговор и громко изрекал одну и ту же фразу: "Ясно, товарищи, — сионизм!". Кто-то обернулся к нему и спросил: "Это вы о чем?" — "О сионизме". — "Мы говорим о частной собственности". — "Она тоже у них. Они поставили цель — к двухтысячному году сосредоточить в своих руках семьдесят пять процентов всех мировых капиталов. Сейчас они

уже приближаются к семидесяти”. — “Откуда вы это взяли? Где это напечатано?” — “Станут они такое печатать. Но это точно. Не сомневайтесь”.

В дальнейшем разговоре, когда кто-то упомянул Чернобыль, тот же молодой человек опять изрек: “Ясное дело — сионизм!”. И добавил: “Они не только АЭС строили вредительски. Знаете ли вы, что центральные станции московского метро построены с таким расчетом, что, если их взорвать, рухнут и стоящие над ними правительственные здания? Кто строил? Каганович. Ясно, товарищи?” — “Ничего не ясно. Каганович, когда строил, сам был правительство. Зачем ему понадобилось, чтобы рухнули правительственные здания?” — “Не будьте наивны. Это теперь всем известно”. — “Кому всем?” — “Всем русским людям. Ясно, товарищи?”

О, эта потребность в ясности и простых ответах на мучительно запутанные вопросы, которые выплеснули наружу приливы и отливы перестройки! Могло ли дело обойтись без традиционного козла отпущения — еврея?

Евреи на протяжении веков были зеркалом, в котором отражались все болезни общества и государства, где они жили. Антисемитизм порождался физиологической потребностью как-то объяснить пороки общества, систем, идей. Трагическая роль евреев, на которых можно свалить все беды, все зло жизни, не могла кончиться из-за того, что началась перестройка общества. Напротив — вместе с перестройкой начался лишь новый этап, новый акт старой драмы. Козел отпущения понадобился и противникам, и даже сторонникам перестройки.

Из разговоров на улице Архипова. Тут можно было все pro и contra услышать.

— Вы уезжаете потому, что не верите в продолжение перестройки?

— Как раз наоборот: я уезжаю, потому что знаю — она будет продолжаться. Она не может не продолжаться. Но совершенно очевидно, что она тоже окажется историческим катаклизмом. Может быть, последним в серии, начавшейся в семнадцатом году, завершающим, но все же как катаклизмом. Сумгаит, Карабах, Фергана — это лишь первые искры. В недрах общества разгорается огонь. Когда он прорвется наружу, произойдет взрыв. Но где вы видели взрыв, который не опалил бы случившихся поблизости евреев? А у меня два внука. И вот я, чувствуя жар, видя дым и искры — могу я закрыть глаза, заткнуть уши и не думать о своих внуках?

Последние страницы "Хроники улицы Архипова".

Запись увиденного и услышанного на великом пути исхода, на его причудливых станциях, остановках: Колпачный переулочек — московский ОВИР; Большая Ордынка — голландское консульство — Израильское представительство; Проезд Художественного театра — венгерская авиакомпания МАЛЕВ; Фрунзенская набережная — АЭРОФЛОТ; Будапештский аэропорт Малев-2. И, наконец, последняя остановка — приземление в израильском аэропорту Лод.

Своих попутчиков Давид Вилковский впервые увидел на Ордынке, в просторном дворе голландского посольства, отданного в аренду израильской консульской группе, которая выдавала здесь визы в Израиль. Каждое утро в этом дворе собиралась громадная толпа. Боже, какое разнообразие лиц и типов царило на этом дворе: чернобородые азиатские евреи, горбоносые грузины, прибалтийцы, бессарабцы, голубоглазые украинские еврейки и смуглоликие, обожженные солнцем караимки. По двору бегали и шалили курчавые,

смуглые дети, а рядом — белоголовые, сероглазые.

Толпу можно было поделить на два потока: уезжающие навсегда и те, кто ехали посмотреть, разведать, увидеть своими глазами, другими словами, в гости к своим родным и знакомым. Еще год тому назад этого бы никто себе и представить не мог.

В Будапеште надо было пересесть на другой самолет. Посадка на израильский рейс в плохо освещенном, сонном будапештском аэропорту Малев-2 производилась в полночь. Венгерский самолет, идущий в Израиль, вовсе не был венгерским, а старым, уже довольно обшарпанным ТУ-154, тесным и душным, с задраенными иллюминаторами. Самое тягостное было то, что, несмотря на шум мотора и крупную дрожь фюзеляжа, самолет казался неподвижным, потому что после взлета он немедленно окунулся в сплошную мглу. Сидящие поближе к окнам откинули занавески, но ничего не увидели — ни земли, ни звезд, ни единого огонька.

Ночной полет тянулся мучительно долго. Полтора часа пассажиров, сидя на откидных креслах, пытались задремать, измученные почти суточным пребыванием в Будапеште без пристанища и денег. Их не оживил даже ужин с тремя сортами ветчины и пивом, весьма отличавшийся от норм Аэрофлота. Еще так недавно, на московском дворе на Ордынке, эти люди шумно разговаривали, смеялись, но теперь все молчали. Молчание царило в самолете. Может быть, его пассажиры только теперь ощутили всю громадность и непоправимость своего поступка — этого ночного прыжка в другой мир, в другую жизнь?

Давид Вилковский смотрел на своих ближайших соседей, с которыми он еще не обменялся ни единым словом. Молодая чета. Он — черный до

синева брюнет, она — тоже брюнетка, красивая, с миндалевидными голубыми глазами. Молодой человек то и дело посматривал на часы, по-видимому, он испытывал то же тягостное ощущение, которое мучило Вилковского. Неужели полет никогда не кончится, и этот самолет, ползущий по ночи как бы на ощупь, как слепой, уже не вырвется из мглы, закупоренные в нем люди уже никогда не увидят рассвета и неведомую, непредставимую страну Израиль?

Когда стрелки часов как будто совсем перестали двигаться, сосед Вилковского, заросший черными волосами брюнет, слегка дотронувшись до его плеча, показал на зажегшееся впереди табло, которое предупреждало, что пора пристегнуть ремни, и прошептал тихо, как молитву:

— Тель-Авив!

Прильнув к иллюминатору, Вилковский увидел в нем ночь, как бы принявшую облик черного экрана, по которому двигались беспорядочные световые сигналы и прожектора. Неужели эти огни, плавающие там, внизу, на страшной глубине, — это и есть Тель-Авив, Израиль?

Спустившись по трапу самолета, он шагнул в тепло душной тель-авивской ночи, но в ярко освещенном, похожем на цветной шатер здании аэропорта он опять почувствовал прохладу, по-видимому, здесь был "кондишен". Его это не занимало. Он не обращал внимания на все, что его окружало, ему казалось, что здесь можно увидеть лишь то, что видишь в любом международном аэропорту, и только покинув аэропорт, он, наконец, увидит подлинный лик Израиля.

Однако, когда паспортные и таможенные процедуры были закончены, и Давид Вилковский, следуя за другими пассажирами, толкавшими перед собой тележки с багажом, направился к выходу и опять окунулся в тепло южной ночи, он снова

увидел своих соотечественников и попутчиков, их встречу с людьми, приехавшими в аэропорт их встречать. Он увидел неожиданную, удивительную сцену, которая взволновала его до глубины души.

Теплая, почти тропическая тель-авивская ночь. Где-то звенят цикады. Площадка у выхода из аэропорта, залитая желтым светом мощных светильников. Она как бы разделена на две части невысоким деревянным барьером. По одну сторону вдоль него медленно движутся покидающие аэропорт пассажиры, по другую тесно стоят встречающие. И те, и другие пристально вглядываются друг в друга. Вилковский почти физически ощутил устремленные на него взоры десятков людей и сразу понял, что здесь происходит.

Что-то непередаваемо трогательное было в этом молчаливом шествии вновь прибывших, в застывших улыбках и широко раскрытых глазах встречающих. Евреи, уехавшие из Советского Союза в семидесятых или еще раньше, простились с оставшимися там родными и близкими навсегда. Кто мог тогда думать, что в конце восьмидесятых можно будет поехать в Израиль в гости? Но вот, разлученные навеки встречаются вновь. Разлука длилась, однако, так долго, что многие уже и не надеются узнать близких. Поэтому они и впиваются глазами друг в друга, ищут знакомые черты, задают друг другу немой вопрос: это ты? Время от времени кто-то выкрикивает эти слова, и происходит короткое замешательство: два человека, разделенные перилами барьера, кидаются в объятия друг друга. После некоторой заминки молчаливое шествие продолжается.

Глядя на все это, Вилковский вдруг вспомнил своего меламеда Нахмана, большого фантазера и отличного рассказчика, который тысячу лет то-

му назад рассказывал еврейским детям из придунайского местечка, как это будет, когда затрубит большой шофар и начнется чудо воскрешения из мертвых — *тхиас амэйсим*. Вот для этих людей чудо уже совершилось: они встречают своих братьев и сестер, матерей и отцов, прибывших оттуда, с другого света. Вилковский понимал, что должны сейчас чувствовать эти люди. Он и сам ощущал их волнение. Он вспоминал, что, сообщая двоюродным братьям из Тель-Авива о своем приезде, он просил их не приезжать в аэропорт — он не хотел, чтобы они не спали ночь. К тому же опасался, что может их не узнать в толпе, ведь они так давно не виделись, почти целая жизнь прошла с тех пор. Но теперь ему вдруг захотелось, чтобы они его не послушали и оказались здесь. Захотелось почувствовать, что он тоже вернулся домой, к своим.

Эта встреча в тель-авивском аэропорту придавала окончательный смысл всему, что пережил, передумал и понял Давид Вилковский с того памятного вечера, когда он впервые пришел в московскую синагогу на улице Архипова в канун Судного дня. И Вилковский подумал: покидая самолет, я жаждал поскорее увидеть незнакомый лик Израиля. Вот я его и увидел. То, что я вижу теперь, в три часа ночи в тель-авивском аэропорту, мне знакомо и понятно... Но это ведь и есть Израиль, его живой, пронзительно-радостный, чудный лик.

...Когда же он в последующие дни увидел землю Израиля и объездил ее от Средиземного до Красного и Мертвого моря, а потом и до Киннерета — моря Галилейского, от ливанской границы до границы Синайского полуострова, когда он увидел сады и пашни, виноградники и плантации Израиля, Саронскую долину и Иордан, Галилею и Негев, Беер-Шеву и Цфат, Хайфу и Нетанию, Тель-

Авив и Иерусалим, когда он ощутил всю уникальность и неповторимость этой страны, контрасты ее природы, необычность ее дорог, проложенных не только в пространстве, но как бы и во времени, когда, глядя на все, что тут видят глаза, он ощутил и невидимый Израиль, когда почувствовал себя окруженным библейскими героями, которые возникали в памяти и воображении за каждым поворотом каждой дороги, он буквально опьянел от света, от блеска зелени, песков и вод, и открыв однажды Библию, которую повсюду возил с собой как вернейший путеводитель, прочитал:

”Взойди на гору сию, на гору Нево, что в земле Моавитской против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложишь к народу твоему”.

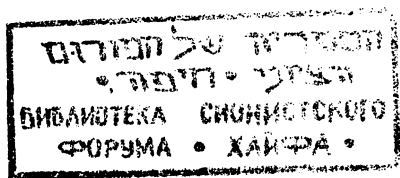
Так говорил Бог Моисею накануне вступления евреев в Ханаан.

С того места, где находился в этот момент Вилковский, нельзя было разглядеть вершину Нево, она сливалась с другими вершинами, но Давид знал, что она там, в таинственном Моавитском краю. Почему Бог только показал Моисею издалека Страну обетованную и предупредил его, что он туда не войдет? Моисей вел по пустыне евреев долгих сорок лет, чтобы вымерло поколение, вышедшее из Египта и в землю Ханаанскую вошли люди свободные, не знавшие рабства. Но и сам Моисей туда не вошел. Никому, даже Моисею, не дано увидеть ни завершения своих дел, ни их последствий?

Бог не только дает человеку жизнь, но и возлагает на него определенный долг. Однако их немало, тех, кто проживают свою жизнь, не думая о долге, часто люди о нем ничего не знают, даже не догадываются. Глядя на покрытый вечерними тенями Моав, на обрывы и камни, зеленые поля

и леса Израиля, Давид Вилковский подумал, что он к этим людям не принадлежит. Он счастливый человек. В этом таинственном и непостижимом мире ему все же открылся смысл и долг его жизни.

Москва — Иерусалим, 1967 — 1990



2846

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ **Иом-Киппур** (ивр.; в русской традиции Судный день) — букв. "День прощения" — наиболее важный день еврейского литургического календаря, день поста, покаяния и отпущения грехов.
Кол-Нидре (ивр., букв. "все обеты") — название (по первым словам) молитвы, читаемой в синагоге в начале вечерней литургии Судного дня.
- ² **Бет-мидраш** (ивр.) — букв. "дом ученья"; место изучения Закона, в особенности Мишны, Талмуда и послеталмудической литературы.
- ³ **Талмуд** — основная книга еврейских законов, законченная к V в. н.э., содержащая правовые нормы иудаизма, устные предания, научные сведения и т.д. В Талмуд входят **Мишна** (собственно текст) и **Гемара** (комментарии).
- ⁴ **Танах** — еврейское название Библии, аббревиатура слов "Тора" ("Пятикнижие"), "Невиим" ("Пророки"), "Ктувим" ("Писания"), являющихся названиями трех основных разделов Библии.
- ⁵ **Шулхан Арух** (ивр.) — букв. "накрытый стол"; монументальный труд ученого Иосефа Каро (1488 — 1575), изданный в Цфате (1552); религиозно-правовой свод, оказавший огромное влияние на образ жизни евреев во всех странах.
- ⁶ **Меламед** (идиш) — учитель в еврейской религиозной начальной школе.

- 7 **Хедер** (ивр.) — букв. "комната"; начальная еврейская религиозная школа.
- 8 **Шамес** (идиш) — синагогальный служака.
- 9 *Ламдн* — "ученый" (идиш).
- 10 **Сарра** — жена праотца Авраама.
- 11 *Ингале* — "мальчик" (идиш).
- 12 *Кэн* — "да" (ивр.).
- 13 **Раши** — аббревиатура имени рабби Шломо Ицхаки (1040 — 1105), знаменитого комментатора Библии и Талмуда.
- 14 **Диббук** (ивр.) — букв. "прилепление", в народных поверьях — злой дух, который вселяется в человека, овладевает его душой, причиняет душевный недуг, говорит устами своей жертвы, но не сливается с ней, сохраняя самостоятельность.
- 15 Книга Сола Беллоу "Планета мистера Сэмлера" вышла в русском переводе в издательстве "Библиотека-Алия" (1978 г.).
- 16 **Нюрнбергские законы** — два антиеврейских законодательных акта — "Закон о гражданстве Рейха" и "Закон об охране германской крови и германской чести", провозглашенные по инициативе Гитлера 15 сентября 1935 г. на съезде национал-социалистической партии и единогласно принятые сессией Рейхстага.
- 17 **Талес** (идиш; ивр. — таллит) — прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти или шелка с черными или синими полосами вдоль коротких сторон и с *цицийот* (особыми кистями) по краям.
- 18 Автор стихотворения "Союз" — С.И.Липкин.

- 19 **Стена плача** (Западная стена) — часть уцелевшей после разрушения Второго храма (70 г. н.э.) подпорной стены вокруг Храмовой горы в Иерусалиме; величайшая еврейская святыня.
- 20 **”Джойнт”** (Американский объединенный еврейский комитет по распределению фондов) — организация, оказывающая помощь евреям, пострадавшим от войны, малообеспеченным и престарелым. ”Джойнт” также субсидирует проведение в Израиле программ здравоохранения, образования и социальной помощи. Организация основана в 1914 г.
- 21 **Шалом Аш** (1880 — 1957) — всемирно известный еврейский писатель и драматург.
- 22 **Цуйка** — сорт румынской водки.
- 23 **ГУМ** (Государственный универсальный магазин) — крупнейший московский универмаг: был в течение длительного времени закрыт.
- 24 **Семисвечник** (менора) — один из культовых атрибутов Иерусалимского Храма; традиционный символ иудаизма; основной элемент герба государства Израиль.
- 25 **Лейб Квитко** (1890 или 1893 — 1952) и **Ицик Фефер** (1900 — 1952) — еврейские поэты, писавшие на идише; расстреляны 12 августа 1952 г.
- 26 **Шломо Михозлс** (С. М. Вовси; 1890 — 1948) — актер, режиссер, глава Еврейского антифашистского комитета. В 1952 г. (посмертно) был объявлен агентом ”Джойнта”, реабилитирован после разоблачения культа личности Сталина.
- 27 **Шмуэль Галкин** (1897 — 1960) — поэт и драматург, писавший на идише; в 1950 г. был арестован, но вследствие инфаркта попал в тюремную больницу и таким образом избежал расстрела; был освобожден в 1955 г., а затем реабилитирован.

- 28 **Марраны** — в средние века евреи Испании и Португалии, принужденные принять христианство, однако продолжавшие тайно исповедовать иудаизм, что в случае обнаружения грозило им жестокими, вплоть до смертной казни, преследованиями со стороны властей и церкви.
- 29 **Альфред Дрейфус** (1859 — 1935) — офицер французской армии, еврей; в 1894 г. был привлечен к суду по ложному обвинению в шпионаже в пользу Германии и под давлением антисемитски настроенных кругов признан виновным. Дело Дрейфуса, вызвавшее огромный общественный резонанс, было пересмотрено и завершилось в 1906 г. его полным оправданием.
- 30 **Каддиш** — славословие Богу, читаемое в ходе литургии, а также на похоронах.
- 31 **Мизрах** (ивр.) — букв. "восток"; восточная (обращенная к Иерусалиму) стена синагоги, возле которой находится *арон-ха-кодеш* (ивр.) — шкаф, где хранятся свитки Торы.
- 32 **Кантор** (идиш; ивр. — хаззан) — лицо, ведущее синагогальное богослужение.
- 33 **Перец Маркиш** (1895 — 1952) — еврейский поэт, романист и драматург; считается классиком эпической поэзии на идише. На гражданской панихиде по Ш. Михозлсу (1948 г.) П. Маркиш прочел свое стихотворение, где гибель Михозлса была названа убийством. 27 января 1949 г. П. Маркиш был арестован и 12 августа 1952 г. расстрелян вместе с другими деятелями еврейской культуры в СССР.
- 34 **Алия** (ивр.) — букв. "восхождение", переселение евреев в Эрец-Исраэль на постоянное жительство; название групп евреев, прибывавших в Эрец-Исраэль (позднее — в Израиль) в разные периоды.
- 35 *Юденфрай* (нем.) — "свободный от евреев".

- 36 **Эндлезунг** (нем.) — букв. "окончательное решение"; нацистский термин, означавший "окончательное решение еврейского вопроса".
Холокост (англ.) — букв. "разрушение, гибель в огне, резня"; так называют Катастрофу европейского еврейства в период Второй мировой войны.
- 37 **Малех амовес** (идиш) — "ангел смерти".
- 38 "Нумерус клаузуз" (лат.) — "конечное число".
"Нумерус нулус" (лат.) — "нулевое число".
- 39 **Седер** (ивр.) — букв. "порядок, установление"; торжественная трапеза в первый вечер (вне Эрец-Израэль — в первые два вечера) праздника Песах, увековечивающего память об Исходе евреев из Египта (15в. до н.э.) и освобождении от рабства.
- 40 **Бал-чуво** (идиш; ивр. — баал-тшува) — букв. "возвращающийся, раскаявшийся"; человек, обратившийся в лоно иудаизма.
- 41 **Евсекция** — название еврейских коммунистических секций РКП(б), созданных в 1918 г. наряду с другими национальными секциями. Задачами Евсекции были: содействие трудоустройству обнищавших еврейских масс, их коммунистическое воспитание, борьба против сионизма, а также развитие культуры и общественной жизни на идише. Последнее направление оказалось несовместимым с форсированной ассимиляцией еврейства, вследствие чего Евсекция была распущена, а ее активисты подверглись в 30-е годы репрессиям.
- 42 **Симхат-Тора** (ивр.) — букв. "радость Торы"; праздник, знаменующий завершение годовичного цикла чтения Торы и начало нового цикла.
- 43 **ОСО** — Особое совещание; так называемая "тройка", выносившая заочные приговоры без законной судебной процедуры.

44 **Ешиботник** — учащийся ешибота. Ешибот, или ие-шива (ивр.) — букв. "сидение", "заседание"; высшее религиозное учебное заведение, предназначенное, главным образом, для изучения Талмуда.

45 **Галаха** (арамейск.) — букв. "принятый путь", "закон"; нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь верующего еврея; в более узком смысле — совокупность законов, содержащихся в Торе, Талмуде и последующей раввинистической литературе.

Тфиллин (филактерии) — кожаные коробочки с отрывками из священных книг, которые евреи накладывают на левую руку и на лоб во время утренней молитвы в будни.

"Шма, Исраэль!" (ивр.) — букв. "Слушай, Израиль!" — начальные слова молитвы, в которой утверждается принцип монотеизма — основной принцип иудаизма. Эту молитву религиозные евреи читают два раза в день — утром и вечером, а также произносят в минуту смертельной опасности.

46 Согласно Библии, на горе Синай Бог даровал еврейскому народу Тору.

47 **Каббала** (ивр., букв. "полученное [по преданию] учение") — еврейская религиозно-мистическая доктрина, начавшая распространяться с 13 в.

Хасидизм (от ивр. "хасид" — "благочестивый") — религиозно-мистическое народное движение в иудаизме, возникшее во второй четверти 18 века среди евреев Украины и распространившееся впоследствии по всему миру.

Иосеф Каро — см. прим. 5.

Моисей Маймонид (Моше бен Маймон, или Рамбам; 1135 — 1204) — выдающийся еврейский философ, теолог и комментатор Талмуда, прозванный "вторым Моисеем"; в своей рационалистической интерпретации иудаизма опирался на учение Аристотеля.

Виленский гаон (ивр., букв. "гений") — почетное имя Залмана Элияху бен-Шломо (1720 — 1794), круп-

нейшего религиозного деятеля и духовного вождя еврейства.

Бешт — аббревиатура имени Баал-Шем-Тов (ок. 1700 — 1760), основателя хасидизма.

- 48 **Моше-рабейну** (ивр.) — "Моше, наш учитель"; величайший еврейский пророк, который вывел народ Израиля из египетского плена и получил от Всевышнего Тору на горе Синай.
- 49 **Иосеф Трумпельдор** (1880 — 1920) — выдающийся деятель сионистского движения. В период Первой мировой войны организовал первое еврейское боевое соединение в составе британской армии, носившее название "Отряд погонщиков мулов". В 1920 г. Трумпельдор вместе с несколькими товарищами героически погиб при защите поселения Тель-Хай от нападения арабов.
- 50 **Халуцианское движение** (от "халуц" — "пионер, первопроходец", ивр.) — активное заселение и освоение евреями Эрец-Исраэль; началось в конце XIX века.
- 51 **Давид Бен-Гурион** (1886 — 1973) — лидер еврейского рабочего движения в Эрец-Исраэль, первый премьер-министр Израиля. См. о нем: *М. Бар-Зохар*. Бен-Гурион. Изд-во "Библиотека-Алия", 1985.
- Ицхак Бен-Цви** (1884 — 1963) — один из руководителей рабочего движения в Эрец-Исраэль, второй президент Израиля (1952 — 1963).
- Моше Шарет** (1894 — 1965) — израильский государственный деятель, первый министр иностранных дел, в 1954 — 1955 гг. премьер-министр Израиля.
- Левн Эшкол** (1895 — 1969) — третий премьер-министр (1963 — 1969) Израиля.
- Голда Меир** (1898 — 1978) — деятельница сионистского движения; премьер-министр (1969 — 1974) Израиля. См. о ней: *Голда Меир*. Моя жизнь. Изд-во "Библиотека-Алия", 1984.
- Пинхас Рутенберг** (1879 — 1942) — инженер и политический деятель. Участвовал в российском революционном движении, после революции 1905 г.

эмигрировал и в годы Первой мировой войны вместе с В. Жаботинским создал Еврейский легион, сражавшийся в составе Британской армии. В 1917 г. вернулся в Россию и при Временном правительстве был помощником губернатора Петрограда. В 1919 г. приехал в Эрец-Исраэль, организовывал еврейскую оборону в Иерусалиме и Тель-Авиве во время учиненных арабами кровавых беспорядков; в 1923 г. создал Электрическую компанию (Хеврат-хашмал), которая и поныне производит практически всю электроэнергию в Израиле.

Меир Дизенгоф (1861 — 1936) — сионистский деятель, один из основателей и первый мэр Тель-Авива.

Менахем-Мендель Усышкин (1863 — 1941) — один из руководителей сионистского движения, председатель правления Еврейского национального фонда.

Хаим Нахман Бялик (1873 — 1934) — крупнейший еврейский поэт нового времени.

Ахад-ха-Ам — букв. "один из народа" (ивр.); псевдоним философа и публициста Ашера Гирша Гинцберга (1856 — 1927). Его "Избранные сочинения" вышли в русском переводе в изд-ве "Библиотека-Алия" в 1974 г.

- 52 **ХИАС** — еврейская благотворительная организация, занимающаяся устройством еврейских иммигрантов в США.
- 53 **Хаггада** — традиционный свод благословений и других текстов, читаемый в ходе пасхального седера.
- 54 **Балагола** (идиш) — возница, извозчик.
- 55 **Миньян** (ивр.) — кворум (десять взрослых мужчин), необходимый для совершения публичного богослужения и ряда религиозных церемоний у евреев.
- 56 **Латкес** (идиш) — оладьи.
- 57 **Паволакый Крушеван** (1860 — 1909) — русский журналист, издатель газет "Бессарабец", "Друг" (в Кишиневе), затем "Знамя" (в Петербурге), где вел ярост-

ную антисемитскую пропаганду. В 1903 г. Пинхас Дашевский, мстя за погибших в Кишиневском погроме, совершил на подстрекателя резни Крушевана покушение, нанеся ему легкое ножевое ранение.

- 58 "Железная гвардия" — фашистская организация, возникшая в Румынии в 1931 г., находилась у власти в 1940 — 41 гг.
- 59 **Мечислав Мочар** (р. 1913 — ?) — польский политический деятель; в 1968 г., будучи министром внутренних дел Польши, развязал беспрецедентную антисемитскую кампанию.
- 60 Имеется в виду иерусалимский муфтий Хадж Амин ал-Хуссейни (1893 — 1974) — лидер арабских палестинских националистов.
- 61 **Жозеф Эрнест Ренан** (1823 — 1892) — французский писатель, историк и филолог-востоковед; автор трудов по истории христианства и еврейского народа.
- 62 **Маген-Давид** (ивр.) — букв. "щит Давида"; шестиконечная звезда, ставшая национальным символом еврейского народа.
- 63 Автор частушки И. Губерман, поэт и писатель, ныне живущий в Израиле.
- 64 **Иегуда Галеви** (Иехуда ха-Леви; 1075 — 1141) — крупнейший еврейский поэт средневековья. См. *Иегуда Галеви. Сердце мое на востоке*. Изд-во "Библиотека-Алия", 1976.
- 65 **Рахиль** — любимая жена праотца Иакова, одна из четырех (Сарра, Ревекка, Лия, Рахиль) праматерей еврейского народа, скончавшаяся при родах по дороге в Вифлеем (Бет-Лехем). Гробница Рахили является местом паломничества верующих.
- 66 *Рэбойнешелойлам* (в ашкеназийском произношении иврита); *Рибоно шел олам* (в современном ивритском

произношении) — "владыка мира".

- 67 **Хора** — еврейский групповой танец, популярный как в Израиле, так и в странах рассеяния.
- 68 **Галут** (ивр.) — букв. "изгнание"; вынужденное пребывание еврейского народа вне Эрец-Исраэль; в сходном значении употребляется термин "диаспора".
- 69 **"Юкл дер Мешугенер"** (идиш) — "Сумасшедший Юкл".
- 70 Имеется в виду судьба Л.Д.Троцкого (1879 — 1940), убитого по распоряжению Сталина.
- 71 **Навуходоносор** (ивр. Навухаднецар) — вавилонский царь, разрушивший в 586 г. до н.э. Первый храм.
- 72 **Киббуц** (ивр.) — буквально "скопление", "группа"; коммуна преимущественно сельского типа.
- 73 *А гут йом-тойв, а гут ер! Вос эрт зих ин штот?* (идиш) — "С праздником, с новым годом! Что нового в городе?"
- 74 *Гехант* (идиш) — "схватили".
Опгефирт (идиш) — "отвезли".
- 75 *Ир от геерт* (идиш) — "Вы слышали".
- 76 *А гут йом-тойв!* (идиш) — "Хорошего праздника!"
- 77 **Изкор** (ивр. Искер, Искойр — идиш) — букв. "помни"; начало и название поминальной молитвы.
- 78 **Шофар** (ивр.) — рог, обычно бараний, в который трубят в синагоге в Йом-Киппур и в некоторых других случаях.
- 79 *Гмор хсимо тойво!* (в ашкеназийском произношении иврита); *Гмар хатима това* (в современном

ивритском произношении) — ”Хорошей окончательной печати”; пожелание связано с представлением о том, что в Иом-Киппур Всевышний окончательно утверждает приговор, вынесенный человеку на Рош-ха-Шана (новый год).

- ⁸⁰ **Геулла** (ивр.) — избавление, спасение от зла, сопутствующего человеческому существованию; в Талмуде и многих позднейших произведениях религиозной литературы с понятием Геулла связывается представление об избавлении народа Израиля, о национальном освобождении.
- ⁸¹ *Ле-шоне тове, евреи... Дэрлэбт ибер а юр!* (идиш) — ”С Новым годом, евреи! Дай Бог пережить этот год!”

КНИГИ ИЗД-ВА "БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"

1. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 1
2. Леон Юрис. ЭКСОДУС. Книга 2
3. Д-р А. И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арье (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Ахарон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Аллон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш. Й. Агنون. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов

26. **Элиэзер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ**
27. **Тувия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН**
28. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 1**
29. **ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Книга 2**
30. **А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ**
31. **Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ**
32. **С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА**
33. **Р.Губер. КНИГА БРАТЬЕВ**
34. **ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. Географический очерк**
35. **Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА**
36. **И.Башевис-Зингер. РАБ**
37. **Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ**
38. **Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ**
39. **Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ**
40. **Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ**
41. **Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ**
42. **Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ**
43. **Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК**
44. **ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ**
45. **МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ. Сборник очерков**
46. **Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ**
47. **Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ**
48. **Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ**
49. **Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН**
50. **СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА**
51. **Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ**
52. **Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО**
53. **Давид Маркиш. ПРИСКАЗКА**
54. **МАКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в киббуцах**
55. **Джон Орбах. РИКША**
56. **Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА
СВОЮ СВОБОДУ**

57. **Исаак Бабель. ДЕТСТВО И ДРУГИЕ РАССКАЗЫ**
58. **Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1**
59. **Проф. И. Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2**
60. **Андре Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ**
61. **Эммануэль Литвинов. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ**
62. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ИЗБРАННОЕ**
63. **Мартин Бубер. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ**
64. **Макс И. Даймонт. ЕВРЕИ, БОГ И ИСТОРИЯ**
65. **Сол Беллоу. ПЛАНЕТА м-ра СЭММЛЕРА**
66. **ЕВРЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ И РЕЛИГИЯ. Сборник:**
И. Кауфман. Библейская эпоха
Л. Финжелстайн. Еврейская вера и претворение ее в жизнь
Ш. Эттингер. Корни современного антисемитизма
67. **А. Суцкевер. ЗЕЛЕНЫЙ АКВАРИУМ**
68. **АНТИСЕМИТИЗМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. Сборник**
69. **СКОПУС. Антология поэзии и прозы писателей-репатриантов из СССР**
70. **Ури Дан. ОПЕРАЦИЯ ЭНТЕББЕ**
71. **Моше Шамир. СВОИМИ РУКАМИ**
72. **Л. Коллинз и Д. Лапьер. О, ИЕРУСАЛИМ!**
73. **М. Новомейский. ОТ БАЙКАЛА ДО МЕРТВОГО МОРЯ**
74. **М. Гесс. РИМ И ИЕРУСАЛИМ**
75. **Ф. Кандель. ВРАТА ИСХОДА НАШЕГО**
76. **Ф. Баазова. ПРОКАЖЕННЫЕ**
77. **А. Шлионский. ГОРЫ ГИЛЬБОА**
78. **Иехуда Бурла. ПОХОЖДЕНИЯ АКАВЬИ**
79. **Х. Н. Бялиж и И. Х. Равницкий. АГАДА**
80. **ИСКУССТВО В ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ**
81. **ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ЕВРЕЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ:**
Б. Динур. Исторические основы возрождения Израиля
С. Дубнов. Письма о старом и новом еврействе

82. **ЕВРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПОЭЗИЯ
В ИСПАНИИ**
83. **Х. Бартов. ВЫДУМЩИК**
84. **Гилель Бутман. ЛЕНИНГРАД — ИЕРУСАЛИМ
С ДОЛГОЙ ПЕРЕСАДКОЙ**
85. **Жак Дерожи. ТАЙНА СУДНА "ЭКСОДУС-1947"**
86. **Цивья Любеткин. В ДНИ ГИБЕЛИ И ВОССТАНИЯ**
87. **М. Стейнберг. ОСНОВЫ ИУДАИЗМА**
88. **А. Кестлер. ВОРЫ В НОЧИ**
89. **Я СЕБЯ ДО КОНЦА РАССКАЗАЛА. Сборник стихов**
90. **Ада Серени. КОРАБЛИ БЕЗ ФЛАГОВ**
91. **Иехуда Атлас. ХОТЬ НА ВИСЕЛИЦУ**
92. **М. Стейнберг. КАК СОРВАНЫЙ ЛИСТ**
93. **Н. Полетика. ВИДЕННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ**
94. **Эли Визель. ЛЕГЕНДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ**
95. **Альбер Мемми. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРЕЯ**
96. **Шломо Авинери. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В ЕВРЕЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**
97. **МЫ НАЧИНАЛИ ЕЩЕ В РОССИИ. Воспоминания**
98. **Хаим Градэ. АГУНА (БЕЗМУЖНЯЯ ЖЕНА)**
99. **Луи Финкелстайн. РАББИ АКИВА**
100. **Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 1**
101. **Хаим Вейцман. В ПОИСКАХ ПУТИ. Книга 2**
102. **Муны М. Мардор. СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ**
103. **Фелжкс Розинер. СЕРЕБРЯНАЯ ЦЕПОЧКА**
104. **Владимир Лазарис. МОЯ ПЕРВАЯ ВОЙНА**
105. **Михазль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 1**
106. **Михазль Бар-Зохар. БЕН-ГУРИОН. Биография. Книга 2**
107. **ИВРИТ — ЯЗЫК ВОЗРОЖДЕННЫЙ. Сборник статей**
108. **Ахарон Аппельфельд. ПОРА ЧУДЕС**
109. **Гилель Бутман. ВРЕМЯ МОЛЧАТЬ И ВРЕМЯ
ГОВОРИТЬ**
110. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 1**

111. **Голда Меир. МОЯ ЖИЗНЬ. Книга 2**
112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 1**
112. **Василий Гроссман. НА ЕВРЕЙСКИЕ ТЕМЫ. Книга 2**
113. **В ОТКАЗЕ. Сборник**
114. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 1**
115. **Гершом Шолем. ОСНОВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ЕВРЕЙСКОЙ МИСТИКЕ. Книга 2**
116. **Эфраим Урбах. МУДРЕЦЫ ТАЛМУДА**
117. **В ПОИСКАХ ЛИЧНОСТИ. Сборник рассказов современных израильских писателей**
118. **Владимир (Зеев) Жаботинский. ПОВЕСТЬ МОИХ ДНЕЙ. Воспоминания**
119. **Оскар Минц. ПРИЗМЫ**
120. **Игал Аллон. ЩИТ ДАВИДА**
121. **Моше Даян. ЖИТЬ С БИБЛИЕЙ**
122. **Иерухам Кохен. ВСЕГДА В СТРОЮ. Записки израильского офицера**
123. **Израэль Таяр. СИНАГОГА — РАЗГРОМЛЕННАЯ, НО НЕПОКОРЕННАЯ**
124. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 1**
125. **Виталий Рубин. ДНЕВНИКИ. ПИСЬМА. Книга 2**
126. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 1**
127. **Анита Шапира. БЕРЛ. Книга 2**
128. **Хаим Гвати. КИББУЦ: ТАК МЫ ЖИВЕМ**
129. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 1**
130. **Виктория Левитина. РУССКИЙ ТЕАТР И ЕВРЕИ. Книга 2**
131. **Януш Корчак. ИЗБРАННОЕ**
132. **Ашер Бараш. ИСТОРИЧЕСКИЕ НОВЕЛЛЫ**
133. **Ицхак Орен (Надель). МОЯ КАМЕНОЛОМНЯ**
134. **Андрэ Неер. КЛЮЧИ К ИУДАИЗМУ**
135. **Ицхак Зив-Ав. ГОВОРЯТ, ЕСТЬ СТРАНА...**
136. **Эрбер Ле Поррье. ВРАЧ ИЗ КОРДОВЫ**

137. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 1
138. ГОСУДАРСТВО ИЗРАИЛЬ. Становление и развитие.
Книга 2
139. ИЗРАИЛЬ. Географический справочник
140. Шломо Гилель. С ВЕТРОМ ВОСТОКА
141. М.Бейзер. ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ
142. Абба Ковнер. КНИГА СВИДЕТЕЛЬСТВ
143. Авигдор Шинан. МИР АГГАДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
144. Давид Роскес. ВОПРЕКИ АПОКАЛИПСИСУ
145. Томас Манн. О НЕМЦАХ И ЕВРЕЯХ
146. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 1
147. Рамбам (Маймонид). ИЗБРАННОЕ. Книга 2
148. И. Ахарони, Б.Ротенберг. ПО СЛЕДАМ
ЦАРЕЙ И БУНТАРЕЙ
149. И. Гутман, Х. Шацкер. КАТАСТРОФА И ЕЕ
ЗНАЧЕНИЕ
150. Амос Эттингер. СЛЕПОЙ ПРЫЖОК
151. Феликс Кандель. СЛОВО ЗА СЛОВО
152. Ицик Мангер. ЖИЗНЬ В РАЮ
153. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 1
154. Леон Юрис. МИЛАЯ, 18. Книга 2
155. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 1
156. Коннор О'Брайен. ОСАДА. Книга 2
157. Давид Шахар. ЛЕТО НА УЛИЦЕ ПРОРОКОВ
158. Владимир (Зеев) Жаботинский. САМСОН НАЗОРЕЙ
159. И. Башевис-Зингер. СБОРНИК РАССКАЗОВ
160. Владимир (Зеев) Жаботинский. ПЯТЕРО
161. Малькольм Хэй. КРОВЬ БРАТА ТВОЕГО
162. А. Эйнштейн. О СИОНИЗМЕ
163. И. Константиновский. СУДНЫЙ ДЕНЬ
164. СКОПУС — II. Сборник произведений израильских
литераторов, пишущих по-русски

165. **Р. Зернова.** ИЗРАИЛЬ И ОКРЕСТНОСТИ.
Сб. рассказов
166. **П. Пели.** ТОРА СЕГОДНЯ
167. **Р. Маркус, Г. Коэн, А. Галкин.** ТРИ ВЕЛИКИХ ЭПОХИ
ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
168. **С. Кац.** ЕВРЕЙСКИЕ ФИЛОСОФЫ
169. **Э. Луз.** ПЕРЕСЕКАЮЩИЕСЯ ПАРАЛЛЕЛИ
170. **Яков Кац.** КРИЗИС ЕВРЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
171. **ИЗРАИЛЬСКАЯ НОВАЯ ПОЭЗИЯ.** Сб. переводов

МОЛОДЕЖНАЯ СЕРИЯ

1. **Рут Сэмюэлс.** ПО ТРОПАМ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ
2. **Дорит Оргад.** МАЛЬЧИК ИЗ СЕВИЛЬИ
3. **Ури Орлев.** ОСТРОВ НА ПТИЧЬЕЙ УЛИЦЕ
4. **Амос Оз.** СУМХИ
5. **Шмуэль Хуперт.** ЛЬВЫ В ИЕРУСАЛИМЕ
6. **Й. Сегал.** ТАК ПОСТУПАЛИ НАШИ МУДРЕЦЫ
7. **Яэль Розман.** МОЙ РОМАН С БЕН-ГУРИОНОМ И
ПНИНОЙ
8. **Двора Омер.** ПЕРВЕНЕЦ ДОМА БЕН-ИЕХУДЫ
9. **Сами Михазль.** ПАЛЬМЫ В БУРЮ
10. **Шмуэль Авидор-Хакохен.** И СОТВОРИЛ БОГ...
11. **Двора Омер.** ЛЮБИТЬ ДО КОНЦА
12. **Юрий Суль.** ПАРТИЗАНЫ ДЯДИ МИШИ
13. **Ицхак Ной.** РОН И ДЖУДИ
14. **И. Башевис-Зингер.** ГАСНУЩИЕ ОГНИ. Сборник рассказов
и сказок для детей
15. **Эстер Файн.** ХАДАС
16. **Н. Гутман и Э. Бен-Эзер.** МЕЖ ПЕСКАМИ И НЕБЕСНОЙ
СИНЬЮ
17. **СЧАСТЬЕ, ЧТО Я — ЭТО Я!** Антология израильской детской
литературы. Книга 1

18. ОСВЕЩЕННОЕ ОКНО. Антология израильской детской литературы. Книга 2
19. Оded Бецер. ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНА БАР-КОХБЫ
20. Давид Шахар. ТАЙНА РИКИ
21. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том I
22. Абба Эвен. МОЙ НАРОД. Том II
23. Мартин Гилберт. АТЛАС ПО ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
24. Гила Альмагор. ЛЕТО ИЗ ЖИЗНИ АВИА

**ТРЕБУЙТЕ КНИГИ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ"
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
РУССКОЙ КНИГИ**

**Наши книги можно заказать
также по адресу:
P. O. B. 4140
91041 Jerusalem
Israel**

Роман московского писателя И. Константиновского повествует об истории национального пробуждения советского еврейства в 70-х годах нашего века. Его отличительной особенностью является раскрытие духовной эволюции главного героя, Давида Вилковского. Это — книга о евреях как бы благополучно вписавшихся в советское общество, но неожиданно переживших свой "Судный день" и осознавших свое истинное предназначение.